# СЕРЫЙ ОЛЕНЬ





# СЕРЫЙ ОЛЕНЬ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
О ЖИВОТНЫХ

*Переводы с казахского*

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1987

84Каз7—44
С 32

Составитель *Д. Н. Садыкова*

С 4803010000—111 / (402) 05—87 204—87

© Перевод на русский язык, «Жазушы», 1987

Северо-Казахстанская областная библиотека им. С. Муканова г. Петропавловск
427711



*Мухтар АУЭЗОВ*

## СЕРЫЙ ЛЮТЫЙ

Большой овраг близ Черного холма безлюден, но хорошо известен пастухам окрестных аулов. Из этого оврага нередко приходит беда.

Черный холм, точно меховой шапкой, покрыт низкорослыми кустами караганника и таволги. Верхушки караганника бледно, нежно зеленеют — на них раскрылись почки. Овраг сплошь зарос шиповником. Под его колючим пышным ковром скрыты волчьи норы.

Прохладный майский ветер порывами задувает из оврага, далеко разнося запах молодых трав и дикого лука. Кусты шевелятся и угрюмо, сухо шелестят, словно перешептываясь.

Поздней весной в овраг к старым норам пришли волк и волчица. Старые норы размыло полой водой, в них мог бы свободно влезть человек. Волки выкопали поблизости новую, более тесную нору и соединили ее со старыми узкими темными лазами.

Волчьи лапы вскоре утоптали свеженарытую землю. Белесая шкура волчицы не успела облинять, когда в логове появились дымчато-серые волчата.

Тихим утром волчица лежала на солнцепеке, под высокими метелками конского щавеля. Здесь было безветренно, жарко, ее разморило. Она дремала, изредка

приоткрывая мутный глаз. Бока у нее опали, соски набухли молоком. Кожа на спине нервно подергивалась, соски непрестанно вздрагивали.

Слабый хруст донесся из-за кустов. Волчица вскочила, взметнув с земли летучие клочья белой шерсти, и оскалилась, глухо ворча. Волчата барахтались у ее ног.

И тотчас, перелетев через ветвистую стенку кустов, перед волчицей плюхнулась туша ягненка. Следом бесшумно выскочил крупный, тяжелый волк с низко опущенным хвостом. Роняя с морды красноватую пену, он обнюхал волчицу, а она жадно лизнула его в окровавленную скулу.

Ягненок был еще жив. Волк и волчица набросились на него и в одну минуту разорвали на части. Две белозубые прожорливые пасти большими кусками глотали легкое, нежное мясо. Зеленые глаза злобно горели.

Сожрав ягненка без остатка, волк и волчица повалялись в сочной пахучей траве и растянулись на ней во весь рост. Потом поочередно стали отрыгивать проглоченное мясо.

Волчата один за другим подползли к мясу и, урча, толкаясь, стали его трепать. Только двое, родившиеся последними, были еще слепы. Волчица подтащила их к себе и положила около сосков.

На другой день, когда солнце стояло в зените, волчица издалека почуяла стойкий, густой конский запах. Быстро затолкав волчат в нору, она скрылась в кустах.

Послышались людские голоса, конский топот.

Люди съехались у самого логова, спрыгнули с коней. О землю дробно застучали длинные пастушьи дубины.

Волчица стояла в шиповнике на крутом откосе оврага, вывалив из оскаленной пасти язык. Она все видела.

Набрасывая на головы, на шеи волчатам крепкие ременные путы, двуногие вытаскивали их одного за другим из темной норы. Пятерых тут же прикончили. Одному перебили задние лапы и бросили около обгрызанной головы ягненка. Волчонок будет ползать, скулить, и волки унесут его и надолго уйдут из этих мест. А самого маленького из выводка люди взяли с собой.

Стих в овраге конский топот. Матерый черногорбый волк и белая волчица с двух сторон подошли к лежаще-

му пластом волчонку и свирепо оскалились на него, а затем друг на друга. Волчица схватила волчонка и скользнула вверх по оврагу. Волк высокими, летучими прыжками понесся за ней.

Логово опустело.

Жил в ауле мальчик по имени Курмаш. Ему и достался слепой волчонок. Старшие говорили: серый попал к людям слепым — может быть, он приживется в ауле.

Курмаш не расставался с ним; приготовил для него чистую плошку, мягкий кожаный ошейник.

Дня через два волчонок открыл глаза, но из юрты не высовывался — снаружи доносился лай и жутко пахло псиной. На ночь Курмаш брал волчонка к себе под одеяло. Ради него мальчик ложился теперь спать врозь со старой бабушкой, которую любил больше всех людей на свете.

Она одна не одобряла его привязанности к слабому, прозрачно-серому зверьку с острыми, точно колючки, зубами.

— Он еще не прозрел, когда у него выросли клыки,— говорила бабушка.— Не успеет встать на ноги — прижмет к затылку уши.

И мальчик сердился на нее.

К середине лета волчонок подрос, окреп и ничем не отличался от аульных щенков, своих однолетков. Будь он полохматей, он походил бы на маленького волкодава. Но жизнь в ауле была для него неволей. Пастушьи псы не хотели с ним примириться, как и старая бабушка. Рычащие, ощеренные пасти встречали его всякий раз, когда он отваживался показаться из юрты.

Курмаш заступался за него, и верные сторожевые псы отходили от мальчика, обиженно огрызаясь. А в юрте волчонку было тесно, душно и скучно. Ему хотелось в степь, в высокие многоцветные травы, в неизведанный простор.

Однажды рослый черно-пегий пес из Большой юрты подстерег, когда мальчика не было поблизости, отогнал волчонка от его юрты, повалил и долго мял тяжелыми клыками. Подоспели другие псы и с упоенным лаем принялись хватать серого за ноги и за бока. Прибежали дети и взрослые, едва отбили волчонка. Потрепанный, искусанный, он отполз к юрте, сел к ней спиной и беззвучно оскалил белозубую пасть.

— Ишь какой немой... Гордый!— удивились мужчины.— Щенок бы сейчас своим визгом землю просверлил.

А женщины сказали:

— Ворюга! Потому и немой...

И это было верно. Даже Курмаша изумляла и тревожила прожорливость волчонка. Мальчик баловал, кормил его безотказно, намного сытнее, чем собак. А волчонок, казалось, никогда не мог насытиться.

Аульные псы ходили поджарые, они были неприхотливы. У волчонка туго налились бока и грудь, заметно рос жирный загривок. А он был постоянно голоден и рыскал по юрте, поводя черным влажным носом.

При людях он не притрагивался к еде, отворачивал от нее морду. Но стоило человеку отойти, как он мгновенно проглатывал все, что ему положили, и тоскливо смотрел на пустую плошку, будто ничего не ел. Стоило людям заглядеться, как он жадно хватал все, что было плохо положено и попадалось ему на зуб. Утаскивал вареное хозяйское мясо, лакал простоквашу из казана, будто она поставлена для него, грыз свежие шкуры, подвешенные сушиться на остов юрты.

Частенько он попадался, и его колотили безжалостно. Он испытал и удары скалкой, от которых гудело в голове, и острую, жгучую боль от тонко свистящей плетки. Ловко увертываясь, он молча скалил белые клыки. Не было случая, чтобы он, побитый, подал голос.

А между тем в ауле стали поговаривать, что по ночам он проскальзывает, не замеченный собаками, в кошары и обнюхивает курдюки у ягнят, и овцы его боятся. Кто-то видел, как он украдкой убегал в степь.

Курмаш не слушал аульных пересудов. Но как ни старался мальчик, как ни учил своего серого, тот никак не мог понять, чем хуже еда, которую он крал, той, что давали ему хозяева.

Курмаша он не опасался, ел при нем. Когда мальчик протягивал ему мясо, волчонок не брал, а выхватывал кусок из его рук. Но Курмаш ни разу не поднял на него палки, которой отгонял псов. Мальчик любовался волчонком, его сумрачным независимым взглядом исподлобья, его слегка темнеющим грозным загривком, его растущей день ото дня упрямой силой.

И назвал Курмаш своего любимца Коксерек, что означает Серый Лютый.

К исходу лета Серый Лютый стал уже мало похож на аульных псов. Голенастый, как теленок, крутогорбый, как бык, он перерос их всех. Хвоста он не поднимал по-собачьи и оттого казался еще рослей, а загривок и спина его напоминали натянутый лук.

Теперь он не убегал от черно-пегого кобеля, и собаки перестали задирать его. Едва он поворачивал к ним лобастую каменно-серую морду и сморщивал верхнюю губу, те кидались врассыпную. Обычно собаки, завидев его, держались сворой. И он и они всегда были настороже.

Никто не замечал, чтобы волк резвился в ауле. Не играл он и с Курмашем. Кличку свою помнил хорошо и прибегал, когда его звали Курмаш или старая бабушка, но бежал неторопливо, ленивой трусцой и не махал хвостом.

Собак он не трогал, не оборачивался на их лай, не гнался за убегавшими. Чаще всего он лежал в тени юрты, выпрямив острые уши, и угрюмо щурил зеленые глаза.

Курмаш гордился молчаливым зеленоглазым зверем и весело смеялся, когда соседские собаки, визжа от страха, пускались от него наутек. По правде сказать, мальчик и сам подчас побаивался Серого Лютого, но ни за что не признался бы в том даже старой милой бабушке.

Хозяин черно-пегого пса хвастался:

— Что ваш серый, вислохвостый! Мой черно-пегий враз его скрутит, только дай! Давно бы приду шил, если б не отгоняли.

Как-то походя, пробы ради, он науськал черно пегого. Пес, не колеблясь, с азартным лаем бросился на волка, ударил его клыками в плечо. Метил он в шею, но промазал. В последний миг волк увернулся и, прежде чем пес успел отскочить, молча метнулся, в прыжке взял его за загривок и швырнул на землю. Огромный пес покатился с пригорка, точно беспомощная жирная овца. Волк тоже промахнулся, иначе он вырвал бы у пса горло.

Выбежал Курмаш и отозвал Серого Лютого, а хозяин отогнал своего черно-пегого.

Поздним вечером два волка неожиданно напали на овец, которые паслись неподалеку от аула.

Чабан поднял отчаянный крик, свист. Прискакали на конях из аула подростки и старшие. С оглушительным

лаем дружной сворой примчались на выручку все аульные псы, а с ними и Серый Лютый.

Волки ушли в степь. За ними погнались — не догнали.

На ближних холмах всадники и собаки остановились. Вдали по высокому гребню Черного холма, в тусклом, неясном свете скользили серые тени.

— Раненько они нынче объявились,— сказал чабан.

И только Курмаш заметил, как по волчьим следам, почти касаясь мордой земли, бесшумно понесся Серый Лютый.

Мальчик отстал от людей и пеший бесстрашно пошел в темноту, к Черному холму. Долго ласково звал:

— Коксерек! Кок-се-рек...

Но Серый Лютый так и не пришел на его зов.

Волк появился в ауле ночью. Встав на виду у своей юрты, он неторопливо поскреб железными когтями сухую, утоптанную землю, взметая клубы пыли. Поднял голову к звездному небу и втянул в себя по-осеннему студеный воздух, жадно внюхиваясь в слабые дуновения со стороны Черного холма.

Днем Серого Лютого видели в ауле, а ночью он опять ушел в степь.

Пропадал трое суток. Вернулся отощавший, люто голодный, но по-прежнему угрюмый и без ошейника. Когда Курмаш окликнул его, он подошел, низко и словно бы угрожающе опустил голову. Мальчик обрадовался, обхватил его за короткую мускулистую шею. Волк вырвался, прижал к затылку уши, но даже бабушка не стала его бранить, и захлопотала, готовя еду.

Ел он страшно, и Курмаш отступил от него подальше.

— Ого! Сказывается порода,— сказал Курмашу отец.— Глаза-то у зверя зеленые-презеленые, днем горят. Пора, сынок, пора содрать с него шкуру.

И мальчик задрожал, боясь, что теперь старшие не уступят ему, погубят его волка.

Но Серый Лютый словно понял, что говорят о нем. Едва люди отвернулись, он исчез. Никто не видел, когда он ушел из аула.

Много дней затем Курмаш напрасно искал его в зарослях чия,— с тоской, с угрозой. Тщетно! Минула

ветреная осень, белой кошмой покрыла степь суровая зима. Серый Лютый не возвращался.

До поздней осени он кормился зайчатиной далеко от родных мест, не брезговал и мышковать. Суслики были жирны, и он лакомился ими, как лиса. А по снегу голод пригнал его к людским зимовкам, овечьим загонам.

Теперь он пришел крадучись, как чужой. Шерсть поднималась на нем торчком, когда он видел людей.

Ночь за ночью он кружил, петлял по заснеженным холмам, оставляя на снегу летучий след пяток и когтей. Пар клубился у его слегка сморщенной серой морды. Он останавливался с подветренной стороны, и в нос ему бил густой сытный запах хлева и скота, а в уши — собачий беспокойный лай. Волк свирепо клацал клыками. Сейчас собаки так же чутки, как он голоден.

В глухой пуржистый час он попытался приблизиться к зимовке. Но бессонные псы словно знали, откуда он подойдет. Его встретила вся свора во главе с чернопегим, прогнала.

Ветер стих, подморозило. Волк заплясал, приседая на задние лапы. Жесткий снежный наст обжигал ему пятки, черные уголки пасти мерзли, брюхо стянула голодная боль. Мелкой рысцой волк поднялся на холм. Снег искрился под сильным лунным светом. Серый Лютый вскинул голову к небу и, застыв в судорожной, не испытанной прежде истоме, протяжно, уныло завыл.

Тотчас в ауле вскипел оголтелый собчий лай.

Серый Лютый не опускал головы. И вдруг издалека, с Черного холма, донесся невнятный, тоскливый отклик. Волк выпрямился, дрожа. Кто-то ему вторил, манил его. Он вслушался, повел носом и стремительно понесся на зов.

У схода в большой овраг он остановился, настороженный, вздрагивая от сильного озноба. С Черного холма к нему спускалась снежно-белая волчица.

Серый Лютый не подпустил ее к себе. Она подходила, он отскакивал, скаля зубы, прижимая уши. Но уйти он не мог. И когда она пошла по его следу, вынюхивая его, а потом повернулась, жалобно повизгивая, и ткнулась теплым носом ему в пах, он не

тронулся с места. Волчица тихо побежала прочь. Он догнал ее и лизнул в скулу.

Плечом к плечу они пустились вверх по оврагу, пролетели его насквозь и повернули к людскому жилью. По гребням холмов они за полчаса безостановочно, неутомимо продолжили гигантский полукруг двойного редкого следа, и только наст звонко похрустывал под их лапами. Затем, словно сговорясь, они так же рядом помчались вниз, к аулу.

Луна зашла. Ночь была на исходе. Серый Лютый и белая волчица вихрем пролетели аул, как большой овраг, и оба увидели, как от желтоватого сугроба у овчарни за ними метнулся вдогон длинношерстый кудлатый пес, увлекая за собой всю свору. Это был, конечно, черно-пегий.

Волки неслись от аула во весь мах. Черно-пегий не отставал, надрывисто, натужно лая. Свора за ним растягивалась, редела. И Серый Лютый умерил скок, злобно прислушиваясь к лаю,— пес разрывался от ярости, от гнева.

Близ лощины свора остановилась, остановился и черно-пегий кобель и побежал обратно, к своре. Волчица первая кинулась за ним.

В безлюдной степи собаке трудно убежать от волка. Но черно-пегий не струсил, хотя остался один. Он жил для того, чтобы драться с волком, и, не колеблясь, сцепился с волчицей, когда на него налетел Серый Лютый и подмял под себя. Волчица с визгливым рычанием впилась псу в горло.

Вскоре от огромного черно-пегого остались лишь хвост, обглоданная голова да редкие клочки шерсти. Даже окровавленный снег волки проглотили.

Нажравшись, они ушли к Черному холму и в овраге повалялись на чистом снегу.

С той ночи они не разлучались. И пошла гулять по округе серая беда.

То тут, то там, близ Черного холма и далеко от него, волки задирали овец, резали коров и лошадей, валили верблюдов, губили лучших сторожевых псов и ускользали безнаказанно.

От аула к аулу ползла худая молва.

— Их целая стая, серых бесов, и все, точно оборотни, человека не боятся. Ничуть не боятся — вот что! Вожак у них матерый, с теленка ростом, до того лют, до того страховиден... Не бежит, даже когда чело-

век подходит к нему на длину соила! Подойти-то боязно. Налетит стая с одной стороны, чабаны кидаются туда, собаки их травят, а тем временем вожак с другой стороны уносит на горбу овцу...

Подолгу волки не держались на одном месте. Сегодня их видели у Черного холма, а завтра — верстах в десяти, двадцати, тридцати южнее, восточнее. Известно: волка ноги кормят.

Степь в том краю холмистая, овражистая, обросла кустарником. Любо-дорого посмотреть на нее с Черного холма: точно море в бурю, она горбится высокими валами, кипит мохнатыми гребнями. В таких местах удобно волку, хлопотно пастуху. Легко подобраться невидимкой к стаду, к загону, легко подстеречь, отбить отставшую скотину. И трудно выследить серого, невозможно предвидеть, откуда он выскочит неслышной дымчатой тенью. А снежной зимой и выследишь — не догонишь! Глубоки сугробы. Волк уходит целиной. Наст волка держит, а всадника нет: проваливается конь, не скачет — вспахивает снег.

Попробовали у большого оврага, где не раз находили волчьи норы, подбросить отравленное мясо, и покаялись. Разве оборотни возьмут отраву? Молодые аульные псы-недоумки подобрали мясо у оврага и там же остались лежать. Волки не тронули и застывшие собачьи туши.

Сытной была для волков та зима. Серый Лютый все рос и рос, наливаясь каменным весом, но по-прежнему не мог утолить свою страшную жажду мяса и крови.

Лишь к весне как будто слегка приглох его голод, и в жилах у него ненадолго зажглась иная жажда.

Снег в степи рыхлел, темнел. На холмах появились рваные пятна проталин, оголялась рыжая вязкая земля.

Небывалая игривость обуяла Серого Лютого. На бегу он стал суетлив, никчемно кружил, метался около волчицы, как щенок. Она ложилась отдыхать, а он приплясывал близ нее, поднимая вихри искрящегося снега, дурашливо прыгал через нее, толкал грудью, лапами, мордой. Она сердито огрызалась, а он хватал ее за шею и, подержав, отпускал. Иногда он подолгу трепал ее за шиворот, не давая вырваться. Она сварливо визжала, кусалась.

Потом она подобрела и стала чаще обнюхивать его и лизать.

Севернее Черного холма лежали обширные мелководные соленые озера. Берега их тесно поросли чием и камышом. Места дикие — не зря над зарослями постоянно висит птичий грай. Сюда белая волчица увела весной, когда буйно зазеленели берега озер, Серого Лютого.

Теперь он охотился далеко от родных краев. А волчица не покидала логова и кормилась птичьими яйцами, подобранными в камышах.

Раз он принес ей бараний курдюк, но она не встретила его у норы, как обычно. Он беспокойно заскреб лапами землю, и она вылезла из норы обессиленная, едва волоча ноги.

Из норы исходил сильный незнакомый запах. Серый Лютый грозно ощетинился, сунул в нору оскаленную морду и вытащил зубами хлипкого, неказистого волчонка.

Волчица, слабо тявкая, кинулась к нему, но не смогла ему помешать. Серый Лютый бил маленького слепого волчонка о землю, пока тот не превратился в бесформенный серый комок, потом с отвращением швырнул через себя.

Когда он обернулся к волчице, она лежала между ним и норой, и к ней подползли другие волчата, тыкались ей в соски.

Серый Лютый, угрюмо облизываясь, лег в стороне.

Волчица стала выходить с ним на охоту, но была еще неповоротлива, грузна и то и дело убегала к своему выводку. Нередко они возвращались в логово, не солоно хлебавши, ничего не добыв, и он алчно поглядывал на волчат, а она кусала его, гоня от норы.

Ранним апрельским утром, когда волчата уже прозрели, Серый Лютый и белая волчица бежали вдоль озера к своей лежке, она — впереди, не позволяя себя обогнать, он — вплотную за ее хвостом, и вдруг почуяли человека. Птицы тучей поднялись над гнездами, топотали кони, стучали о землю пастушьи дубины... Волки прятались в камышах, пока не стихло кругом. А подкравшись к логову, нашли в нем лишь одного волчонка с перебитыми лапами.

Несколько суток волчица неотступно бродила вокруг аула, куда люди увезли других ее волчат. Тщетно Серый Лютый отзывал ее. Она не шла за ним — и их заметили.

Подсохла, зацвела земля. Кони быстро набирали

силу на сочных весенних травах. И в один теплый голубой день волки услышали за собой шумную погоню. Трое всадников на резвых конях выгнали волков из большого оврага, что у Черного холма.

Серый Лютый летел, как стрела. Еще в овраге волчица отстала от него. Соски у нее не успели затвердеть, и она была тяжела в беге. Сперва Серый Лютый вернулся к ней, побежал сзади, покусывая ее в бока, подгоняя. Она зарычала на него. Он оглянулся на конников и молча, стремительно ушел вперед.

У выхода из оврага он круто повернул и гибкими скачками, точно коза, взлетел вверх по скату оврага, заросшего колючим шиповником.

Серый Лютый скрылся в кустах, а белая волчица неслась напрямик по открытому месту, и всадники с гиком и улюлюканьем скакали за ней.

Ночью Серый Лютый, фыркая, осторожно потрусил по следу травли. В дальней лощине на сырой от росы траве он нашел пятно засохшей крови. Принюхался, лизнул его. Здесь лежала белая волчица, и здесь обрывался ее запах.

Серый Лютый сел и сидел, не двигаясь, напружинив выпуклую грудь, горбя бурый затылок, пока не взошла луна. А когда взошла луна, он завыл уныло, глухо.

Словно окаменев, Серый Лютый сидел в лощине до утра. Перед рассветом поднялся, судорожно позевывая. Голод холодил ему брюхо.

Все лето он рыскал по степи один, нагоняя на стада и аулы страх. Не утихал ночной разбой, и пастухи проклинали свою долю. Как будто ходил у Черного холма, близ соленых озер и повсюду окрест один серый с бурым горбом, а за лето зарезал не меньше полусотни ягнят и телят! Бездонное было у него брюхо.

Дважды пускались за ним вдогон на свежих конях со сворой резвых собак, оба раза ему удавалось унести ноги. С таким тяжелым брюхом легок был на ногу, разбойник, и неутомим. Волк не убегал — улетал, срамя аульных удальцов.

Днем он прятался, отсыпался в темных дебревых зарослях камыша, на топких, сильно заболоченных озерах, а ночью ничто его не останавливало — ни крик человека, ни лай собак, ни гром и огонь ружейного выстрела. Зря тратили чабаны патрон за патроном, целя в серую тень, без толку посвистывали над отара-

ми жаканы — волк, невредимый, возвращался, едва утихало эхо в ночном мраке.

За лето Серый Лютый разжирел. Плотная жесткая шерсть стояла на нем, как колючки на еже, но брюхо было поджато и не знало ни часу покоя.

Повадился он ходить за косяками лошадей. Подкравшись к сосунку, он хватал его за короткий хвост и держал так, что тот не мог тронуться с места. Жеребенок вырывался изо всей мочи; волк внезапно выпускал его, и тот кубарем катился по земле. Волк бросался, и его клыки смыкались на горле жертвы.

Осень промелькнула короткая, ненастная, и вот опять завыли, замели многодневные, многоснежные бураны.

В морозную светлую ночь на голом гребне холма Серый Лютый неожиданно столкнулся с большой волчьей стаей. Взметая вихрь колючей снежной пыли, стая налетела на него и окружила. Серый Лютый оказался носом к носу с вожаком — громадным матерым зверем с дымящейся на морозе оскаленной пастью.

Но стая сразу поняла, что встретила не добычу, а хозяина здешних мест. Поджав толстый хвост, приседая, Серый Лютый свирепо клацал железными клыками. Он был вдвое моложе вожака, но не уступал ему ни в росте, ни в весе; ни у кого в стане не было таких крутых гладких боков.

Волчицы первые подошли и принялись обнюхивать Серого Лютого. Опасливо приблизились волки помоложе. Лишь вожаку он не позволил себя обнюхать, и тот тоже не подпустил его к себе. Прищельцы повалялись на твердом сугробе, поглотали мерзлые комья снега. Так же поступил Серый Лютый. И пошел со стаей рядом с вожаком.

К утру заметелило. Серый Лютый привел стаю к табуну коней. Отбили кобылу-двухлетку, загнали ее в глубокий сугроб, и Серый Лютый свалил ее на снег, как некогда черно-пегого кобеля.Волки навалились на лошадь со всех сторон. Серый Лютый по привычке вцепился в лопатки и отскочил от тупого удара клыками в плечо. Около него, ощерясь, стоял вожак: Серый Лютый тронул его коронную часть добычи.

Однако драться в эту минуту было некогда — лошадиная туша таяла, дымясь. Молодые волки вгрызлись в брюхо по уши. Волчицы терзали труп, тол-

каясь и рыча. Серый Лютый и вожак вернулись в тесный круг.

Над последней, задней ногой остались только они двое. Остальные с почтительного отдаления, положив головы на лапы, смотрели, как они рвут мясо, с хрустом мозжат лошадиные кости. Оба отошли одновременно, тяжело дыша, немирно косясь один на другого, вымазанные в крови до глаз.

Легли порознь в центре стаи. Волчицы кружили около Серого Лютого. Он не сводил зеленых глаз со старого вожака.

Еще несколько ночей они водили стаю вдвоем, держась голова к голове, и если один уходил вперед на полшага, другой тотчас хватал его зубами за бок или за ногу.

А ночи выдались ясные, безветренные, голодные. В немом горле Серого Лютого клокотала ярость.

Волки шли вдоль яра, когда у них из-под ног сорвался заяц. Косой проскакал и прометался перед волчьими носами не менее версты, прежде чем его смяли. Серый Лютый и старый вожак одновременно схватили его и разорвали пополам. Стая далеко отстала от них.

Оба жадно проглотили свои куски и тут же бросились друг на друга. Веером полетели снежные комья, клочья шерсти. Дробный лязг клыков разнесся в тишине.

Двое матерых грызлись, встав на задние лапы, сцепившись передними, глубоко вскапывая под собой сугроб. На секунду они разошлись. Вожак рычал, он был не прочь покончить и на том. Но Серый Лютый изловчился и немо схватил его чуть пониже уха — собачий прием, так берут волкодавы. Согнул, подмял под себя и мгновенно вгрызся в высокий могучий загорбок. Сжал клыки, как клещи, и сломал волку шею.

Старый вожак лежал боком на снегу, бессильно скаля пасть. Подоспела стая и с ходу мгновенно разнесла его до костей. Волк лежачего не щадит — ни чужого, ни своего.

День и ночь не слезали табунщики с коней и не могли устеречь табуны. Такого страха, такого разбоя еще не знавали близ Черного холма. На глазах пастухов волки косили все живое.

Серый Лютый водил свою стаю от зимовки к зимовке с заката до рассвета. Волки быстро отъелись,

Северо-Казахстанская областная библиотека им. С. Муканова г. Петропавловск

427711

отяжелели, но вожак не давал им подолгу спать. Он бил, кусал даже волчиц, а волчицы злобно подгоняли младших волков. Стая снималась с лежки, неслась по степи, точно лавина.

И был случай, когда серая шайка напала на человека. Одинокий путник ехал в санях по торной дороге. Редко волк отваживается подойти к такой дороге, пересечь ее, особенно, ежели по ней едет человек. А Серый Лютый не долго колебался, прижал уши к затылку и погнался за санями.

Лошадь понесла. Стая настигла ее, завернула с дороги в сугроб. Сани увязли, лошадь провалилась по грудь, и волки серой грудой оседлали ее.

Путник, обезумев от страха, скатился с саней и кинулся бежать по глубокому снегу. Серый Лютый перепрыгнул через сани и короткими легкими скачками понесся за бегущим. Две матерые волчицы тотчас пустились вслед за вожаком.

Серый Лютый, словно играя и испытывая себя, сделал широкий круг и стал на пути человека. Волчицы остановились за спиной обреченного, беззащитного и все же неприкосновенного двуногого, выжидая. Тронет ли его серый атаман? Повалит ли на четвереньки человека?

Люди спасли его. С ближнего холма донесся гул и топот. По дороге галопом, пронзительно свистя, неслись вниз, в лощину, два всадника.

Серый Лютый сморщил верхнюю губу и, оглядываясь, все быстрее и быстрее пошел прочь по снежной целине. Стая снялась с растерзанной лошади и растаяла в сумеречной, взвихренной поземкой степи.

И еще раз Серый Лютый попробовал схватиться с человеком — в открытую.

Это случилось днем. Трескучий мороз сковал степь. Белесо-голубое небо затянуло искрящееся марево, сквозь которое угрюмо смотрело багровое, кровавое око солнца. Снега звенели.

Волки, горбясь, приседая и словно дымясь на морозе, подошли вплотную к аулу. И вдруг из-за окраинной зимовки вышел двугорбый верблюд, валко зашагал прямо на стаю. Между его горбами сидел человек, один человек, и голова его была обернута белым, а это — женский убор.

Серый Лютый насторожился.

Верблюд — не конь, а всадник на нем — не чабан,

не табунщик. Собаки лаяли, не высовываясь из аула. Стая застыла, предвкушая легкую добычу. Однако верблюд поднял губастую голову и побежал на стаю ровной размашистой рысцой. Волки заметались, наскакивая друг на друга, и брызнули от него в степь.

Странный верблюд! Куда он бежит? Почему не боится? И всадник странный — не кричит, не свищет, не размахивает руками.

Волки бежали без оглядки. Бежал и Серый Лютый. Верблюд остановился, шумно фыркая. Жгучий январский ветер шевелил на его боках грязно-бурые космы. Женщина сидела между его горбами не шевелясь, лишь платок на ее голове вздулся белым шаром.

Вся шерсть поднялась на Сером Лютом. Он стал как вкопанный, вытянул лобастую остроухую морду, принюхиваясь.

Ничего особенного... Двуногий его не пугал, он сам пугал двуногих, едва успев вырасти, еще в ауле. А здесь, в открытой степи, он, серый, всех страшнее.

Стая рассеялась, волки маячили далеко на холмах в сияющем морозном тумане. Серый Лютый остался. И когда верблюд опять вскинул голову и пошел к нему, он неспешно затрусил к холмам, низко держа, словно бы волоча по снегу, хвост, заманивая всадника подальше от аула, поближе к стае.

Верблюд останавливался — тотчас садился на хвост и волк. Верблюд пускался рысью — рысил впереди него и волк. Расстояние между ними медленно сокращалось. Серый Лютый терпеливо, холодно примеривался.

Наконец аул скрылся за снежным косогором, а стая — вот она!

Серый Лютый выпрямился и поступил так же, как накануне с одиноким путником: скачками, играючи, понесся вокруг верблюда, отрезая ему путь в аул. Верблюд затоптался на месте, скрипуче заревел, и Серый Лютый видел, как на рев кинулась с холма разом осмелевшая стая.

Зато он не заметил, как меж верблюжьих горбов внезапно, невесть откуда, возникла, блеснув на солнце, гладкая черная палка с круглым немигающим глазом на конце.

И вот из безоблачного зимнего неба ударил гром. Раскатистое эхо запрыгало по окрестным холмам. Незримая свинцовая оса впилась волку в ляжку и

прожгла ее насквозь. Впервые в жизни Серый Лютый подал голос. Яростно взвизгнув, он куснул себя в ляжку и полетел через голову кувырком, чего с ним тоже до тех пор не случалось.

Вскочив, Серый Лютый на трех ногах ошалело покатил прочь от ревевшего верблюда. Озябшие человечьи руки не успели перезарядить ружье — волк скрылся в лощине. Длинная нитка ярко-красных капель протянулась вдоль его трехпалого следа.

Кое-как Серый Лютый доскакал до большого оврага у Черного холма и повалился на снег. Пробитая пулей ляжка горела, точно опаленная головешкой из костра. Волк стал зализывать рану снаружи и со стороны паха, ежеминутно вздрагивая и испуганно настораживая уши.

Стая ушла, теперь ее не вернешь в эти края. И хорошо, что она далеко и что молодые волки не понюхали его свежей крови, не видели его лежащим на красном снегу,— вот когда бы они с ним сквитались!

Не слышно было и погони. Странный верблюд не пошел по следу, но Серый Лютый боялся иного. Он ждал за собой собачьего лая и топота коней.

А люди замешкались, не сразу собрали свору. Собаки не шли из аула — они чуяли приближение леденящей затяжной метели.

Мороз не ослабевал, а ветер усилился. застонала степь. И повисли над степными просторами снежные хвосты от земли до неба.

Серый Лютый медленно поднялся. Оглядываясь, боком, на трех лапах, изредка судорожно подрыгивая четвертой, он поскакал к камышовым чащобам, на соленые озера

Трое суток без передышки гудел стоголосый степной буран, и день не отличить было от ночи. Трое суток не высовывался Серый Лютый из занесенных снегом камышей. Закопался в сугроб, уткнулся носом в хвост, и кровь не застыла в его жилах, грела лучше, чем очаг юрту.

Отощал серый, ослаб, но рана у него в паху, рваная, косая, затянулась, запеклась.

На четвертую ночь он выбрался из-под снега и, сильно прихрамывая, пошел в степь. На ходу размялся, хромота стала менее заметна, но боль не ослабевала.

Целую неделю он голодал. Искал падаль — не нашел. Лишь к концу недели повезло: наткнулся он на

отставшую от табуна кобылу со стригуном, загрыз стригуна, лег рядом и жрал его всю ночь напролет, не отрываясь. Рыгал и жрал, рыгал и жрал, подбирая под свое раздувшееся брюхо затекавшую на морозе раненую лапу.

Прошла еще неделя. Ляжка у волка поджила и ныла реже. Он стал бегать резвее и осмелел. Его потянуло к Черному холму.

К вечеру он подошел к аулу, в котором вырос, и стал на гребне холма с вздыбленной от ушей до хвоста шерстью. Верблюда в ауле не видно. И собак не слышно — они с отарами и табунами в степи. Серый Лютый пустился рыскать по знакомым местам и тропам, поставив против ветра влажный нос.

Издалека слабо и сладко пахнуло овцами. Серый Лютый сморщил губу. На горизонте, в желтоватом свете зари, маячила высокая фигура всадника. Маленький гурт овец теснился у ног коня. Чабан вел их к загону.

Волк бросился наперерез, прячась за буграми и косогорами. Выскочил, как всегда, стремительно, неожиданно, но чабан сразу же увидел его и вдруг закричал тонким, ребяческим голоском, отчаянным, но властным.

Серый Лютый резко остановился, приседая на хвост и вспахивая лапами снег. На коне сидел мальчик, подросток, с длинной, не по руке, пастушьей дубинкой.

Мальчик!.. Волк не боялся его.

Злобно ощерясь, Серый Лютый метнулся вбок, чтобы обойти маленького пастуха, и подобрался к жалобно блеющим и наседающим друг на друга овцам. Это блеяние, толкотня горячили волка. Перед ним была легкая и жирная добыча, мягкие кости, обильная кровь. Но мальчик изо всех сил забил коня пятками в бока, поднял над головой тяжелую, непослушную дубинку и бесстрашно поскакал прямо на волка.

Серый Лютый опять невольно повернул в сторону от сбившегося в кучу гурта. Мальчик кричал не переставая. И что-то непонятное томило и пугало волка в мальчишечьем крике. Волк бежал, мальчик гнался за ним, не подпуская к овцам. Привстав на стременах, потрясая дубинкой, он вопил во все горло, захлебываясь:

— ... ок...ерек! ...ок...ерек!

Волк щелкнул клыками и ускорил бег.

Мальчик был ловким наездником и отчаянно пону-

кал послушного коня, бил его дубинкой, но видел, что отстает. Серый Лютый уходил, и мальчик, размахнувшись, швырнул ему вслед дубинку, точно копье.

Она задела больную ногу волка округленным концом и покатилась по обледеневшей земле, подскакивая и звеня. Серый Лютый свирепо схватил ее клыками и мгновенно переломил надвое. Затем повернулся и, прижав уши, сморщив губу, словно улыбаясь свирепой волчьей улыбкой, немо кинулся на мальчика. Прыгнул и рванул его за полу овчинного полушубка. Конь отпрянул в сторону с испуганным ржаньем, а мальчик вылетел из седла и ударился оземь, о наледь, облепленную пушистым снегом, спиной и затылком, так что шапка слетела с его головы и покатилась по белому откосу.

Последнее, что видел мальчик, было знакомое ему волчье ухо, надорванное у виска в драке с собаками в дни, когда серый жил еще в ауле.

Мальчик был уже мертв, когда волк вихрем пронесся над ним и с ходу распорол ему изогнутым клыком щеку.

Ночью труп мальчика подобрали, унесли в аул и положили у очага в юрте.

Старая бабушка села у него в ногах.

— Жеребеночек мой,— приговаривала бабушка,— жеребеночек мой!..

И высохшие ее подслеповатые глаза не могли источить желанную слезу.

Тогда пришел черед охотника Хасена, знаменитого в тех краях, и его рыжевато-белой борзой.

Своего пса Хасен выменял в Семипалатинске на коня. На лбу у пса белела маленькая пролысина с четырьмя соразмерными лучиками, и оттого хозяин назвал его Белозвездный — Аккаска.

Об Аккаске ходила громкая молва, все знали его, и иные считали, что он происходит от легендарной, воспетой в песнях собаки батыра Богембая из рода канжыгалы.

Пес был кровный, гордый и вспыльчивый. При кормежке мясо брал с рычанием. На стоянках Хасен сажал его на цепь, пес подпускал к себе одного хозяина. Безродные аульные собаки сторонились Аккаски и облаивали его издалека. Аккаска их не замечал, позе-

вывая лениво, часами лежал на брюхе пластом, положив длинную морду на длинные лапы, и лишь на охоте загорался, легко обгонял любого коня и лаял гулко, жутко. Глаза у него светились, как у волка, но не зеленым, а красноватым огнем, точно горячие угли.

Несколько суток Хасен прожил с табунщиками, изучая повадки Серого Лютого, расспрашивая о нем. Мужчины ночевали в шалашах. И все ночи напролет у костров не утихали горячие споры об одиноком волке, убившем Курмаша. Но Хасен не услышал ничего нового, неожиданного для себя.

Говорили, что волк — бешеный. Говорили, что это вовсе и не волк, а гиена. Недаром он так немыслимо прожорлив. Хасен не верил басням.

— Это волк,— говорил он.— А волка сеном не накормишь!

Табунщики бранились, грозились:

— Эх, попадись он нам в руки!..

Хасен посмеивался:

— Что сделаете? Шкуру сдерете?

И только горькие слова отца Курмаша больно задели Хасена. На могиле сына он сказал охотнику:

— Ты малый бывалый... смелый, упорный... Правда, нелегко взять оборотня. Но если ты не прикончишь его, знай — ты не родич мне и не джигит, никому ты не нужен, и собаке твоей грош цена. Тогда не показывайся нам на глаза.

Хасен решил собрать табунщиков на облаву — иначе не справиться. Их не пришлось уговаривать...

На рассвете, перед облавой, Хасен не дал своему псу мяса; поставил перед его мордой миску с похлебкой из мелко накрошенного сухого овечьего сыра. Аккаска быстро поел и не спускал с хозяина глаз. Умный пес понимал: будет большая, важная охота, опасный гон.

— Ну, Аккаска,— сказал Хасен, трепля пса за ухо,— или ты его, или он тебя, иначе не разойдемся. Сынок Курмаш мертвый пойдет с нами третьим...

Аккаска внимательно смотрел хозяину в глаза, нетерпеливо помахивая рыжим хвостом.

Вышли в степь, и Хасен спустил пса со сворки, чтобы тот размял ноги, разогрел грудь. Аккаска громадными прыжками помчался по синеватым в утренних сумерках снегам.

Хасен разделил людей на несколько групп и разослал в разные стороны, а сам поднялся с Аккаской на каменистую вершину одинокого, открытого всем ветрам холма. Охотники разобрали аульных собак и ускакали. Хасен разостлал между острых камней плотную кошму, уложил на нее Аккаску и лег рядом на снег, придерживая пса за ошейник.

Аккаска лежал под рукой хозяина спокойно, лишь уши непрерывно ворочались из стороны в сторону, как флюгера. Отовсюду глухо доносились крикливые голоса, ералашный собачий лай, растрепанный ветром.

Вдруг Аккаска поднялся на передних лапах, не подчиняясь руке Хасена, настороженно вглядываясь в сторону тихой лощины. Теперь пес походил на беркута, высматривающего со скалы добычу. Но долго еще в лощине было пусто и голо, а крики людей и лай собак, казалось, отдалялись. Вряд ли загонщики видели волка — серый шел в их многоверстном кольце невидимкой. Аккаска непривычно сгорбился, опустил морду. Уж не отвлекала ли его лежка зайца? Борзая любит ходить за косым.

Нет. Не ошибся Аккаска. Волк внезапно, неслышно, показался там, где его ждал пес,— в тихой, пустынной, заснеженной лощине. Вот он, хитрец! Тут сугробы сыпучие, зябкие — целина. По свежему следу конь не пройдет, увязнет по брюхо.

Волк бежал рысью, ходко, но неторопливо, осмотрительно, и Хасен с минутным сомнением прикусил губу, косясь на пса. Серый был во всей силе и издали напоминал чалого стригуна с волчьей мордой. Ни дать ни взять оборотень!

Волк шел с надветренной стороны и не чуял охотника и борзую. Но Хасен не надеялся, что зверь подойдет на прицельный выстрел, и спустил пса, сказав: «Давай... Держи!» — а сам побежал к коню, привязанному за скалой.

Серый Лютый сразу, с первого же взгляда оценил стать и силу рыже-белой борзой. От нее не убежать. Собака летела на него с холма с гулким, бухающим ревом, она была поджара и вдвое рослее черно-пегого кобеля. Позади нее, меж камней, точно меж верблюжьих горбов, мелькнул с черной гладкой палкой человек. Облава. Скорей!

Пес и волк столкнулись на снежном откосе, и пес с разгону сшиб волка с ног, но и сам покатился, не

устояв. Оба вскочили, сцепились клыками и разошлись с окровавленными пастями, хрипло дыша. Нашла коса на камень...

Несколько раз Серый Лютый кидался на пса и встречал тяжкий, меткий удар клыками. Все же волк извернулся, сумел стать выше пса по косогору и ухватил его пониже уха, как в начале зимы вожака стаи, но Аккаска не согнулся, сильно тряхнул волка и вырвался, оставив в его зубах шматок своей рыжей шерсти и кожи. Серый Лютый понял, что эта схватка скоро не кончится. А с холма уже несся галопом всадник, азартно крича:

— Держи, держи, милый! А-аккаска-а!

Серый Лютый коротко взвизгнул и пошел напролом.

Пес и волк опять сшиблись клыками так, что искры засверкали бы, если бы было темно. А тут Аккаска, не оберегаясь, а помня только то, что кричал человек, сунул нос прямо в волчью пасть и намертво схватил зверя за нижнюю челюсть.

Теперь их было не расцепить: пес грыз волчью челюсть, а тот — его, и ни один не мог повалить другого.

Подскакал Хасен. Лошадь плясала под ним, встав на дыбы. И руки у Хасена плясали. Он бросил ружье, выпрыгнул из седла и тоже, не думая о себе, повалился всем телом на каменно-твердую спину волка. Сунул ему под лопатку широкий нож.

Аккаска высвободил из судорожно ощеренной волчьей пасти изодранную морду и отошел. Постоял-постоял и упал на грудь. Против него лежал на боку Серый Лютый.

Стали подъезжать охотники, и один из них ткнул кнутовищем в зубы волку, размыкая его черно-красную пасть, и все поразились тому, как она велика.

— Дьявол!..— сказал один, отходя.

— Коксерек!— сказал Хасен, бережно осматривая раны Аккаски.

Волчью тушу привезли в аул, бросили у юрты Курмаша, и здесь старая бабушка опознала Серого Лютого, как и Курмаш, по надорванному уху.

— Коксерек!— вскрикнула старая бабушка, заламывая руки.— Трижды проклятый... Где же твоя совесть? Кровопиец!

И слабой ногой она пнула волка в оскаленную пасть.

*1929 г.*

## БЕРКУТЧИ

Ранним осенним утром, когда дул холодный, сырой ветер, два охотника вышли из юрты и торопливо отвязали оседланных коней. Бекпол, пожилой человек с редкой проседью в бороде, проворно заткнул повод уздечки за пояс и совсем занес было ногу в стремя, как вдруг услышал позади тревожное фыркание коня. Бекпол мгновенно обернулся и увидел всадника, стремительно мчавшегося с ближайшего холма. За плечами у всадника покачивалось ружье. В сырой предрассветной мгле трудно было узнать едущего.

— Кто это может быть?— не глядя на своего спутника, недоуменно спросил Бекпол.

Товарищ Бекпола Жанибек, высокий мужчина с горным загаром на лице и руках, в свою очередь, изумился:

— Кого же это несет к нам в такую рань?

Бекпол молча нахмурил брови. По всему было видно, что неожиданное появление всадника в такую раннюю пору не только удивило, но и встревожило его.

— Да ведь это же Оспанкул, бригадир конезавода. Куда же он мчится чуть свет?!— воскликнул Бекпол, разглядев приближающегося верхового.

Мирно дремавший до сей поры на руке Бекпола могучий охотничий орел, видимо, опьяненный после тесной и душной юрты свежим и терпким осенним воздухом, вдруг встрепенулся и распростер свои огромные синевато-стальные крылья. От шумного взмаха крыл на птице затрепетало золотое оперение, как трепещет и шуршит сухой камыш, потревоженный порывистым степным ветром. Гнедой конь Бекпола насторожился, всхрапнул и, злобно закусив удила, покосился в сторону птицы своим огненным глазом. Кзылбалак (так звали охотничью птицу) встряхивался с такой силой, что испуганные кони шарахались в сторону и даже людей брала тревожная оторопь. Бекпол, видавший на своем веку немало сильных, проворных, зорких и хищных на охоте птиц, особенно дорожил этим орлом и потому иногда, может быть, не в меру бахвалясь, говорил: «Перья моего орла радуют глаз и шумят, как атласный халат красавицы».

Жанибек со своим орлом на руке сидел на корточках. Его Каракер все пытался сбить лапой со своей головы кожаную шапочку, которая была надета на

птицу хозяином перед охотой. Это был молодой орел, еще не совсем усвоивший навыки охотничьей птицы. Беспокойный, шальной, он волновался, стараясь освободиться от непривычного, стесняющего его головного убора. Птице хотелось видеть окрестный мир своими острыми, проницательными глазами.

— Не позволяй ему сбивать шапку,— приказал Бекпол молодому охотнику.— Этак дашь ему волю — отобьется птица от рук, и хорошего на охоте от нее тогда не жди.

Так переговариваясь между собой и не спуская глаз с беспокойных своих птиц, охотники не заметили, как всадник подъехал вплотную. И только когда до их слуха донеслись отчетливое позвякиванье стремян и дробный топот конских копыт, они обернулись, и Жанибек воскликнул:

— Да это Лыска! Ее, наверно, тренируют для октябрьской байги.

— Это не конь, а пылающий костер!— восхищенный стремительным, плавным бегом лошади, сказал Бекпол.

Под всадником легко и изящно танцевала сдерживаемая поводьями тонконогая лошадь. С лунообразной светлой лысиной на темном лбу, с большими сияющими глазами, конь был как-то особенно, женственно красив, и недаром охотники так восторженно загляделись на него, что не сразу заметили хмурое лицо сидящего в седле Оспанкула.

— Ты куда это, милый? Все ли у тебя в табуне благополучно?— тревожно спросил наконец Бекпол, приглядевшись к Оспанкулу.

На посеревшем, измятом лице бригадира можно было заметить следы усталости и бессонницы. Отдышавшись, Оспанкул начал было свой рассказ, не слезая с коня, но разгоряченная длительным путем и стремительным бегом лошадь не могла успокоиться: она нетерпеливо перебирала упругими, точеными ногами и мешала всаднику говорить.

— Ты слезь,— посоветовал ему Жанибек.

И всадник, спешившись, продолжал свой рассказ. Впрочем, он был краток.

В эту ночь на холмах и в ложбинах урочища Сарымсакты, что виднелось отсюда, пасся один из табунов конезавода. Это был табун бригады Оспанкула. Долгая осенняя ночь была непогожей, аспидно-черной и ветреной.Тяжелые, плотные тучи закрывали небо.

Неожиданно в глухую полночь табун был встревожен пронзительным ржаньем. Потом раздались странный гул, крики и свист. Лошади, словно окруженные волчьей стаей, бросились врассыпную. Заметались из стороны в сторону растерянные пастухи. Но в этой ненастной, непроглядной ночной мгле им не удалось собрать мгновенно рассеявшийся в степных просторах табун. Только на рассвете, после долгих усилий, Оспанкул собрал разбежавшихся лошадей и, пересчитав их, обнаружил пропажу девяти отборных коней. По словам табунщиков, лошади были напуганы не зверем, а человеком, и притом человеком чужим. По всем признакам, пропавшие кони попали в руки конокрадов. Разослав табунщиков на поиски лошадей, Оспанкул сам наметом ринулся в пограничную комендатуру за помощью. По пути он решил предупредить колхозных охотников, которые проводили целые дни в этих безлюдных пограничных горах. Заканчивая свой рассказ, Оспанкул обратился к Бекполу:

— Беке, ты не раз выслеживал и ловил не только четвероногих хищников, но и более изворотливых, хитрых врагов. Это будет новое испытание твоей охотничьей сноровки. Ты понимаешь, пропали лучшие лошади! Пропали три коня, которых я готовил к октябрьской байге. Садись же, Беке, скорей на своего верного коня, бери свою зоркую птицу и обшарь сегодня же весь Кергетас,— указал Оспанкул на мягко синеющие слева вершины высоких гор.

— Видишь ли,— сказал после некоторого раздумья Бекпол,— если лошади угнаны, то воры, надо думать, находятся на той стороне... Положим, они не смогли еще добраться до границы. Днем они не пойдут. Стало быть, будут ждать следующей ночи.

— Ты прав. Так думаем и мы,— сказал Оспанкул.— При самой бешеной скачке они достигнут границы лишь на рассвете. А разве наши пропустят их? Разве пограничники дремлют?

— Ясно, не будут дремать,— заметил Бекпол.— Но конокрады, по-моему, на день спрячутся в горах Сарымсакты. Поэтому тебе, пожалуй, следовало бы пошарить их там, у себя.

Подумав, Бекпол собрал в левую руку поводья, а правую, на которой держал своего орла, положил на луку и легко взметнулся в седло. Тронув своего

коня, он обернулся к Оспанкулу и, указывая на синеющие справа угрюмые скалы, бросил:

— Так ты скачи в комендатуру, а мы выедем на Ожар.

Это не совсем понравилось Оспанкулу. Решение Бекпола ехать на Ожар, а не на Кергетас он истолковал как отказ помочь в поисках. Мрачные, почти непроходимые ущелья и горные дебри Кергетаса были доступны только одному Бекполу. Там он знал каждую чуть приметную звериную тропу, знал каждый камень, знал древний суровый облик этих гор. И потому Оспанкул решил настаивать на поездке охотника именно в эти горы.

— Беке, я пришел к тебе за помощью. Неужели тебе твои лисицы дороже девяти лучших коней?— не скрывая обиды и огорчения, с несвойственным для него раздражением сказал Оспанкул.

Не желая еще больше раздражать взволнованного товарища, Бекпол от ответа уклонился, но своего решения не изменил.

— На Кергетас отправились наши охотники с гончими собаками. И если воры там, они не уйдут,— сказал он кратко.

Оспанкул, зная охотников, о которых шла речь, с еще большим раздражением заметил:

— А ну их, этих зеленых юнцов! Они и гор-то не знают. Что они, со своими гончими на вершины поднимутся? Да и ночной тревоги они не слышали. Знаю я этих безусых охотников на лисиц!..— И Оспанкул презрительно усмехнулся.

Жанибек вскочил на коня и нетерпеливо ерзал в седле, прислушиваясь к не совсем дружелюбному разговору. По совести сказать, ему очень хотелось побывать на Ожаре. Последняя их охота на Кергетасе была не из удачных. Его Каракер, прежде ловивший ежедневно по лисице, за последние дни недопустимо мазал и не взял ни одной. А на Ожаре, как слышал Жанибек, водятся лисицы, и до сих пор ни один охотник не побывал там. Эти места давно прельщали охотничью душу Жанибека. В обольстительных и ярких снах видел он несметное обилие пышных лисиц, покорно распластавшихся под стремительно падающим на распростертых крыльях Каракером.

Ах, эти неповторимые, волнующие охотничьи сновидения! Ах, эта древняя и всегда юная охотничья страсть! Как все это близко, дорого, знакомо Жанибеку! Он понимал, что для охоты прямой расчет ехать именно на Ожар. «Но как же быть с пропавшими лошадьми?» — задумался Жанибек, и рассудок начал медленно подавлять в нем буйно пылавшую страсть охотника. Вот почему он решительно заявил Бекполу:

— Отвечай прямо, Беке, или мы едем на охоту, или же отправляемся в погоню за конокрадами. Давай решим это скорее и не будем задерживать Оспанкула.

Помедлив с ответом, Бекпол наконец заявил Оспанкулу:

— Вот что, друг мой, поезжай-ка в комендатуру и скажи там Александру, что Бекпол не послушался тебя и уехал на Ожар. Ведь ты сам не нашел следов конокрадов? Следовательно, надо прежде всего разыскать эти следы. Поверь мне!!— закричал Бекпол и тут же, пришпорив своего коня, крикнул Жанибеку:— За мной! Мы с тобой будем сегодня ловить не только лисиц.

Оспанкул долго с недоумением, смешанным с обидой и беспокойством, смотрел вслед удалявшимся всадникам. Мелкой, ровной рысцой уходили они туда, к далеким, окруженным мягкой голубоватой дымкой горам.

Поведение Бекпола показалось Оспанкулу странным, тем более странным, что Оспанкул знал понаслышке о знаменитом колхознике-охотнике, встречи с которым всегда так старательно избегали нарушители границы. Бекпол слыл по всей степной округе верным помощником пограничного отряда. Это обстоятельство и привело Оспанкула к Бекполу. Но его поведение смутило и расстроило Оспанкула, и он, огорченный, направился дальше, к месту стоянки погранотряда. Изредка оглядываясь, он видел смутные очертания двух удалявшихся в сторону Сарымсакты всадников,

над плечами которых мерно покачивались и плыли неясные силуэты неподвижных птиц...

Предгорье, по которому ехали охотники, было покрыто густым низким пепельно-серым ковылем. Наметанный острый глаз Бекпола сразу же отметил, что, несмотря на облачную непогожую ночь, здесь не выпало ни одной капли дождя. Может быть, от пыли, а можеть быть, от тяжелого предутреннего тумана в воздухе висела мглистая, неприметно колыхающаяся завеса. Поля, склоны предгорий с пожелтевшей, точно проржавленной, растительностью и все окрестные угрюмые громады скал были подернуты сумрачной тенью. Но небо было безоблачно, свежо, умыто и по-осеннему холодно. Глядя на это небо, старый охотник уже отлично знал, что день будет погожим, ясным. Вот блеснули первые, ярко играющие на зубчатых вершинах Кергетаса лучи восходящего солнца. Особый, бодрящий холодок предгорий потянул навстречу всадникам. Головокружительно глубокие темные ущелья Ожара были уже близко. В предутреннем разреженном горном воздухе отчетливо звенели кованые копыта коней, и звон этот наполнял ущелья мелодичным эхом. И даже птица, до того времени мирно дремавшая на руке Бекпола, не видя из-под кожаного колпачка, куда увлек ее охотник, инстинктивно ощутила приближение гор. Орел приподнял свой тонкий, с сизоватым отливом клюв, похожий на отшлифованный кремень, и жадно вдыхал прохладу родимой степи, простор овеянных ветрами, вскормивших его древних гор.

Жанибеку показалось странным, что Бекпол скачет, не меняя направления. Он знал, что надо будет свернуть в сторону, и тогда они не раз успели бы снять со своих орлов колпачки и спустить птиц на добычу. Уже далеко позади остались прославленные пики с лисьими норами у подножий, а Бекпол упрямо продолжал свой путь, не отвечая на неоднократные вопросы Жанибека.

Так они ехали до тех пор, пока не поравнялись с холмами Сарымсакты. Только тут Бекпол, до того времени задумчивый и неподвижный, вдруг встрепенулся, точно охотничья птица, почуявшая добычу, и решительно повернул влево, к Кабаньему ущелью Ожара. Жанибек послушно последовал за старым охотником. Крюк, сделанный стариком, он приписал задумчивой рассеянности Бекпола.

Свернув с горы, Бекпол перешел на рысь, нетерпеливо погоняя своего коня. Жанибек, нагнав Бекпола, следовал за ним по пятам. Молодой охотник пытливо озирался вокруг. Он разглядывал груды камней и теснины ущелий. Он видел там удобные пики для орлов и наблюдателя-охотника и с минуты на минуту ждал, когда настанет время снять колпачки с орлов и пустить их с вершины этих пиков на добычу.

Когда всадники спустились в ущелье, Бекпол придержал коня и поехал шагом. «Ага! Он боится спугнуть лисицу!» — обрадованно подумал Жанибек. Но Бекпол, выехав на небольшую, поросшую мелким ковылем площадку, вдруг остановился, пытливо всмотрелся в этот ковыль и, обернувшись к спутнику, вполголоса молвил:

— Подойди-ка сюда, дорогой.

Жанибек нерешительно приблизился к Бекполу и недоуменно смотрел на указанный им чуть заметный след лошадиных копыт.

— Смотри! — почти шепотом произнес Бекпол.— Тот говорил, что пропали кони, а здесь следы жеребенка.

Пристально вглядевшись в следы, Жанибек рассмеялся и молвил:

— Уж не думаешь ли ты, Беке, что обнаружил пропажу? Напрасно! Просто здесь вчера паслись наши кони.

Холодно посмотрев на смеющегося молодого охотника, старик ничего не ответил ему и молча поехал по следам дальше. Однако следы скоро пропали в густой горной траве. Тогда Бекпол повернул на другую площадку, поросшую мелким редким ковылем. Отъехав на сотню шагов, он снова подозвал Жанибека и сказал ему:

— Вон смотри, ты видишь этот навоз? Он совсем свежий. Кони здесь были ночью. Ты понял меня? А наших лошадей мы угнали отсюда вчера в полдень... И потом,— продолжал он после минутной паузы,— там был один след, а здесь, посмотри, как разбросан навоз. Так падает навоз только на сильном скаку лошади, а не на вольном выпасе. Это тебе говорит старый Беке, и ты должен поверить!

Жанибек молчал. Он был удивлен наблюдательностью и проницательностью старого охотника.

Посмотрев на Жанибека своими старческими тусклыми глазами, Бекпол наставительно заметил:

— Пусть они выехали в Ожар. Нам осталось одно: найти их. Я знаю, Ожар велик. Они, конечно, расставили караулы. Они наблюдают за нами. Но будем хитрее их! Пусть не подумают они, что мы преследуем именно бандитов.

И на глазах Жанибека старый Бекпол неожиданно преобразился, как будто снова обрел утраченную юность, былой, давно померкнувший в его когда-то ясных глазах молодой задор.

— Мы же с тобой охотники!— весело сказал Бекпол.— Так давай мирно продолжать охоту на лисиц. Не забывай: мы должны действовать не спеша, умно, осторожно. Только таким образом мы обнаружим их логово. Ты понял меня, мой друг?

Вместо утвердительного ответа Жанибек с готовностью произнес:

— Хорошо! Поднимись, Беке, на эту скалу,— сказал он налево,— а я обыщу вот эту груду камней внизу. Я чувствую, что здесь водятся лисицы!..— И он, пришпорив коня, стал спускаться вниз.

Бекпол поднялся на вершину и, мгновенно сняв колпачок с глаз своего красноногого, точно обутого в сафьяновые ичиги Кзылбалака, спустил птицу. Орел встрепенулся и, охваченный нарастающей внутренней дрожью, стал пристально и неотрывно всматриваться все расширяющимися желтоватыми глазами туда, вниз, где у подножия горы проезжал Жанибек. Кзылбалак нетерпеливо поводил упругой шеей и тревожно шуршал своим золотым оперением. Птица чувствовала близость добычи, и ее нарастающее беспокойство мало-помалу начало передаваться охотнику. Он тоже заметно волновался и, беспокойно перебирая сухими, упругими пальцами повод, настороженно озирался вокруг.

Жанибек же не спеша обшаривал каждый камень. Он ударил плетью по луке седла и коротким, отрывистым посвистом старался поднять лисиц. Однако не видевшие в этих местах охотников, не пуганные ими лисицы не поднимались после ночной спячки из теплых, належанных логовищ. Только приблизившись вплотную, охотник мог вспугнуть этого чуткого, умного зверя.

Бекпол снял длинный ремень с ноги орла, привычным жестом заткнул его за пояс и, доверив предстоящую охоту Жанибеку и своей птице, сам не сводил зорких, потускневших от напряжения глаз с далеких, грозно очерченных вершин Ожара. Ни малейших приз-

наков жизни не было видно среди этих немых скал. Глубокие морщины, избороздившие открытый лоб Бекпола, стали еще изломанней и глубже.

«Остановились они на Ожаре или ушли дальше? Где приютились они, в этих далеких, недоступных теснинах или в густом лесу?» — думал Бекпол. Ему было ясно только одно: нарушители спрятались в укромном месте, они отлично знают эти ущелья и скалы и у них, видимо, есть надежный проводник, прекрасный знаток этих почти непроходимых мест.

И вдруг пронзительный крик Жанибека прервал размышления старого охотника, и не успел этот окрик коснуться сознания Бекпола, как огромный орел, судорожно дрогнув, мгновенно сорвался с руки охотника, словно камень, стремительно упал вниз и тут же могучим толчком взмыл к сияющим в солнечном свете вершинам Ожара. И трудно было понять: то ли голос Жанибека поднял чуткую птицу, то ли сама она, побуждаемая свойственным ей тонким, проникновенным чутьем хищной горной птицы, пошла на давно ожидаемую добычу.

Зачарованный необычайным взлетом Кзылбалака, Бекпол не отрываясь смотрел на него, молниеносно удаляющегося в голубую высь. Он любил эту сильную, вдохновенную птицу, которая не уступала по крепости и красоте оперения дикому орлу, обитателю гор. Что можно сказать про орла, сумевшего только за последние десять дней добыть для колхоза тридцать отличных лисиц, пышный мех которых дышал в руках, как живой?!

Тот, кто видел этот величественный полет орла, парящего в синем, до головокружения высоком небе, тот, кто хоть раз ощущал безумный трепет, охвативший птицу, почуявшую добычу,— тот знает силу волнения, которое испытывает в эту минуту охотник.

Бекпол, не сводя глаз со своей птицы, быстро спускался с вершины. Стремительно мчался по ущелью Жанибек. Бекпол еще не видел лисицы, но он чувствовал, знал, что она где-то здесь, меж камней, норовит спрятаться в трещинах, уйти от орла. Но орел, ослепительно сверкнув на солнце стальным переливом распластанных крыльев, вдруг упал вниз и исчез за грудой камней.

И в эту минуту Жанибек вслед за орлом кубарем скатился вниз. Бекпол же осадил коня и, не скрывая

волнения, стал наблюдать, как возьмет хищник зверя — сразит ли его прямым смертельным ударом или в нерешительности взовьется над ним снова. Это было решающим испытанием для орла, о котором так много думал требовательный охотник... Всегда сдержанный, хладнокровный и расчетливый, Бекпол, несмотря на огромное волнение, не терял самообладания и не упускал из виду Кзылбалака.

Орел не взлетел...

Медленным, твердым шагом Бекпол перевалил через груду камней. А Жанибек уже сидел на корточках и кормил разгоряченного орла языком убитой лисицы.

Не слезая с коня, Бекпол спросил:

— Ну как? Каков удар?

— Переломил позвоночник!— ответил Жанибек и расправил на вытянутых руках мертвую, с перебитым позвоночником лисицу.

— Молодец! Орел в ударе. Я впервые вижу такой полет!— восторженно отозвался Бекпол.

Охотники долго молча любовались орлом и взятой им добычей. Но вот они встрепенулись, встревоженные глухим порывистым свистом, и, подняв головы, увидели, как проплыла над ними какая-то хищная птица. Это был самый обыкновенный степной коршун. Не отрывая от коршуна своего зоркого взгляда, Бекпол озадаченно спросил:

— Что-то завидел стервятник. Куда направил он свой путь?

— Наверное, на добычу Кзылбалака,— предположил Жанибек.

— Нет!— горячо возразил Бекпол.— Он, наверно, спешит к завтраку на вершину Ожара.— И тут же, не отрывая глаз от удалявшейся к вершине птицы, Бекпол молвил:— Постой, друг! А вон и другой. Он тоже держит путь туда... Ты знаешь, Жанибек, это неспроста. Забирай лисицу — и скорей на коня!

Послушный и проворный Жанибек никогда не перечил Бекполу. Он быстрым, привычным движением передал Кзылбалака Бекполу, снял с камня своего Каракера и вскочил в седло.

Бекпол продолжал следить за коршунами. Он знал, что, если оправдаются его подозрения, эти хищные птицы потянутся косяками со всех сторон. Наконец, задумчиво посмотрев на Каракера, он сказал:

— Послушай, Жанибек, поднимись на эту груду

камней и оставайся там. Я же отправлюсь на ту скалу,— показал он рукояткой плети на красный утес, неясно выступающий из глубины ущелья.— И когда я дам знак, ты выпусти Каракера. Кзылбалак не взлетит, не увидев добычи. Много труда положил я на то, чтобы сделать Каракера быстролетным и послушным. Как и всякий орел, взятый птенцом из гнезда, он падок на приманку, на мясо, и всегда дает знать о том, где находится. Я слышу это по его позывному клекоту. Вот почему сегодня он нам полезнее Кзылбалака.

Не дождавшись ответа Жанибека, Бекпол тронулся в сторону утеса, и, едва поднявшись на первый выступ скалы, подал условный знак. Не успел Жанибек сорвать колпачок с Каракера, как орел мгновенно взмыл вверх. Как прекрасно натасканная птица, Каракер послушно и быстро взлетал с любого места и сам разыскивал незримую добычу.

Жанибек следил за его полетом и видел, как в том же направлении, куда тянул Каракер, шли один за другим три огромных черных коршуна.

Видно было, что орел летел, тщательно озирая окрестные ложбины, но, заслышав тревожный клекот диких коршунов, он набрал еще большую высоту и стремительно пошел вслед за ними. Это испугало Жанибека. Ему пришла в голову мысль, что орел, увлеченный их полетом, уйдет за ними. Вот почему Жанибек помчался к Бекполу. Но, поравнявшись с Бекполом, он, к своему изумлению, не заметил на лице старого охотника ни малейших признаков тревоги. Старик спокойно смотрел вдаль, мысленно проводя воздушную тропу, по которой шли только что исчезнувшие коршуны. И когда Жанибек попытался было высказать свои опасения Бекполу, старик, ни слова не сказав на это, властно протянул ему своего орла:

— Брось! Не говори, чего не следует. На, забери мою птицу.

«Он, наверно, расплачивается со мною за Каракера своим орлом!» — огорченно подумал Жанибек, еще не зная, брать ли этот дорогой подарок взамен утраченного Каракера.

Однако Бекпол сказал:

— Ты не думай, что я дарю тебе своего орла. Я не отдам тебе его. Я не отдам тебе его потому, что твой орел еще вернется. Послушай,— сказал он еще проникновенней и тише, слегка тронув за локоть своего моло-

дого друга,— послушай, я знаю, я чувствую, что враги здесь! Они на Ожаре, по ту сторону этих вершин. Это они подманили на завтрак коршунов: видимо, они уже закололи одного жеребенка... Только кто будет есть этого жеребенка — они или мы, вот вопрос!..— усмехнувшись, заключил Бекпол.

Немного помолчав, он суровым и требовательным тоном сказал Жанибеку:

— Немедленно скачи с моим орлом в комендатуру погранотряда. Мчись к Александру! К вашему приезду я постараюсь выпустить Каракера, и если удастся, то выпущу его прямо со стоянки. Следите — это будет моим условным сигналом.

Жанибеку все стало ясно. И он без лишних слов, не дожидаясь объяснений, решительно повернул своего коня и помчался в противоположную сторону, к границе. Бекпол же не спеша стал подниматься к синеющим вдалеке вершинам, по ту сторону которых скрывались, по его расчету, хищники.

Когда охотники расстались, было раннее утро, солнце стояло над горизонтом на высоте пики. И Бекпол определил, что люди из комендатуры прибудут, когда солнце перекочует на западный склон вершины Ожар. До этого времени он должен обнаружить врагов и подать условный знак.

Но круты и почти неприступны склоны Ожара. Конь, напрягая последние силы, идет мелким, тяжелым шагом — даже легкая рысь ему не под силу. Древний, дремучий еловый лес, опоясывая гору, пересекает путь. Первобытной влажной прохладой дышат густо поросшие елями уступы скал. Тишина. Изредка вдали прострекочет сорока. Изредка донесется приглушенный крик кобчика, неутомимо парящего в вышине. И среди этой дремотной горной тишины осторожно пробирается одинокий путник — охотник в сером тулупе, в шапке из сурка. Он едет, внимательно вслушиваясь в тишину. Напряжено зрение. Напряжен слух. Кажется, напряжен каждый нерв, каждый мускул. Он едет среди безмолвных угрюмых скал, все дальше и дальше углубляясь в их теснины по тропе архаров. Всегда зовут, всегда манят к себе одинокого путника эти купающиеся в лучах осеннего солнца вершины гор. Они величественны и прозрачны. Кажется, они горят своим собственным, внутренним светом. Как легко дышится в эту пору! Как хочется скорей достичь цели!

И чем труднее путь, тем острее желание преодолеть его...

И Бекпол торопился.

Вот он спешился и поднялся на высокую скалу. Перед ним широко распахнулся другой склон Ожара. Он видел, что там, внизу, тянулась темная, словно ажурная, полоса леса, пересеченная кое-где глубокими впадинами, обрывами, провалами.

Но где же враги? В каком из этих ущелий скрывались они от зоркого глаза Бекпола? Под защитой каменных скал или в лесу?.. Бекпол задавал себе эти вопросы и пока не находил ответа. Лежа на выступе острой скалы, Бекпол озирался окрест, зачарованный красотою видневшихся вдали колхозных полей, красотою близкой, родной его сердцу земли — земли, которую так ревниво, так бдительно вот уже много лет помогает он охранять пограничникам от вторжения закордонных нарушителей.

Спустя некоторое время Бекпол снова сел на коня и, руководимый внутренним чутьем, взял именно то направление, которое вело к стоянке укрывшихся в еловом лесу врагов. Их присутствие выдали кони, которые после долгой скачки остывали, связанные попарно. Бекпол заметил, что на саврасом и рыжем конях нездешние седла. Это были седла кызайцев и сун — из родов китайских казахов. Именно по этим седлам Бекпол сразу же определил, что воры пришли с той стороны. Внимательно оглядев лошадей, Бекпол понял, что кони были измучены длительным и тяжким путем.

«Однако где же люди?— мысленно спросил себя Бекпол.— Может быть, они спят?»— подумал он. В то же мгновение он услышал требовательный и грозный окрик:

— Стой!

Бекпол встревоженно оглянулся и скорее почувствовал, чем увидел в чаще человека с бескровным смуглым лицом. Человек, высунувшийся из густых зарослей, направил в упор на Бекпола дуло ружья и с презрительным спокойствием, не повышая голоса, приказал:

— Слезай с коня!

— Слезу, дорогой,— невозмутимо ответил Бекпол.— Но тебе следовало бы сначала спросить, враг я тебе или нет. Ведь я же один. Ты принял меня за погоню? Чудак! Я просто охотник. Я ищу свою потерянную птицу.

Эти слова, произнесенные Бекполом с неподдельным спокойствием и теплой дружеской усмешкой, видимо, подействовали на бандита. Он быстро спрыгнул с дерева, подбежал к Бекполу и вырвал у него из рук плеть. Потом, не говоря ни слова, он движением руки приказал Бекполу, чтобы тот следовал за ним.

Бекполу пришлось подчиниться. Только теперь он заметил, что за деревьями сидели еще три человека. Они словно из-под земли выросли. Эти люди тоже были вооружены ружьями. И неподалеку от седобородого бандита сидел на пне Каракер. Птица сосредоточенно и увлеченно клевала жилистый кусок свежего мяса.

Вдруг Бекпол, мельком взглянув на бородатого вора, неожиданно отступил и замер. Отшатнулся и изумленно раскрыл глаза, уставившись неподвижным и мутным взглядом на Бекпола, и бородатый человек.

— Как, Бекпол? Как, это ты?!— изумленно и враждебно воскликнул бородатый.

Бекпол, мгновенно овладев собою, притворно радостно закричал:

— Сатбек! Дорогой мой Сатбек, ты жив? Я не верю своим глазам... Ты жив!

Двое других бандитов приблизились к охотнику и, недоуменно переглянувшись, выжидающе молчали.

Сатбек нерешительно подошел к Бекполу и приглушенно спросил:

— Ты свой?Или ты враг?

В эту минуту остальные бандиты начали обыскивать охотника. Было неприятно ощущать их торопливые и грубые прикосновения. Однако Бекпол не протестовал. Он продолжал стоять спокойно, не сводя с Сатбека притворно радостного взгляда. Он так искусно притворился, что было похоже, будто и на самом деле он рад этой встрече и переживает эту радость всем своим существом.

— Конечно, свой! Я по-прежнему предан тебе, Сатбек,— тоном, исключающим всякое подозрение в неискренности, сказал Бекпол.

— Это правда?

— Я никогда не лгу.

Обыскав Бекпола и не найдя ничего подозрительного, бандиты отступили.

Бекпол между тем, внимательно всматриваясь в знакомое лицо старика, изучил его и нашел, что за последние пять лет оно не изменилось, осталось по-

прежнему неподвижным, хищным. Это был тот же самый наглый и хитрый пройдоха, некогда известный по всей округе. Этот родовитый бай и аткаминер ловко избежал конфискации, выдав свою дочь замуж за одного из крупных областных работников, прикрываясь именем которого сумел вовремя избежать заслуженной кары. Только несколько лет спустя прошли по степи смутные слухи: одни говорили, будто бы он осел где-то в Сибири, другие — что он поступил на службу где-то под Ташкентом, третьи давно уже похоронили его. Было верно только одно: что человек этот появлялся то здесь, то там, искусно маскировался, петлял и путал свои следы, как петляет и путает по осеннему насту, чуя погоню, загнанный заяц. Ровесник Сатбека, Бекпол со своей семьей всю жизнь провел в работе на этого аткаминера и, кроме оскорблений, ничего не видел от него. Бекпол ухаживал и за его орлами. Тощий конь да жалкая дырявая юрта — вот и все, что было тогда у Бекпола. И теперь, когда они встретились в этом горном глухом углу, Бекпол понял, в какой опасности он находится. Вот почему он собрал свои нервы в комок. Вот почему, подавляя в себе прилив ненависти к этому человеку, Бекпол так искусно и тонко повел игру, изображая неизменно покорного слугу аткаминера.

Не спускал с Бекпола глаз и Сатбек. Он верил и не верил ему.

— Ну, иди сюда,— уже более мирным тоном сказал старик, присаживаясь к костру, и начал расспрашивать:— Сколько вас, охотников? Кто твои товарищи? Где они сейчас?

— Товарищей у меня нет. Я один. Поэтому я и потерял орла. Если бы был товарищ, он помог бы мне поднять лисицу, и не пришлось бы мне отпускать орла далеко,— с наигранным спокойствием ответил Бекпол.

Видимо, не вполне доверяя этим объяснениям, по-прежнему внутренне настороженный, Сатбек, кивнув в сторону Каракера, насмешливо заметил:

— Разве это орел? Это нищий, собирающий случайные подачки! Разве может быть такой орел у тебя, Бекпол? Разве может настоящий орел летать на падаль?!

Маленькие проницательные глазки Сатбека забегали по лицу Бекпола. Но этот пристальный, испыту-

ющий взгляд не смутил старого охотника, Бекпол усмехнулся и с прежним, не покидающим его спокойствием ответил:

— Зорок ты, Сатбек! Ты прав. Дело в том, что птица принадлежит одному молодому, неопытному охотнику. Он испортил ее...

Сатбек молчал, искоса поглядывая на охотника, точно готовился к прыжку. Подошли остальные бандиты и тоже стали расспрашивать Бекпола, норовя выудить у него нужные им сведения. Их интересовало, нет ли за ними погони? Ищут ли пропавших лошадей? Кого он видел со вчерашнего вечера?

Но охотник был одинок. Никого он не видал, кроме своего орла. И ничего он не знал, этот скромный старик.

— Хорошо,— неожиданно и решительно вмешался в беседу Сатбек.— Хорошо, я согласен. Но если ты свой человек, ты пойдешь с нами?— спросил он в упор, приблизившись к Бекполу.

После секундного молчания Бекпол нашелся и твердо ответил:

— Не гляди так сурово на меня, Сатбек. Если я с первого слова скажу «да», ты вряд ли поверишь. Я сказал тебе, что перед тобой прежний, преданный тебе Бекпол. Ты говоришь со мной, как мой прежний Сатбек. Разве этого недостаточно?

Ничего не ответив, Сатбек взглянул на товарищей и подал им знак. Все четверо мгновенно поднялись и отошли в сторону. По приглушенному говору их Бекпол понял, что они о чем-то совещаются. Он знал, что и оттуда за ним зорко следят проницательные глаза Сатбека, и потому внешне сохранял спокойствие. Минуту спустя люди перешли с полушепота на громкие пререкания. Один из них, весь черный, точно обуглившийся, яростно спорил с Сатбеком. Было похоже, что Сатбек остался в одиночестве.

Вдруг трое бандитов неожиданно набросились на Бекпола. Не дав ему опомниться, они насели на него, и перед его глазами тускло блеснул нож с яркой желтой рукояткой. Двое других навалились на ноги Бекпола. Но в это время Сатбек ловко схватил одного из бандитов за руку:

— Стойте! Ради меня отпустите его. Это мой ровесник. Дайте мне поговорить с ним.

— О чем говорить с ним?! Не о чем говорить!— кричали люди, не отпуская Бекпола.

— Тогда спросите сами его и, если он вам солжет, убейте,— заявил Сатбек.

«Ага, вот на что он пошел!» — сообразил Бекпол.

— Пусть твой старик поклянется быть с нами. Иначе ему конец! На острие сабли нет дружбы...— злобно кося взглядом, заявил черный бандит, еще крепче надавливая коленом на грудь старого охотника.

Но это ничуть не смутило и не испугало Бекпола. Гнев и ненависть нарастали в нем с каждой секундой. В старческой памяти, как в калейдоскопе, замелькали безотрадные картины былых дней. И ненависть к Сатбеку подавила в нем страх. Больше того, чувство протеста подавило в Бекполе даже инстинкт самосохранения. Вот почему, крепко стиснув свои пожелтевшие от времени, но еще крепкие старческие зубы, упрямо молчал Бекпол. И это злобное безмолвие старика взбесило бандитов.

— Да ты что, онемел, что ли? Ты видишь, я заступился за тебя, я просил...— начал было Сатбек.

Но Бекпол не дал ему договорить и крикнул:

— Так убери их прочь!

Он рванулся изо всех сил. Сатбек отстранил от него своих людей, и, когда Бекпол поднялся, обратился к нему с такой речью:

— Хорошо, я поручусь за тебя. Присоединись к нам и помоги нам ночью перегнать этих коней за границу. Не беспокойся, когда мы придем туда, я позабочусь о твоей судьбе. Мы станем прежними Бекполом и Сатбеком. Ты согласен?

Бекпол украдкой посмотрел на солнце и с радостью заметил, что оно уже приблизилось к той стороне Ожара.

— Слушай, Сатбек! Слушайте меня и вы все! Хорошо. Я согласен,— непринужденно и почти весело сказал он насторожившимся людям.— Довольно разговоров. Давайте-ка лучше варить мясо. Подкрепимся пищей — и скорее в путь. Надо спешить. Пошли нам бог удачу!

Люди засуетились. Весело запылал костер. Горьковатым ароматом потянуло от костра, от пылающих еловых веток и от душистого варящегося мяса. Сатбек и Бекпол сели у огня и уже совсем мирно беседовали, как беседуют старые друзья после долгой разлуки.

— Я ухожу с вами,— сказал Бекпол,— а вот с

птицей мне надо проститься. Орла надо выпустить на волю.

Увлеченные хлопотливой возней вокруг варящегося мяса, воры не обратили внимания на слова Бекпола. Он пытливо взглянул в глаза орла, ласково провел рукой по его груди и сказал:

— Останься же памятью о нас с Сатбеком на нашей родине. Я не сниму колец с твоих ног. Прощай! Улетай, мой вольный друг!

Он высоко, с привычной ловкостью, подбросил Каракера, и птица, сорвавшись с руки, мгновенно начала набирать высоту, чертя плавные круги над вершинами еловых зарослей. Не отрываясь, долго следил за орлом Бекпол, словно и в самом деле прощался с любимой птицей. Затем, подсев к костру, Бекпол бросил на угли давно уже приготовленный им пучок еще зеленых листьев и сухой травы и стал раздувать огонь. Над тусклыми елями отчетливо поднялся синий дымок.

Вдруг оседланные кони навострили уши и подняли головы.

— Что это?— тревожно спросил Сатбек, инстинктивно хватаясь за свое ружье.

Мгновенно повскакали со своих мест и схватились за ружья и остальные.

Воры рассыпались, прячась за стволы деревьев, за выступы скал. Сатбек бросился к дереву, где были привязаны кони. Бекпол последовал за ним.

Прозвучал первый выстрел, за ним последовал второй, более глухой, по всем признакам — выстрел ответный. И в эту минуту Бекпол увидел, как, сраженный пулей, нелепо взмахнув руками, навзничь упал высокий смуглый бандит.

— Руки вверх!— раздалась повелительная, громкая команда по-русски и по-казахски.

— Сдавайтесь!

— Бросай оружие!

Сатбек судорожно дрожал, щелкая затвором, и, кося злобным взглядом в сторону убитого сподвижника и в сторону ликующего Бекпола, прошипел:

— Умрешь и ты с нами!.. Я утяну тебя за собой!

Бекпол крикнул ему в ответ:

— Бросай оружие!

Сатбек направил было дуло ружья на Бекпола. Однако Бекпол быстрым ударом каблука в колено повалил Сатбека. Тот тяжело грохнулся на землю.

В это мгновение Александр, давнишний друг Бекпола с пограничной заставы, подоспел на помощь старому охотнику. Обнаружив врагов, он не переставал думать о судьбе Бекпола, боясь, что в решительную минуту банда прикончит старика. Вот почему он с такой медлительной осторожностью спешил к нему на помощь.

И Оспанкул, и Жанибек, и красноармейцы-пограничники радостно кинулись к найденным лошадям.

Бекпол подвел Александра к Сатбеку.

— Смотри, Александр, это Сатбек! Он родился в один год со мной и до прихода Советов, до моих седин, он сидел барсуком на моей шее. Ведь ты не раз слышал от меня об этом человеке...

— Да, слышал, друг. Знаю его,— сказал Александр, горячо пожимая руку старого охотника.

И в этот миг, шумя крылами, пошел вниз молодой орел Каракер. Это был день его охотничьей зрелости.

*1937 г.*



*Сабит МУКАНОВ*

## ЮНЫЙ ТАБУНЩИК*

Кош — походное жилье, крошечная юрта особого рода, палатка, шалаш, словом, нечто такое, где можно переспать ночь, а днем скрыться от дождя и зноя. Кош должен быть легок и так прост, чтобы его можно было свернуть, переезжая на другое место. Внизу остов — деревянное кольцо с отверстиями для кольев, так называемые шариин, по бокам колья, покрытые кошмой, вверху дымоход, прикрытый, пока печь не топится, тоже круглым куском кошмы — тундуком, вот и все. Влезть в такую палатку можно только ползком, в ней находится очаг, там варят пищу, обедают. Ставят кош посередине пастбища, и когда стада перекочевывают в другое место, снимают и переносят дальше.

Наш кош стоит в снежной степи, недалеко от озера Дос. Здесь пустое ровное место, по нему гуляют вихри и наметают сугробы. Сугробы высокие, как стены, и расположены зигзагообразно. Лошади бродят по снегу, разгребают его копытами и ищут под ним прошлогоднюю траву. От этого зимний выпас весь покрыт канавками и бугорками, которые издали кажутся похожими на стадо овец.

* Отрывок из романа «Школа жизни».

В нашем табуне около 1200 лошадей, из них 800 принадлежат Туртаю. Что за выносливое животное лошадь! Иногда, когда особенно морозно и ветрено, морда лошади кажется совершенно сизой, а шерсть переливается, как бобровый мех. Ходит эта лошадь, выискивая корм, по сугробам, проваливается в них чуть не по брюхо, и вдруг заносит правое или левое копыто и начинает разгребать и выбрасывать снег. Лошади работают упорно, каждая на своем участке. И вот через полчаса на тебеневке сугробов уже и в помине нет, а расстилается ровная оледеневшая земля с такой же оледеневшей травой. Когда лошадь ее щиплет и пережевывает, лед хрустит у нее на зубах. Я присматриваюсь к лошадям и узнаю их повадки. Лошади очень нежные матери. Расчистив площадку, они сначала пускают на нее своих жеребят и только потом пасутся сами. Когда вся трава на месте выпаса кончается, приходится перегонять табун на новое место. Это далеко не простое и совсем не легкое дело, ведь весь путь покрыт сугробами. А что под ними — гладкая равнина или впадина,— никогда не узнаешь, пока не ухнешь в снег по пояс, а то и по горло. Лошади, встречая такую невидимую и непреодолимую преграду, останавливаются, топчутся на месте и ни за что не идут дальше. Так и стоит весь табун перед каким-нибудь оврагом, ржет, жмется и не двигается. Очень многое зависит и от того, какой вожак идет впереди. Вожак идет первым по снежной целине, пробивает снег грудью, а вслед за ним по глубокой траншее следует и весь табун.

Так, переходя с места на место, мы и коротали зиму. Макан не солгал, действительно еды нам хватало за глаза. Нет нужды, что у нас была только жирная конина да сухой сыр. По мнению Макана, здоровее конского мяса нет ничего на свете.

— А то как же?— рассуждал Макан.— Вот я целыми днями на холоде, а не мерзну. А почему? Только потому, что конину ем. Привези в эту степь человека, который питается говядиной или овечьим курдюком, он сразу в сосульку превратится. Что, не веришь? Вот возьми котел с супом,— говорил он,— и вынеси его на самый сильный мороз, какое бы мясо в нем ни варилось, жир сразу застынет коркой, а конский жир только густеет, и все. Или вот — переешь баранины, говядины или верблюжатины, что с тобой будет? Заболеешь, занеможешь, начнешь стонать да охать, да ещё, пожалуй, от

заворота кишок умрешь. А конина сразу же перевари-вается, и никакой тяжести в животе от нее не бывает. Нет мяса легче, чем конское! Теперь возьми конское молоко — кумыс. Это же первое средство от чахотки. Тело у лошади стойкое против всякой заразы; ходит она летом по полю, какая только гадость на нее не садится — и комары, и оводы, и мошка, лошадь становится вся в ранах... Другая скотина сейчас же подохла бы, а лошади ничего. Понял? Теперь я тебе другое расскажу,— продолжал Макан.— Несколько лет тому назад поехал я навестить своего дядю. Там тоже степь, а в ней табуны пасутся. В этих степях змей тьма-тьмущая, но пастухи их не боятся. И знаешь почему? Ни одна змея не ужалит ни лошадь, ни человека, если от него конским потом пахнет. Ляжешь спать, разбросай вокруг себя конскую сбрую, змея близко не подползет. Если собрать пот с одного коня, его хватит переморить целое логово змей — все сдохнут. И знаешь почему так? Лошадь — самое благородное животное на свете: мутную воду она не пьет, к стоячей не подойдет, даже в реке, если ей дать волю, доплывет до середины и только там напьется. А теперь посмотри, как лошадь ест: выбирает траву, какая лучше, выше, сочнее. А что может быть здоровее травы!

Макан очень любил лошадей. Он, кажется, не спал бы, не отдыхал бы, все время объезжал бы табуны и смотрел, все ли в порядке.

Если волкам все-таки удавалось выкрасть из табуна какого-нибудь захудалого слабосильного жеребенка, он переживал эту потерю, как свое личное горе. Он часто обижался на хозяина, который то и дело его обманывал при расчетах, но никогда не вымещал обиды на лошадях.

— Лошадь сама по себе, она за него не ответчица,— говорил он.

Одевался он всегда очень легко, постоянно носил круглую шапочку, такую маленькую, что она не закрывала даже макушки, и только в самые трескучие морозы неохотно натягивал огромный казахский малахай — большую теплую шапку-ушанку. В солнечные же дни он и шубы не одевал,— а зима в наших краях стоит лютая. Даже в самые теплые дни градусник показывает 15—20 градусов ниже нуля, а Макану хоть бы хны — ездит нараспашку. Обмораживаться в лютые морозы ему иногда приходилось, но никогда не страдал он от

этого. Через несколько дней обмороженное ухо или ладонь начинали шелушиться, и показывалась красная, как медь, кожа. И этим все кончалось. И чем сильнее свирепствовали морозы, тем больше загорало и смуглело, как под жарким солнцем, его постоянно открытое лицо. Стоило посмотреть на то, как по утрам в любую погоду он выходил из шалаша, снимал рубаху и, крякая от наслажденья, растирался снегом до пояса. Ел он только два раза в сутки — утром и в полдень. Зато отбирал самые жирные куски и запивал их жирнейшим супом; пять-шесть горстей мяса, две-три чашки супа — и он сыт на целый день.

Туртай ценил своего пастуха и еды для него не жалел. Работники привозили нам туши молодых жирных кобылиц, головы сыра и кизяк для топки.

Зимой лошади не разбредаются по полю, а медленно переходят от участка к участку, добывая, как я уже говорил, прошлогоднюю траву. Мы в это время сидим с Маканом в нашем коше и поем песни. Я пишу «поем», потому что не только я ему пел, но и он мне. Поет он единственную известную ему поэму «Кор-оглы». Поэма эта в различных вариантах бытует у многих тюркских народов. По-казахски «кор» — могила, и, значит, «Кор-оглы» — «Сын могилы». Сюжет поэмы таков: в могиле у мертвой матери рождается младенец. Он растет не по дням, а по часам и каждую ночь через вырытый лаз выходит из могилы, а ночью опять возвращается к матери и сосет ее грудь. Так проходит сорок дней. За это время младенец становится богатырем. И вот когда он на сороковую ночь возвращается к матери, то видит: на могиле лежит дракон и закрывает лаз, по которому он спускался в могилу. Происходит битва, дракон побеждает, батыр принужден отступить. Он уходит с родной могилы, встает на колени и, плача, обращается к умершей, прося дать ему в последний раз отведать материнского молока. Этот плач сироты, пожалуй, одна из самых сильных лирических песен казахского фольклора. Если ее исполняет хороший певец, старики и взрослые плачут навзрыд, слушая жалобные, полные безнадежной тоски мольбы богатыря, которому не найти приюта даже в материнской могиле.

А кроме того, Макан знал много сказок, легенд и достоверных историй, которые рассказывал мне в длинные зимние вечера.

Вот одна из них, удивительная, но совершенно достоверная история о чудесном жеребце, по кличке Ак-Жамбас.[1]

* * *

Ак-Жамбас — так звали одного из жеребцов Туртая. У этой клички было свое происхождение. Однажды летом из табуна, оборвав веревку, убежал в степь взбесившийся верблюд (бура). Бесятся верблюды во время спаривания, и тогда это смирнейшее, неприхотливое, терпеливейшее животное, с которым легко справляется каждый ребенок, становится хитрым, свирепым, а главное, злопамятным. Поистине нет в степи более страшного беса, чем этот взбесившийся верблюд. Он способен без устали, упорно гнать человека до тех пор, пока тот не упадет в изнеможении. И тогда бура загрызет его.

Итак, из табуна Туртая сбежал бешеный верблюд, и его надо было поймать во что бы то ни стало. По слухам, он находился в соседнем табуне другого бая, но кто осмелится вступить в единоборство с этим шайтаном и набросить ему на шею петлю? Выбор пал на Бакея, тоже пастуха. «Ну что ж! Я, пожалуй, съезжу за ним,— говорит Бакей,— но мне надо такого коня, чтобы я не только мог догнать этого дьявола, но, в случае чего, и ускакать от него». Выбрали гнедого жеребца. Бакей несколько дней объезжал его, потом подтянул подпругу, выбрал длинную березовую дубину, специально высушенную для того, чтобы ее легче было держать в руках, и отправился за беглецом. Но бура, еще издали увидев пастуха, вскочил на ноги и бросился на него. Бакей, подпустив верблюда, огрел его по шее дубиной и помчался наутек. Обозленный бура побежал за ним, но тут Бакей, улучив момент, снова треснул его по боку и опять отскочил в сторону. Он мог бы его свалить одним ударом по голове, но хозяин строго-настрого приказал доставить беглеца живьем. Однако справиться один на один с взбешенным верблюдом невозможно. Оставалось спрятаться и переждать, потому что бегством от буры не спасешься,— он неутомим в преследовании. За десять верст возле небольшой рощицы находилось пустующее зимовье. Вот Бакей и поскакал туда. Чтобы выиграть время, он завлек верблюда

[1] Ак-Жамбас — белая берцовая кость.

в болото, а сам поскакал напрямик. Пока верблюд барахтался в топи, Бакей влетел во двор пустого дома (в ауле все откочевали на пастбища), накрепко запер ворота, ввел коня в дом и заложил вход бревнами. Бура высадил грудью ворота, влетел во двор и залег около самых дверей дома. Так он пролежал, не двигаясь, двое суток. Бакей два дня не пил и не ел, сено для лошади доставал через окно. На третьи сутки бура отошел от двери, вышел из ворот и стал пастись недалеко от дома, обирая колючки какого-то бурьяна. Воспользовавшись этим, Бакей незаметно вывел жеребца и выскочил через задние ворота. Только этим он и спасся. Верблюда потом поймали, вернули в табун. Но история на этом не кончилась. Через год верблюд, случайно встретив жеребца (а ведь в табуне не одна сотня лошадей), бросился на него. Между конем и верблюдом произошло настоящее единоборство: жеребец вырвал кусок мяса с передней ноги верблюда, а верблюд нанес ему глубокую рану в бедро. И когда рана зажила, шерсть на ней выросла седая, белая. С тех пор жеребца и зовут Ак-Жамбас.

И дальше Макан рассказал, какой удивительный этот жеребец. К его косяку не смеет приблизиться ни волк, ни конокрад. Он с одинаковой яростью бросается как на голодного зверя, так и на незнакомого человека. Даже если незнакомец подберется на лошади, то и тогда он сумеет сорвать его зубами с седла или искусать коня. На чужих жеребцов Ак-Жамбас не нападает, чужих кобыл не отбивает, но и другие жеребцы не смеют приставать к нему.

— А пристанут раз,— прибавляет Макан,— так потом век не забудут.

В первый же день моего появления на пастбище Макан показал мне Ак-Жамбаса издали. Это был действительно не конь, а чудо: статный, высокий, на голову выше всего табуна, с гривой по колено, с длинным густым хвостом.

— Ты смотри, близко к нему не подходи,— предупредил Макан.— Он тебя ещё не знает, пусть попривыкнет.

Ак-Жамбас привык ко мне скоро. Сначала еще косился недружелюбным взглядом, храпел, а потом вовсе перестал обращать внимание.

Дни шли за днями. Я варил обед для Макана и помогал ему пасти лошадей. Предсказание Макана

сбылось: я быстро поправился, лицо мое округлилось. Я уже мало походил на того беспризорника, которого хозяйки гнали от порога к порогу. Привык я к степи, которая сначала угнетала меня своим однообразием, и к одиночеству, хотя, по правде сказать, это было самое трудное. Страшно было оставаться одному в коше по ночам; волки рыскают около самого коша, отыскивают и гложут вываренные лошадиные кости. Правда, они никогда не смели сунуться в самую палатку. «Волк боится запаха гари,— верят казахи,— и в черный, то есть в закопченный, кош не сунется», но все равно я боялся оставаться один и все время просил, чтобы Макан брал меня с собой сторожить табуны. И еще пугали бураны. Макан угадывал заранее их приближение.

— Ну, паренек,— говорил он,— держись! Завтра опять завертит, слышишь, как лошади храпят! Надо сгонять их в один табун, а то потом и не соберешь.

Одна буря мне особенно памятна. Макан вернулся с объезда и сообщил, что лошади храпят, собираются скопом, подбирают животы. Это не к добру. Надо пообедать пораньше, одеться потеплее и отогнать лошадей на новое место, где корма побольше, а то как бы во время метели ноги не поломали бы в ямах.

Так мы и сделали: поели, оделись потеплее, сели на коней (у Макана для таких случаев постоянно наготове два оседланных коня) и поскакали собирать табун. Макан словно в воду глядел: еще и ночь не успела спуститься, как закрутила метель. Я сразу же ослеп и оглох. Было темно. Крутящиеся вихри скрывали даже голову моей лошади. Было трудно дышать. Макана я потерял, метель крутила меня по полю. Я не знал, где нахожусь и где табун, помнил только одно: надо крепче держаться за гриву, иначе выбросит из седла. На счастье, жеребец мне попался хороший, и я, помня наставления Макана, кинул поводья, дав ему полную свободу.

О, какая же это была долгая, проклятая нескончаемая ночь! Я все кружил, кружил по полю, куда-то ехал, не видя и не слыша ничего. И мне уже не верилось, что может наступить этому конец. Но конец бывает всему, и шайтаны-то, по словам стариков, шныряют только ночью. Взошло солнце, ветер утих, и я увидел, что нахожусь в центре табуна, а мой жеребец спокойно

пасется посередине уже расчищенной от снега проталины.

К полудню буран прекратился вовсе, и я начал сгонять разбредшихся по полю лошадей. И тут мне сразу бросилось в глаза, что недостает многих лошадей. Стал искать Макана, его тоже не было. Куда же он мог деться? До вечера я ничего не мог понять и потерянно кружил по степи. Только когда уже стемнело, я вдруг услышал топот и увидел, что на меня несется табун: Макан гнал отбившийся косяк.

— А косяк Ак-Жамбаса здесь?— крикнул он мне с седла.

Я ответил, что нет. Макан беспомощно взмахнул руками и побледнел.

— Ну, пришла божья кара,— сказал он.— Как же так вышло?

Я пожал плечами.

— Ну ладно, оставайся тут, я пойду проверять табуны.

Скрип копыт по снегу, ржанье — то заливистое, то короткое, как хозяйский окрик, то тонкое, как крик ребенка,— стояло над степью. Это матки, потерявшие жеребят, и вожаки, не сумевшие сохранить косяки, сзывали отставших. Косяк распадался и перестраивался. Макан объехал все стадо и вернулся обратно.

— Ну, и впрямь божья кара!— сказал он.— Около сорока лошадей нет, целиком весь косяк Ак-Жамбаса пропал, да из других косяков лошадей одиннадцать. Значит, с Ак-Жамбасом случилась беда.

— Какая беда?— спросил я.

— Волки напали, вот какая беда,— сердито огрызнулся Макан.

— А может, его косяк в топь попал?— спросил я. За день до этого мы с Маканом объезжали стадо и на самом краю поля заметили следы двух волков. Мы поехали по ним, думая обнаружить волчье лежбище, и вдруг наткнулись на топкое солоноватое озеро.

— Несешь ты черт знает что!— окончательно рассердился Макан.— Ак-Жамбас умнее нас с тобой. Он никогда не терял ни одной кобылицы. У него всегда весь косяк вместе. Нет! Нет! Не иначе как только волки.

Он опустил голову и задумался.

— Так куда же он мог все-таки уйти? Те волки шли к озеру Атантай. Там густой камыш, как раз место для волчьего лежбища. Есть еще место, где они живут,—

это озеро Шокшалы, но туда волки лошадей не погонят: оно с ветреной стороны. Значит, надо искать косяк только около Атантая, туда они его и погнали.

— А зачем погнали?— опять спросил я, ничего не понимая толком. Макан говорил о волках, как о разумных существах, почти как о табунщиках.

— Ах, господи! Ты что, совсем не соображаешь?!— воскликнул Макан с настоящей досадой.— Да потому, что волки нападают только на отбившихся от табуна лошадей, на целый косяк никогда не нападут. Вот они и ловчат: окружат косяк и гонят его в топь или в овраг, а там уж разделываются с каждой лошадью поодиночке.— Он задумался.— Да, да! Не иначе как на Атантай. Ты оставайся здесь, а я поеду. Смотри, не давай разбредаться лошадям. Сейчас они проголодались, будут целую ночь пастись смирно, не поднимая головы. Оставайся, не бойся: если человек при табуне, волки никогда не нападут.

И он ускакал.

По правде сказать, очень трудно пришлось мне в эту ночь. Ведь я больше суток проторчал в седле, больше суток не ел и не спал и поэтому чуть не падал от усталости. Пошел бы в кош, да волков боялся. Мне казалось, что они бродят вокруг коша или подбираются к самому табуну. Кучи снега, сбитые копытами, сухие и белые кусты курая, просто бугры — все, все мне казалось волками, подбирающимися ко мне на брюхе. И вот я заставляю свою кобылу (а я уже успел переменить лошадь) безостановочно блуждать по полю. Метели нет, а я все кружу, кружу и кружу. Так прошло полчаса, потом час. Курай же оставался кураем, сугробы сугробами, и я успокоился, и веки мои начали тяжелеть. Светит полная луна, ветра нет и в помине, воздух тих, прозрачен, остро пахнет свежестью, и такое безмолвие, что если сорвется с курая пласт снега, то и это слышно. Лошади бродят или спят стоя, задремала и моя кобыла. Я закрыл глаза и...

— А, попался!— раздалось около моего уха, и мгновенно кто-то сильный и свирепый рывком выбил меня из седла, бросил поперек лошади и, закутав с головой, помчал по полю...

«Конокрады»,— подумал я и затих.

— Мальчик!— вдруг раздался надо мной тот же страшный голос.— Если я тебя отпущу, отдашь мне половину табуна?

Голос был неестественно грубым, я сразу все понял и закричал:

— Дядя Макан, пусти, а то я задохнусь!

Макан захохотал и скинул с меня армяк.

— Ну, напугался? Наверно, чуть жив от страха?

— Нашелся Ак-Жамбас?— спросил я.

— Нашелся! Нашелся!— весело ответил Макан.— Ладно, идем в кош, а то проголодались, там уж я все тебе расскажу.

— А волков не боишься?— спросил я, подходя к кобыле.

— А волки тоже устали, спать пошли. Поехали, не мешкай!

Кош был завален снегом до самой макушки, и нам его пришлось буквально раскапывать, зато потом все пошло быстрее быстрого. Кизяк — очень жаркое топливо, был он у нас всегда в достаточном количестве, растопка оказалась сухой, появился и мешок с аварийным запасом конины. Это был наш постоянный обычай — обязательно, на всякий случай, в углу палатки должен лежать про запас самый жирный кусок мяса или казы[1]. Одним словом, самые лакомые и питательные куски.

И вот, наевшись досыта, Макан начал рассказывать. Говорил он долго, нарочно останавливался на самых интересных местах (он любил иногда похвастаться), а потом вдруг объявил перерыв и закончил рассказ уже утром, после того как выспался и обтерся до пояса снегом. Здесь я сжато передаю все, что услышал от Макана.

— Ну, как ты знаешь, поскакал я к озеру Атантай и верст через пять вдруг наткнулся на следы косяка. Весь снег в этом месте был так сбит копытами и перемешан, что я сразу понял: вот здесь лошадей вспугнули волки и они шарахнулись в сторону и побежали. Произошло это все еще до бурана или во время него. Следы были заметены снегом. Сколько было волков, я сосчитать не мог, но никак не меньше десяти. Слез я с лошади, стал рассматривать следы и понял, что произошло: волки окружили косяк со всех сторон и гнали его по сугробам, лошади сбились, сгрудились и скакали, прижавшись друг к другу,— так у них всегда бывает,

[1] К а з ы — брюшное сало с ребрами, из него готовится конская колбаса.

когда косяку грозит опасность. По этим же следам было видно и другое: и сзади, и спереди, и с боков косяка скакала одна и та же лошадь и поочередно бросалась на волков. Видно было, что как только волки прорывались к стаду, они всегда натыкались на копыта и зубы вожака. «Эх, моя лошадка,— подумал я,— одна-одинешенька, отбиваешься ты изо всех сил, а врагов-то много; одного волка убьешь, девять останется, пятерых убьешь, и то пять останется — не выдержишь, обессиленная, свалишься, и тут-то тебя растерзают в клочья». И так мне горько от этих мыслей стало. Скачу дальше и вдруг слышу: заржала где-то лошадь, но только где-то очень, очень далеко. Я ушам своим не поверил, остановил коня, сижу в седле, прислушиваюсь: точно, это ржет Ак-Жамбас. «О аллах,— воскликнул я,— благородный конь, слава всевышнему, ты еще жив!»

И пока я так стоял, прислушиваясь, жеребец подо мной отдохнул и поскакал по глубокому снегу — уверенно, как по дороге.

И тут я увидел весь косяк, а в стороне от него, проваливаясь в снег по брюхо, метнулось при виде меня несколько матерых волков. А Ак-Жамбас поднял морду и заржал.— Тут Макан остановился и всхлипнул.

— Ну что ты,— спросил я,— ведь все кончилось благополучно?

— Ну как же мне не плакать,— ответил Макан, вытирая слезы,— стоял мой жеребец весь в поту, в пене, от него пар валил клубами. Запоздай я на полчаса, он рухнул бы в снег и волки разорвали бы его на части,— он уж совсем выбился из сил. Я быстро побежал к нему, вытер ему глаза, накрыл армяком, снял с жеребца уздечку и взнуздал. Потом я осмотрелся и догадался, что тут произошло: если волк был спереди, Ак-Жамбас бил его передними ногами, если заходил сзади — просто лягал.

— Но почему же волки дальше лошадей не погнали?— спросил я.

— А вот почему,— сквозь слезы улыбнулся Макан.— Оказывается, косяк стоял в десяти шагах от оврага. Если бы Ак-Жамбас не остановил косяк, все бы лошади полетели вниз и волки живо расправились бы с ними. Вот он, мой красавец, и остановился около самой пропасти. И выходит — вперед ни шагу уже нельзя.

— А обратно?— спросил я.

— А обратно ж волки!— воскликнул Макан.— Они свое на уме держат — загнать коней в овраг, пусть они ноги поломают, тогда им и конец. Вот какой их расчет был. А жеребец оказался умнее: дошел до края и остановился. Видишь, что получается?

* * *

Так проходили дни. Теперь я был уверен, что самая лучшая профессия на свете — это быть табунщиком, самое большое счастье — это пасти коней. И если бы не случай, то я, верно, так бы и остался пастухом. Но говорят же: «Коль уж не повезет, то и супом зубы поломаешь». Так случилось и со мной.

— Светик мой,— сказал мне однажды Макан,— надо мне на день-другой съездить в Жаман-Шубар: белье там постирать, в баньке вымыться, ну и еще разные такие дела, а вместо себя пришлю человека, ладно?

— Хорошо,— сказал я,— поезжай! Мы и без тебя управимся.

К этому времени я уж привык к степи, к лошадям, перестал бояться волков, и мне показалось все нипочем.

— Ну вот и отлично!— похвалил меня Макан.— Ты у меня совсем взрослым стал. Но помни, за табуном хорошо следить надо. Сам знаешь, сколько волков здесь появилось. Так ты от табуна, пока не приедет мой человек, ни на шаг не отходи, а если волки нападут, не пугайся. Отогнать их нетрудно, они боятся огня. Найди-ка ты палку посуше да подлиннее и воткни ее в печку, в кизяк, пусть себе понемножечку тлеет, как волки подойдут, выхватывай палку да беги прямо на них. Только прямо на них беги! Не бойся! Они сразу, как зайцы, без оглядки убегут.

Вот как, оказывается, просто избавиться от волков! Буду знать. Макан поймал для меня сильную смирную лошадку, а ту, что была подо мной, отогнал в табун, попрощался и ускакал. Остался я один, и вся храбрость с меня слетела. Палка-то, конечно, палкой, но почему Макан с таким значением говорил о волках? Зачем объяснял, как одному бороться (легко сказать!) с целой волчьей стаей? Видно, он знал что-то, да не договорил до конца. На сердце у меня стало очень неспокойно. Некоторое время мне всюду чудились волки. Я едва дождался посланного Маканом пастуха.

Он приехал еще дотемна, и я узнал в нем знакомого жаман-шубаровца Бекена. Даже не взглянув на табун, он сразу же бросился в угол, где у нас лежало мясо, и с торжеством выволок целый бараний курдюк, только что присланный Туртаем. Он взглянул на него и даже зажмурился от удовольствия.

— Ты смотри,— воскликнул он,— как кормит вас старый черт! А дома у него и голой кости не допросишься. Ну хорошо! Я сейчас с ним поквитаюсь. Парень, вздуй-ка огонь! Положи в котел мясо, да полнее, полнее, чтоб да краев было.

Что тут было делать? Ослушаться я не мог. Он был пастухом, а я всего-навсего подпаском. Я раздул огонь, набил котел снегом и положил столько мяса, сколько мы обычно клали на двоих. Но Бекен, следивший за мной, вдруг закричал:

— Эй! Эй! Что ты делаешь? Что такое кладешь? Что я, кот, что ли? Для чего я приехал, скажи на милость? Ну?

Я молчал, а он сурово нахмурился и ответил:

— Я приехал мяса наесться досыта! Вот для чего. А ну-ка давай нож! Я тебе покажу, как надо резать.

И он стал кромсать огромные куски баранины и конины и доверху набил ими котел. Этого не мог бы одолеть ни один обжора на свете, но Бекен посмотрел и остался доволен.

— Ну, я объеду табуны, а ты вари!— крикнул он мне уходя.— Скорее! Я голоден как волк.

Ездил он долго. Когда котел вскипел, мясо разбухло и полезло из котла, я подумал: «Если варить так, верхние куски останутся непроваренными, если стоять и перемешивать, уйдет бог знает сколько времени, а Бекен вот-вот возвратится». Поэтому, на свой страх и риск, я вынул лишние куски, но котел все равно остался набитым доверху. «Неужели ему этого не хватит?»— подумал я.

Пришел Бекен, обрадованно воскликнул:

— Как, уже готово?— Подошел к котлу, заглянул в него, схватил черпак, начал мешать и вдруг закричал:

— А филе где? Где грудинка? Ребро? Ах ты мошенник! Уже сожрал!

Я стал ему объяснять, что мясо не поместилось в котле, пришлось часть вынуть. Тут он рассердился так, что наскочил на меня с кулаками.

— Вот пес!— крикнул он.— Хозяйское добро бере-

жешь! Боишься, что хозяин обеднеет. Клади сейчас же все обратно! Живо! Живо, слышишь? Пусть доварится, я подожду.

Что было делать? Пришлось подчиниться.

— Неужели все съешь?— спросил я, когда котел опять был битком набит.

— Не твое дело! Помалкивай!— зыкнул он.— Смотри у меня!

Я чуть замешкался у котла. Прямо рука не поднималась губить столько добра, но Бекен вскочил и подошел ко мне.

— Опять половину собираешься спрятать? Смотри, морду разобью! Сразу узнаешь, кто я такой!

Между тем куски мяса, лежавшие внизу, сварились. Я вынул их, залил подливкой, положил на блюдо и стал крошить, но Бекен не дождался, пока я кончу резать, он хватал все, что лежало на блюде: мясо, сало, хрящи — и глотал их, как волк, не разжевывая. Зачерпнет полные пригоршни, проглотит, снова зачерпнет и снова набивает рот, да так жадно, что чуть не давится. Он уплетает, а я все крошу. Есть такая казахская присказка: «Один обжора на званом пиру ел, ел мясо — да и подавился куском». «Что такое с ним?»— спрашивает хозяин сидящего рядом гостя. «Подавился, и все!— равнодушно отвечает сосед.— Кусок не лезет, а он пихает, ну, а глотка ведь не аллах, это только тот ничем не давится».

Бекен тоже стал давиться. Сначала он ел пригоршнями, затем стал брать в рот по большому куску, через некоторое время перешел на кусочки, а потом вздохнул, опустил руки и сказал:

— Нет, не могу, не лезет!

А ведь он съел только половину, другая половина еще кипела и подпрыгивала в котле.

— А с тем что же делать?— спросил я, кивая на котел.

— Завтра, завтра,— ответил он мне невнятно.— Завтра утром будем есть...

— А бульон,— спросил я.— Он ведь сыром приправлен, может, ты...

— Издеваться, собака, вздумал!— вскочил Бекен, но тут же ойкнул, схватился за живот и повалился набок. Он уже не мог ни кричать, ни двигаться, его распирало. Вечером он пришел немного в себя, охая, выполз из коша и сел на лошадь.

— Поеду к табунам,— сказал он.

Вид у него был такой скверный, что я предложил:

— А может, мне поехать?

— Не надо! Ложись и спи,— проговорил он, с трудом ворочая языком.— Встанешь пораньше, согреешь бульон и мясо.

Я лег и, верно, крепко заснул, а проснулся от истошного крика. Не понимая ничего, я выбежал наружу. У входа стояла лошадь Бекена, хозяин ее свесился с седла, мычал, метался, изрыгая остатки съеденного. Он мотал головой, лоб его был покрыт крупными каплями пота. В эту минуту мне показалось, что он умирает.

— Бекен, дать тебе что-нибудь?— закричал я испуганно.

Но он с отвращением махнул рукой и отвернулся от меня.

— Издеваться, щенок!— прошептал он страдальчески.— Ну, погоди, я встану...

Где ему было встать! Он двигаться и то не мог. Кое-как я помог ему слезть с лошади, чуть ли не под мышки, волоча по земле, притащил в кош, положил на кошму и прикрыл овчинами. Он поворочался, поворочался, поохал, постонал и наконец забылся в тревожном, горячечном сне. Я тоже прикорнул у очага, но только закрыл глаза, как услышал заливистое ржанье целого табуна. Я выбежал наружу, вскочил на своего конька и стремглав понесся в ту сторону, откуда раздавалось это ржанье, полное такой боли и ужаса, что меня мороз пробирал по коже. Лошади, разбредшиеся в разные стороны в поисках корма, теперь сбивались в один табун, теснили друг друга и ржали. Мимо меня, поминутно завязая в снегу то по щиколотку, то по колено, пробежал целый косяк лошадей. Я проехал сотню шагов и застыл от ужаса: два волка терзали еще живую лошадь. Один из них, огромный матерый, величиной с большую телку, вцепился в горло жертвы: другой же, располосовав ей брюхо, вытягивал кишки. Вся шерсть его была в крови. Лошадь билась на снегу и отчаянно ржала. Я вспомнил рассказы Макана: волк, задрав лошадь, прежде всего выпускает у нее кишки, а она еще жива и ржет. Весь снег был пропитан кровью и казался багряно-черным. На меня волки даже не обратили внимания, только тот, что рвал горло несчастной жертвы, скосил разбойничий светлый глаз.

«Огня!» — вспомнил я. Повернул лошадь, тоже полумертвую от страха, и поскакал обратно.

Бекен лежал на кошме и стонал по-прежнему. Когда я сказал, что волки задрали лошадь и нам теперь несдобровать, он только слабо махнул рукой и вяло выругался:

— Что лошадь! Я сам еле жив. Шайтан с ней. Что я, нанимался им, что ли? Поезжай ты.

Я вытащил из печи тлеющую палку и поскакал обратно, но уже не застал ни лошади, ни волков.

На следующий день приехал Макан. Когда я ему рассказал, в чем дело и каким образом я потерял одну лошадь, он сразу переменился в лице.

— Это очень плохо, мой милый,— сказал он.— Не пощадит тебя хозяин. Ты знаешь, какая он собака.

Мне стало ясно, что, хотя за пастуха оставался Бекен, отвечать за все буду я.

На другое утро меня разбудил чей-то голос. Стоя возле коша, хозяин гневно, хотя и не очень громко, выговаривал Макану:

— И зачем ты с ним связался? Он же всюду приносит несчастье! Его в дом пустить, что беду впустить. Хорошо, что только одну лошадь волки зарезали, а если бы целый косяк в овраг загнали? Чтоб его сегодня же тут не было. Слышишь?

Потом он зашел в кош, посмотрел на меня, гневно сплюнул и сразу набросился на притихшего и только слабо стонущего Бекена.

— Ты что, жрать сюда, что ли, приехал? Ишь наперся, еле дышит. Вон отсюда, бездельник!

Он еще покричал немного, а потом оседлал лошадь и вместе с Маканом поехал осматривать табуны. А вечером Макан запаковал мои вещи, посадил в сани и виновато сказал:

— А на меня не сердись: я тут ни при чем. Слышал, что хозяин говорит?

Вот таким образом я и не сделался пастухом.

Макан жив и по сей день. Ему недавно исполнилось восемьдесят лет. Он живет в том же самом ауле, только называется теперь этот аул Жанажол, то есть Новый путь. Последний раз я его видел летом 1964 года. Застал я его за работой — он косил. Взмахи руки старика были точными и сильными, трава так и ложилась полосами.

— Ну, дядя, ты еще силен!— сказал я.

Он остановился, перевел дыхание, провел рукой по лицу, по редкой жесткой бороде (только кое-где в ней серебрились белые нити).

— Аллах!— ответил он спокойно.— Не дал мне аллах детей, вот я и кошу сам.

— Да уж пора бы и на отдых, дядя! В ваши-то годы...

— А что мои годы?— вскинул он на меня глаза.— Мои годы не так уж велики. Отец-то почти до ста дожил! А косу бросил только за год до смерти.

— Ну, пошли же и вам силы, аксакал!— сказал я.

— Пошли, пошли,— сказал он равнодушно и снова взялся за косу.

*1941 г.*



*Габит МУСРЕПОВ*

## ЗОВ ЖИЗНИ

Хмурые ползут над морем тучи, сырыми космами тумана льнут они к вспененным волнам. Нет конца и края им, нет конца медленному движению их. Но вдруг ветер, шальной и теплый, налетит с далекой земли. Сомнет он, раздвинет тучи, и глянет на сердитое неласковое море синими глазами весеннее небо.

Вздрогнет, изогнется сильным, как стальной прут, телом самец — Серый-Ярый,— из рыб породы Азат-Мая, серебряным мечом прянет над бурным морем навстречу солнцу и весенней сини.

В обычной, будничной жизни Серый-Ярый тускл, словно водоросль зимнего моря, но сейчас...

Пришло время яростно мчаться. Оттого блестят глаза и тело сплошь покрыто жемчужными пестринами. Как жгучую черноту неба пронзает падучая звезда, так мрачную синеву морской пучины пронзает сейчас Серый-Ярый.

Сегодня он плывет широким кругом. Он забыл про осмотрительность и осторожность, навсегда забыл привычные места для выслеживаний и выжиданий. Он горд, он буен, он высоко прыгает, стремясь быть видным всем. Теплый ветер с земли сообщил ему великую тайну, синие глаза весеннего неба глянули в его глаза.

Пусть весь подводный мир смотрит на меня — говорит он всем своим видом. И нет у него больше робости и трепета перед широкими, острозубыми глотками хищников.

Вырывается на широкие просторы, куда прежде не ходил, Серый-Ярый. Самок-рыб породы Азат-Мая, живущих мирно под толстым льдом, он гонит, направляет к берегу, будоражит, торопит. Как орел, свободно парящий в высоком небе, затеял он великий полет.

Сколько раз подводный мир в страхе бежал от него, горюя и оплакивая жертвы. Сколько раз он сам спасался от более сильных. В морских джунглях пощады нет слабым.

Но сегодня зубастые, изогнутые его челюсти плотно сжаты. Нет ему больше дела до слабых, нет страха перед сильными. Презрев все, словно объятый огнем и гонимый чудо-силой, он покинул тишину и сумрак дна, вышел в открытое море. Он мчится без устали.

И вдруг заметил Серый-Ярый, что не один он рассекает морскую пучину. Все самцы одной с ним породы Азат-Мая взыграли, волнуя и взъяривая морскую глубь, Они тоже мчались, они тоже сверкали, они тоже трубили походную песнь.

Все больше и больше серебряных молний над морем, все больше блеска и сверкания.

Эти молнии зовут, увлекают самок-рыб, указывают путь великого похода. Они зовут к могучей реке, которая впадает в море далеко на юге.

Только ленивые, равнодушные самцы-кретины спокойны и выжидают время, чтобы примкнуть по пути к великому торжеству. Они еще пасутся у дна, слабо шевеля плавниками, и жмутся к седым от старости серым-ярым, которым уже нет дела до таких походов.

Не все еще готово к великому походу: есть беспомощные и слабые. Все это безразлично самцам-кретинам. У них забота только о своей утробе. Они даже не готовы к пути, они тусклы, они не обновили своего наряда.

Серый-Ярый не позвал их в поход. Он пронесся мимо — сильный и гордый, полный презрения.

Похожие на камбалу, тупорылые, прятались среди лилий у дна морские коты, подстерегая добычу, выставив вперед ядовитые костяные шила. Тысяча хищнорылых обжор рады великому празднику. В суматохе они

легко наполняют свое брюхо, покрывают свои ребра жиром.

Серый-Ярый не испугался их, промчался сквозь кровожадную свору. Кто может, кто посмеет схватить молнию?

И миноги готовят ловушку. Хоть и зовутся рыбами, но, как пиявки, тонки они, злы и коварны. Подкрадется, прилипнет к жабрам, и не оторвешься, не избавишься, так и тянется тонкой кишкой до пресных вод, до нерестилищ, и пожирает там свежую икру. Но не страшны сегодня миноги Серому-Ярому.

В дремучих подводных джунглях покой и тишина таинственные. Розовые, желтые, коричневые, слабо шевелят своими щупальцами морские звезды. И среди них сонно плавают, погруженные в свои заботы, самки-рыбы Азат-Мая.

Огонь еще не охватил их тела. Им еще невдомек, что впереди их ждет великий путь. Брюхастые, готовые лопнуть от тяжести икры, они спокойны и безразличны. Краса предстоящего похода, буйного, искристого веселья разве не эти вислобрюхие самки?! В них будущее поколение Азат-Мая. Потом, когда дойдут они до пресных вод, до заветного места, разве жаль будет десятка прекрасных серых-ярых, погибших за одну из этих толстобрюхих?

Но рыбицы еще не воспламенились, еще не началась у них песня, не начались пляски. Они спокойны по-прежнему, они надеются на всезнающих, вездесущих самцов...

И Серый-Ярый понял, что пройдет еще немало времени, прежде чем безудержным своим полетом, своей игрой и блеском удастся ему заразить самок жаждой похода.

О, эта песня лилась с вышины! Эта песня без слов всколыхнула холодные рыбьи души. Это был огонь, сжигающий и в воде, это было таинство, чудо, оживляющее даже мертвых.

Серый-Ярый мчался, разбивая в осколки воду, легко касаясь своим телом, алым жемчугом покрытым, самок. И они, словно объятые пламенем, вспыхивали в тот же миг радугой.

Засверкало, забурлило под морем и над морем. Теперь уже никакая сила не могла остановить Азат-

Мая. Все самцы и самки понеслись, помчались стаями и косяками в сторону нерестилища — реки. Вздрогнуло великое море от великого похода. Раскачались, зацвели огненно-кровяным светом испуганные медузы. Чавыча и Нерка, Кижуч и Сина — рыбья родня Азат-Мая — двинулись следом.

Молоденькие девицы со впалыми боками, без единой икринки, тоже было устремились вместе со всеми. Но никто не позвал их с собой. А как им хотелось участвовать в великом походе, упиваться общей радостью! Ведь поднимется косяк по реке, дойдет до мелководья, и помечут самки красную икру, самцы же обольют ее белыми молоками. А сколько веселья будет в многодневном пути! Окружат серые-ярые самок, засверкают клинками, оберегая их.

Серый-Ярый знает, о чем думают молоденькие девицы. Гонит он их в густые заросли, бьет. Не всякому дано глядеть на великое веселье...

Стараясь умолить, смягчить своими чарами Серого-Ярого, шаловливо увиваются молодухи вокруг, но, испугавшись неприступно-лютого его вида, в страхе бегут в морские заросли. Они не могут нарушить закона природы.

Это прекрасно знают бурые от старости самцы. Они не трогаются в путь, не мешают остальным, лишь взглядом провожают отправляющийся косяк. Сколько раз, в молодые годы, проделывали они этот путь, сколько раз возглавляли поход! Теперь им даже неведомо, что происходит вокруг, только иногда блеснут глаза, словно отразится в них далекая зарница, и сейчас же погаснут под мутной поволокой старости, словно что-то забытое вдруг всколыхнется в рыбьей душе. Мир надежд им уже непонятен. Они все позабыли. Оттого и тянет их в глухие заросли, во мрак, к замшелым камням, где прилепились морские звезды, не умеющие плавать.

Не раз вставало над морем низкое северное солнце, не раз падало за край его, зажигая небо весенней семицветной радугой, не раз опускалась над миром тьма, пока наконец самцы и самки достигли устья полноводной реки, впадающей в море.

Беда ждала великий поход в узких речных протоках. Со всего моря сплылись, собрались здесь хищнорылые.

Они не утруждали себя погоней, а как собаки накинулись на косяк из засады.

Горечь бессилия охватила всех самцов породы Азат-Мая, всех серых-ярых. Ведь они страшны только на вид, но у них нет другого оружия, кроме быстрого сверкающего, как молнии, движения.

И тогда, мчась взад и вперед, они собрали широко разбросанный косяк и упрямо пустились против течения, окружив самок плотным кольцом.

Теперь хищнорылые хватали серых-ярых, но караван упрямо поднимался вверх, все выше. И отставали хищники, возвращались в море. А десятки тысяч Азат-Мая неслись в едином порыве, и никто не отклонился в сторону.

Увлек всех поход, собрал воедино и властно погнал вперед. Серый-Ярый ведет, возглавляет косяк.

Ударились вдруг сильные тела рыб о сети, расставленные ворами-браконьерами. Но разве есть на свете такая преграда, которая может задержать поток жизни? Мчится он, сметая все на своем пути. Гибнут одни, другие идут вперед.

Есть ли на свете лучше песня, чем та, которую поет встречное течение могучей весенней реки?! Да разве может быть что-нибудь более сильное, чем единый порыв к великой цели?! Чувствуя это, выравнивался косяк и стремительными тенями несся в быстрых струях.

На другой день, перед восходом солнца, Серый-Ярый почувствовал, что скоро им встретится водопад. Давила в грудь упругая тяжесть воды, убыстрялся бег течения, и уже чудился грохот.

Заметался Серый-Ярый вокруг косяка, подгоняя слабых и нерадивых. Прянул он над водой и увидел белопенную трехметровую стену. Вода падала с высоких скал, тучи бриллиантовых брызг вставали к небу.

Заволновался косяк. И тогда снова метнулся Серый-Ярый, увлекая всех за собой. Расступилась спокойная выше перепада вода, поглотила его. Гордый, подплыл к тенистому берегу Серый-Ярый и стал поджидать свой косяк.

Первыми последовали примеру Серого-Ярого самцы, что плыли вместе с ним впереди. На миг показалось, что кто-то забавляется у водопада, бросая серебряные кинжалы. Взлетит вверх клинок, блеснет на солнце и исчезнет, вонзившись в воду.

Трудно приходится самкам. Раскачивает быстрая вода их вислые животы. Взмывают они вверх и, не долетев до гребня, падают на камни, и крутыми толчками вылетает из них драгоценная икра.

Те, кому не удается с первого раза преодолеть водопад, отступают, чтобы снова взмыть в воздух.

Еще труднее приходится рыбам, к жабрам которых присосалась подлая минога. Как кони, запутавшиеся в поводьях, бессильны они. Не только самок одолели миноги, но и ленивым, малоподвижным самцам приходится туго. Бьются в кровь об острые камни, теряют силы.

Серый-Ярый спокоен. Он не жалеет их. Серый-Ярый не первый год в походе, он знает: кто не преодолеет преграды, тот не вернется в море. Зачем их жалеть? Погибающие находились в конце стаи, во всем и всегда они были последними. Плыли они толкаясь, суетливо тычась, и движения их были неприглядны.

А вокруг Серого-Ярого снова сгрудился весь косяк, играя. Самки, усталые, льнут под берег.

— Дошли, наверное... Отдохнем...— говорят они всем своим видом.

Теперь уже через водопад летели редкие рыбы-одиночки. И снова заметался, сверкая, Серый-Ярый, снова повел вперед подвластную ему армию.

Два дня и две ночи шел косяк по реке. Исчезла тяжесть воды, что давила на грудь и сжимала бока. Бледная, вставала над миром ранняя заря.

Серый-Ярый, шедший впереди, словно убеждаясь в чем-то, одному ему известном, взлетел вверх и, разбивая тяжелым телом спокойную гладь реки, радостно взыграл. Он узнал знакомые места. Здесь каждый год метали икру самки его породы Азат-Мая, здесь когда-то родился он.

И тогда, переполненный радостью, счастьем и ощущением силы, Серый-Ярый стал врываться в гущу косяка, ломать строй, словно хотел сказать самкам: «Дошли... Здесь остановка... К делу...» Все самцы — заиграли, запрыгали.

Здесь было потаенное царство тишины и покоя. В большую реку впадала малая, выстилая дно желтым бархатом песка и мелкими камнями. Сюда вошел косяк, и разбрелись по мелководью усталые рыбы.

Но ни одна из самок не искала покоя и корма, и не погас праздничный блеск в глазах серых-ярых.

Встав головами против течения, средь мягкого песка и цветных камешков, стали они рыть ямки, круглые, как блюдца.

Из студеного моря шли Азат-Мая, спасались от хищнорылых, рвали сети и бились об острые камни у водопада для того, чтобы излить икру вот в эти ямки, в устье этой тихой далекой реки, где родились сами, где можно дать жизнь своему потомству. Оттого и спешат они завершить приготовление к великому таинству, оттого забыли про голод и усталость.

Гордые самцы-красавцы серые-ярые вьются рядом, стерегут самок от опасности. И если кто обессилел, они бросаются на помощь.

Два дня и две ночи усталые, исхудавшие в пути рыбы делали свое нелегкое дело, а когда пришло время...

Золотисто-красные икринки полились в ямки, как падучие звезды. Серые-ярые, соблюдавшие до этого порядок похода, теперь словно обезумели. Они бились друг с другом, стремясь облить икру только своими молоками.

Яростную, беспощадную битву затевают орлы в вышине, люди на земле, рыбье же царство вершит ее под водой. Серые-ярые опьянели. Глаза их не видели, уши не слышали. Десять дней, десять ночей длилась великая битва.

Все забыли умные и мудрые серые-ярые. Все дни похода думали они о потомстве, охраняли косяк, но сейчас... Над ямками, полными нежной икрой, бьются они, брызжа упругими молоками, показывают ловкость и отвагу. Но все чаще чудится в их движениях усталость — все отдали они ради будущего. И уже плывут от тенистых берегов самцы, которые терпеливо выжидали, не участвуя в великой битве любви, предоставив другим участвовать в ней.

Млея от сладостного чувства, они жадно глотают золотистые зерна и, сыто подергивая хвостами, обливают остаток икры своими молоками. Они не умеют драться, мериться по-мужски силами. Они приходят после того, когда устают другие. Они довольны, они счастливы. И в яростной схватке мерзавцы жиреют.

А когда кончилось великое торжество, когда кончился огненный танец любви и все ямки были покрыты песком, увидел Серый-Ярый, что выбились все из сил. Многих не досчитался он. В пути погибли одни, другие, отдав себя до конца, качались на волнах с незрячими

глазами. Но их потомки — много миллионов — лежали в песчаной колыбели, и чистая вода, лаская, омывала их. Через полгода заиграет у золотого светлого дна, заснует трепетная молодь. Как школьники, с желтой сумочкой на боку, поплывут по прозрачной воде.

Сильно исхудал, ослабел за месяц похода Серый-Ярый. Потускнели, потухли глаза, движения вялы. Едва плывет он вдоль берега. Невзрачен внешний вид его. Даже в ледяном северном море был он полон огня и силы, а сейчас, в теплой, ласковой реке зябко вздрагивает он телом. Проглотил немного пищи, и клонит его в сон.

Но недолго туманит голову Серому-Ярому усталость. Он знает, нет в реке столько пищи, чтобы прокормить подвластный ему косяк. Может случиться страшное: изголодаются рыбы и самые слабые разроют заветные гнезда и станут пожирать икру. Это горе пережил он не раз. Сейчас уже никто не насытит самок с провалившимися пустыми животами, только безбрежное щедрое море с его тенистыми джунглями может спасти.

Почувствовал все это Серый-Ярый и поплыл размашисто, кругами, обходя дозором косяк свой. Не песня походная была на сей раз в движениях его, другую песню пел он, полный великой любви и тревоги за потомство. Сильна и захватывающа была его новая песня.

Ожил косяк, и стали собираться по всей реке рыбы породы Азат-Мая, и снова, подчиняясь зову вожака, поплыли они за ним. Другие самцы, почуяв, что задумал Серый-Ярый, погнали, заторопили косяк в сторону моря.

Голубая луна кудрявит гребни волн, но не сверкают больше над ними серебряные клинки играющих рыб. Темна речная глубь, и торопливо, течением подгоняемые, дружно несутся к морю быстрые тени. Только самцы изредка обходят косяк, стерегут его от врагов.

У водопада, что все так же гремел валами и грыз камни, остановился Серый-Ярый, пропуская мимо себя косяк. Шли мимо усталые, свершившие великое дело рыбы, и он с грустью смотрел им вслед. Другим суждено отвести их в море.

Он повернулся головой против течения и медленно, превозмогая усталость, поплыл назад, к заветным ямкам. Ласкала ночная река, лунное серебро текло навстречу, звеня на камнях. Не покой, а тревогу несли с собой беспокойные струи. Вечная тишина стояла над миром, словно и не было совсем недавно радостного тор-

жества и не волновалась морская и речная глубь от огненного танца любви.

Но знал Серый-Ярый — не кончена радостная песня. Он плыл назад, чтобы уберечь, выпестовать потомство, а когда придет время, привести миллионы новых серых-ярых в глубокое море, чтобы, повинуясь вечному зову жизни, повторили они через много лет великий поход, чудесную песню...

*1963 г.*

## СКАЗАНИЕ ОБ ОРЛАХ

Ержан настойчиво звал уходящего орла:

— Кял, кял, кял!

Он выкрикивал это по-своему, по-ержановски, и короткий окрик, чуть в нос, был понятен только ему и его орлу, и мало кто разгадал бы в нем обычное «кел» — иди.

— Кял, кял! Кял!

Орел не пошел к хозяину и даже не оглянулся. Он легко набирал высоту. Для него не существовало ни Ержана, ни шустрого зайца, которого он успел заметить, едва освободившись от кожаного наголовника — томаги. Внезапно он подобрал крылья и камнем стал падать. Охотнику показалось — орел вот-вот расшибется об острые скалы. «Куда тебя понесло, что тебе привиделось?— обеспокоенно думал Ержан.— Может быть, лиса? Или волк?» В последние дни — охотник только теперь сопоставил это — орлу было не по себе, и он вел себя загадочно, будто одержимый какой-то тайной страстью.

Подгоняя гнедого, Ержан направился в горы, туда, где метался его орел. А может быть, это уже не его орел?..

На тропе лежал глубокий, по грудь коня, снег.

— Эх, ушел, ушел!..

Ержан хлестал гнедого, который увяз в плотном, чуть дымящемся сверху сугробе.

— Кял, кял, кял!

— Кял, кял, кял!— отозвалось чуткое эхо.

А ведь только позавчера Ержан привез с охоты двух красных лисиц — обе шкурки просто полыхали, это был так называемый алтайский отсвет. Солнце заставляло играть пушистый мех, и сквозь густое червонное золото на боках проступали белоснежные

штрихи, а ноги отливали чернотой. Все радовались его редкостной удаче: четырехлетняя дочка охотника вся сияла, примеряя на шею мягкий, как пух, лисий хвост; двухлетний Есентай громко хлопал в ладоши и требовал лисьих почек на обед (привык, что ему достаются почки зайцев и баранов). Соседи прибежали, поздравляя с алтайскими красными. Соседи желали Ержану такой добычи, которая бы по своей ценности не уступала сказочному вознаграждению, состоящему, как известно, из девяти частей, и одна лишь из них — три косяка лошадей! И пусть в юрте Ержана всегда пахнет свежей кровью, и пусть никогда не переводится жирное мясо!..

И по старым, и по новым законам охотнику грешно пользоваться добычей в одиночку. Время было трудное: на исходе длинной зимы толстый становится тонким, а тонкий — похожим на тень. И все равно — Ержан устроил званый обед: был бесбармак, была водка (без нее теперь даже в ауле не обходятся), были разные лакомства: курт, сахар, конфеты.

— Твой Шапшан[1] — настоящий орел, всем орлам орел!

— Ну и везет же нашему Ержану в нынешнюю зиму на лисиц... Верно, уже за двадцать перевалило? А, Ержан?

Ержан скромничал:

— Ну, до двадцати, положим, еще далеко... Трех не хватает.

Но похвала была ему по душе, и он спешил наполнить стакан соседа, сказавшего эти слова.

— Что может быть лучше охоты с беркутом? Недаром же ее воспел сам Абай. Помните?..

— Как же не помнить! Там у него сказано: когда мощный беркут сминает на снегу красную лису, то видишь дивное сочетание красок и мужественные резкие движения...

— И невольно представляешь, как купается румяная белотелая дева и как она косы отжимает на берегу.

— Абай знал, как сказать... А ведь есть что-то абаевское и в нашем Ержане,— вставил свое мнение другой сосед, и все вспомнили, как в свое время их радушный и щедрый хозяин ради охоты наотрез отказался от должности заведующего фермой.

За такие лестные слова нельзя было не наполнить

---

[1] Шапшан — быстрый, стремительный.

стаканы, и Ержан опять потянулся за белоголовкой.

Их разговор, ставший уже немного беспорядочным, внезапно нарушил орлиный клекот.

Что это случилось с Шапшаном?.. Орел сидел на своем обычном месте, в холодных сенях, за перегородкой. Засыпал он рано, еще до наступления сумерек, а вот сегодня, несмотря на поздний час, никак не хотел успокоиться. Трудно было судить, что могло вывести его из равновесия: или эти редкие алтайские красавицы, в честь которых сейчас собрались люди в доме Ержана, или в в нем пробудилась досада на свою неосмотрительность, из-за которой он однажды упустил волка... Но так или иначе, орел ерзал на своем пне, бил крыльями о дощатую перегородку, чугунным клювом пытался раздолбить цепь на ногах. У него был приступ тоски. Он тосковал по свободе, его жгло желание взметнуться в небо, он хотел стать свободным и независимым...

Но ничего этого ни гости, ни сам Ержан не поняли. Они решили, что просто Шапшану не терпится снова на охоту, и он с помощью аллаха добудет еще не одну красную лису. За это снова пришлось налить.

Ержан проводил гостей, вернулся, прошел в спальню и сказал жене:

— Уложи Есентая... Да и тебе самой пора.

И Ержан вновь отправился на охоту.

Жена предупредила его, что на ужин особенно не приходится рассчитывать, если он не привезет ей зайца, а лучше — двух. И поэтому, когда Ержан наконец увидел лопоухого беляка, выскочившего из кустов, он сразу снял с головы Шапшана колпак и резко толкнул его в ту сторону, куда кинулся бежать заяц.

И вот Шапшан вместо того чтобы камнем упасть на добычу, стал уходить от своего хозяина.

— Куда же он подался?

Если бы орел заметил зверя более видного, чем заяц, пора бы ему кинуться, высоту он набрал достаточную. Но Шапшан и не помышлял об этом. Он был один на один с чистым небом, он был свободен, и ничто больше его не занимало. Он то взмывал, сливаясь с бездонной синевой, то камнем кидался вниз, то делал плавный круг в сторону. Порой он складывал крылья и начинал падать вниз, но тут же резко поворачивал, подставляя грудь встречному морозному потоку. Только мелькали в воздухе его огромные крылья.

— Кял, кял, кял!

Но Шапшан был глух к тревожному зову хозяина. Он увидел наконец то, что не давало ему покоя все эти дни, чего он так жаждал в неволе. О том, что так случится сегодня, он знал, хорошо знал, когда еще сидел на гнедом коне, покрытый томагой.

О том, что так будет, говорило все: и ясный морозный день, и чудом услышанный звук невидимых крыльев, и сердце, которое не может не заставить быть орлом, если оно действительно орлиное, и молодость с ее огненной энергией, искавшей себе выхода.

То, что заставило верного орла забыть про все земное, заметил теперь и Ержан. И все понял. На большой высоте, доступные лишь зрению охотника, летали три орла: двое из них беспечно играли, а третий — постарше — держался несколько в стороне. В свое время же смело кидался на самых сильных сородичей, теперь же спокойно парил и сдержанно любовался игрой молодых.

А игра только начиналась. Шапшан понял это сразу, с первого взгляда, но вступать в нее пока воздерживался, и лишь однажды, когда игравшие налетели друг на друга так близко, словно готовились броситься в объятия друг другу, он не выдержал: бурей пронесся над ними.

«Силен! Горд! Напорист! А на ногах что-то такое сверкает, никогда ни у кого не видела»,— подумала орлица, невольно любуясь незнакомцем. Горячась, она залетала очень высоко, с удовольствием подставляя грудь ледяной стуже.

С орлом из породы таскара[1] она встретилась на рассвете, когда вылетала из душного бора. Тогда черный привлек ее внимание. Играя, они поначалу держались на небольшой высоте. Потом, присмотревшись друг к другу, забирались все выше и выше, и Таскара временами плохо поддерживал предложенный ему орлицей бурный темп.

Мир — и широк, и тесен для орлиного племени. У него и друзей много, и врагов хоть отбавляй. Поэтому нужно такое потомство, которое не боялось бы ни сибирской стужи, ни азиатского зноя. Такое потомство, которое не принималось бы дремать после первого же сытного обеда. Такое, которое не довольствуется сурком и не затаивается у мышиной норки, хоть оно и сподруч-

[1] Таскара — каменный, черный.

ней, и не требует никакого риска. Это орлы знают от рождения, знают без каких-либо умственных усилий. Это у них от природы. Вот почему орлица, пока не изучит как следует, ни за что не подпустит к себе будущего отца своих орлят. Брачному союзу предшествует долгое состязание. И если орел покажет себя низменным, мелким, то пусть не ждет пощады: орлицы умеют постоять за себя, и тогда иной Таскара валится на землю с разорванным зобом.

Хоть Таскара иногда и хитрил, отставая от ее, все же орлица пока не осуждала его, продолжала игру. Справедливости ради надо заметить, что она держала в поле своего зрения и внезапно появившегося незнакомца.

Уже вечерело, но Шапшан все еще летал — просто так, в свое удовольствие, появляясь внезапно и внезапно исчезая. Раза два он подлетал к орлу, который по-прежнему держался поодаль. Летая с ним в паре, Шапшан вел себя скромно и уважительно:

— Ассалаумагалейкум, аксакал! Вы летаете безупречно. Отчего же все время уходите в сторону?

— Оттого, милый, что мое время прошло, и я любуюсь своей сменой, любуюсь ее полетом, хочу разгадать ее помыслы. Я по себе знаю: каждый должен назначить себе высоту, которой он стремится достичь. Но даже если ты не достигнешь ее, все равно — пусть осенит тебя высшая цель: пусть не позорят тебя низменные страсти, даже если ты и заберешься высоко. Запомни: всегда и во всем нужно быть достойным своего орлиного звания... Вот этого я тебе и желаю, мой друг. Будешь поступать так, как я говорю, то поймешь, что значит подлинная высота.

Не словами, разумеется, все это было выражено, но орлы поняли друг друга. Старик показался Шапшану немного назидательным, но это можно было понять, если учесть его возраст.

И тут хвастливый Таскара, желая блеснуть удалью, допустил оплошность. Он вздумал напасть на старого орла! С высоты он легко развил скорость и ринулся вниз, на старика, целясь ему в горло: не жди пощады!

Но старик и не думал ее просить. Грозно блеснув глазами, он выставил заскорузлые, словно из витой стали, когти и приготовился к решительной схватке: только подойди! Когтистым и мускулистым, опытным в битвах оказался старый орел, и лихач не выдержал,

метнулся в сторону, метнулся так, словно и не собирался ни на кого нападать!

Такой исход не понравился орлице. И не потому, что она желала чьей-либо крови. Кровь ни к чему во время игры смелых и мужественных. Нет, она жаждала смелости, щедрости и широты. Чем больше этих качеств у орла, тем милее он ей. Молчаливо осудив Таскара, она полетела прочь, вдоль гор, к востоку. Зачем надо было приставать к мирному старику? А если уж пристал, то где же твое мужество? Трус не может стать спутником орлицы.

Она отвернула в сторону и пошла — непринужденно, стремительно. Таскара с трудом поспевал за ней. До этого было просто: небольшие круги, на высоту забирались лишь однажды,— словом, полет был не из утомительных. Другое дело теперь. Теперь началось самое трудное — испытание на дальность. Вся в морозном инее, орлица не замечала ни стужи, ни яростного сопротивления встречного потока.

И скоро Таскара отстал, ему оказалось не по силам лететь в паре с юной и сильной красавицей. Утешало его одно: где-то, едва поспевая за ним, летел старый орел.

Орлицу, которая теперь оторвалась ото всех и летела в одиночестве, легко нагнал Шапшан.

— Здравствуйте!..

Орлица сдержанно ответила, и они полетели рядом. У них одинаково белели от инея плечи.

— Что это у вас на ногах?— поинтересовалась она.

— Называется — путы...

— А что это блестит?

— Медные кольца.

Не сговариваясь, орлы дальше летели вместе. Присматривались друг к другу. С удовольствием отметили: одинаковые взмахи, одинаковое дыхание, одинаковая скорость. Редкая и завидная слетанность! В морозном воздухе звенели крылья. А холод — не страшен, их грела горячая кровь, звавшая дальше, выше, туда — к солнцу. Безумной скорости орлов завидовал свистевший в крыльях ветер.

К заходу солнца они выбрали ночлег — ветвистую в два обхвата старую сосну. Выбрали после долгого и тщательного облета гор в густом бору. Уселись рядом, чутко следя друг за другом.

— Что, если здесь совьем наше гнездо?

— Гнездо? Наше?— Она удивленно шевельнула крылом.

— Эти толстые ветки особенно хороши для гнезда — стоит натаскать прутьев... Да и крона густая, она защитит наших птенцов от дождя и ветра, укроет от посторонних глаз...

— Не зря ли вы так стараетесь?.. Ведь еще неизвестно, что я думаю на этот счет...

Тут в бору появился черный лихач, про которого они и думать забыли. В нем, оказывается, все еще жила надежда, и он очень хотел пристроиться рядом с орлицей, но не решился: та неодобрительно задвигала плечами, а у Шапшана глаза вспыхнули черным, недобрым пламенем. Таскара засуетился, неуклюже запрыгал с ветки на ветку, пока наконец не примостился на высоком суку. Там он справился со своим смущением, и к нему опять вернулась обычная самоуверенность. Красивая поза должна была загладить недавнюю неловкость, показать, что он равнодушен к орлице, от которой бы и не отстал вовсе, если бы только захотел и дальше ее сопровождать.

Прилетел и старик. Тому не было дела до молодых, и он устроился отдельно. Не всякая ветка выдерживала его грузное тело. Он усаживался долго и не спеша, как обычно раздевается старый человек, пришедший с мороза. Наконец старый орел нашел подходящую ветку и затих.

Притихли и молодые, они неподвижно застыли в ожидании утра. Ночь, темень — не для орлов. Им нужен свет и простор.

Первым проснулся старик. Заскорузлые когти зудели — чуют добычу,— и он не мешкая отправился в степь, надеясь раздобыть если не зайца, то хотя бы песчаника.

— Полетим?— встряхнулся Шапшан.

— Полетим!— его бодрость передалась орлице.

Разминая занемевшие за ночь тела, орлы летели вместе: орлица посередине, Таскара и Шапшан — по бокам. Орлица не гнала черного, хотя и испытывала влечение только к Шапшану. Видимо, небесные красавицы тоже не прочь иметь поблизости лишнего поклонника.

К обеду тройка была уже далеко от места ночлега: внизу мирно простиралась степь. На небе не было ни облачка. Вдруг, приглашая начать игру, орлица взмет-

нулась вверх. За ней тотчас же бросился Таскара. Не сбавляя скорости, орлица продолжала подниматься. Неожиданный маневр застал Шапшана врасплох. Но несмотря на это он без труда обогнал соперника и помчался дальше. А Таскара догнал и опередил орлицу. Та, казалось, не замечала ни того, ни другого. Она то круто взмывала вверх, то камнем бросалась в бездну.

Подзадориваемые орлицей, соперники начали поединок. В то время как Шапшан делал большие заходы, ведя честную игру, Таскара хитрил: не залетал так далеко, как его противник, норовил напасть неожиданно.

Хитрить в игре вообще-то не возбраняется. Но если вся ваша хитрость сводится только к уклончивости (а Таскара, постоянно уклоняясь от единоборства, даже пытался спрятаться за орлицей!), то этого орлы вам не простят. Поведение соперника разозлило Шапшана. И он, выждав очередной ложный заход, мгновенно лег на правое крыло и с ходу бросился в атаку. Железный удар пришелся тому слева и сверху. С подбитым крылом Таскара кое-как дотянул до земли, где сидел старый орел. На обед у него сегодня был пойманный незадолго до этого песчаник.

Теперь уже сердце орлицы безраздельно принадлежало Шапшану.

Орлы, если они настоящие орлы, играют открыто, не таясь ни от кого — ни от сплетников, ни от завистников. Их не смутишь ни подглядыванием, ни подслушиванием. Потому что они играют не ради забавы, а ради продолжения рода гордых, смелых и благородных.

Задорная игра, которую затеяла орлица, захватила Шапшана. Играли они с упоением, страстно и пылко, то далеко отлетая друг от друга, то сближаясь вплотную, готовые броситься в объятия друг другу, и снова отдаляли это мгновение

Поздно вечером, прилетев на ночлег к вчерашней сосне, которая теперь принадлежала им, им двоим, они уже не спорили о том, где и как строить гнездо.

Двое птенцов, вылупившихся весной, окрепли, и родители озабоченно подумывали об их первом полете.

Целых сорок дней, отдавая все свое тепло, высиживала орлица два пестрых яйца. Неподвижное сидение истощило ее. Но не беда, что она так похудела — кожа да кости,— еще нагуляет жир; не беда, что крылья плохо подчиняются,— еще разомнутся и окрепнут.

Завтра чуть свет она отправится на озеро — выкупается. И напьется вволю. Она была счастлива от сознания, что дни, когда приходилось довольствоваться пушинками снега и каплями дождя, остались позади.

Время шло, орлята росли и мужали. Глотали дымящиеся теплые куски мяса. Ревниво озираясь друг на друга, пили свежую заячью, лисью кровь. Дрались между собой. Словом, становились настоящими орлами.

Менялась и сама орлица. Прежде, когда она высиживала яйца, у нее не было никакого другого чувства, кроме материнского: она была холодна с Шапшаном, но теперь птенцы начали мужать, и она снова признала его — отца своих детей — и становилась с ним все нежнее. Теперь у них как-то само собой возникло одно желание, тоже воспитанное в родителях мудрой природой: поскорее бы птенцы познали жизнь и испытали бы горечь неудачи. Зима не за горами — успеть бы научить их жизни. Скорее бы увидеть, когда они наконец поймут: то, что они едят здесь, в гнезде, бегает на четырех ногах в степи, в горах, и зайцев, сурков, лис приходится добывать самостоятельно. Скорее бы поняли, что все дается в труде и борьбе...

Отец и мать ждали осенних штормовых ветров, чтобы выпустить орлят в первый полет. Надо вытолкнуть птенцов из уютного гнезда, а сильный ветер подхватит их, завихрит и закружит — невольно полетишь! Посмотреть бы тогда на птенцов, послушать их тревожный клекот. Или, не дай бог, начнут беспомощно пищать? Вот что заботит орлов. Они так ждут увидеть своих птенцов орлами,они так хотят услышать их первое клекотание.

Осень с ее сильными ветрами не заставила себя ждать. Орлице не терпелось выпустить детей, но Шапшан был неумолим — ждал настоящей бури. Что можно сравнить с ураганом, который рушит все подгнившее, сносит все отжившее, который очищает лес от всей трухи, от всего застоявшегося! И пусть твои птенцы начнут свой первый полет именно в такую бурю!

В ожидании Шапшан сам не знал покоя и не давал покоя орлятам. Решительно отстранив мать, он весь день гонял их по просторному гнезду: заставлял махать крыльями, вынуждал цепляться за ветки — пусть натрудят себе мышцы, пусть будут цепкими, пусть крепнут их крылья.

Наутро ветер достиг штормовой силы. Чуть свет

Шапшан прерывистым криком позвал орлицу.

— Ну как, выпустим?

— Выпустим.

Сначала они облетели гнездо, размялись. Затем вернулись к орлятам и вытолкнули их против ветра. Толчок был необычный, не из тех, к каким они привыкли. Послушно, еще не понимая, что их ждет, орлята нырнули в бушующее небо. Их подхватил ураган. Орлята взлетели. Взлетели просто, ничем — ни клекотанием, ни писком — не выдавая своих чувств. Только горели глаза, суровые и смелые, точь-в-точь отцовские. Суетливые поначалу, они становились теперь спокойнее, увереннее. Теперь они смело парили среди бури, выражая радость неожиданным для них самих торжествующим звуком — орлиным клекотом.

— Ух, как хорошо летать! А как велик мир! Отчего мы не знали об этом прежде? Отчего мы так долго сидели в гнезде? А буря? Как хороша эта буря! Она кого хочешь научит летать! Нам бы еще долго топтаться в гнезде, если бы не она, буря! Буря нас вознесла к небу! А теперь... выше и выше... Какая радость, какое счастье — летать!

Отец и мать слушали своих птенцов, и родительская тревога начала рассеиваться. Опасаться нечего. Их дети выдержали свое первое столкновение с бурей.

И они взмыли вверх, чтобы лететь вместе с орлятами.

*1967 г.*



*Сапаргали БЕГАЛИН*

## САТЖАН

### 1

Во время летних каникул Сатжан приезжал в родной аул и помогал колхозникам пасти телят. Мальчик очень любил своих питомцев. Чаще всего он пас их около скалы с надписью, на зеленых склонах ущелья.

Вот и сегодня он вместе с приятелем Жанаем погнал телят к этой скале. Впереди стада бежал верный друг Сатжана — волкодав Борибасар.

В ущелье, у прозрачного ручейка, стадо остановилось, и телята разбрелись по лужайке, а Борибасар занял свой обычный пост на пригорке. Сатжан уселся в тени и с увлечением стал дочитывать рассказ о смелом охотнике за каскырами[1]. Жанай побежал к зарослям тальника, где еще вчера приметил хорошую ветку для кнутовища.

Телята, пощипывая траву, не спеша уходили все дальше и дальше по ущелью. Заметив это, Сатжан захлопнул книгу и пошел за ними. Когда он догнал стадо, телята успели дойти до верхнего конца ущелья, где брал начало ручей. Там, в тени кустарника, сидел

[1] Каскыр — волк.

Жанай и мастерил кнутовище. Возле него крутился Борибасар. Солнце уже поднялось на высоту аркана[1] и стало сильно припекать, а под скалой была приятная прохлада.

Мальчики лежали на лужайке и любовались природой. Все ущелье поросло высокой травой. В ярких лучах солнца пестрели, как сказочные самоцветы, красные, синие, желтые головки цветов. К ручью низко склонились тальники. Над ароматными цветами шиповника гудели пчелы. Порхали ярко-желтые бабочки. На фоне зеленой травы отчетливо виднелись телята красной масти с белой лысиной на лбу. Изредка над ущельем проплывал величавый беркут. Красоту местности дополняла ярко освещенная солнцем скала с надписью. Сатжан много слышал о ней, и больше всего запомнились ему рассказы матери. Каждый раз, подходя к скале, он как бы вновь слышал спокойный и мягкий голос матери, когда она рассказывала по вечерам о далеком прошлом.

Глядя на скалу, Сатжан вспомнил слова стариков, охотников о том, что в трещинах высоких отвесных скал гнездятся соколы и что не раз удавалось доставать птенцов и выращивать из них могучих охотничьих птиц. Один такой сокол был у известного охотника дяди Серикбая.

Сатжан давно мечтал достать себе такого же сокола. Мысли его прервал слабый звук, похожий на писк. Прислушиваясь, Сатжан понял, что звук идет с вершины скалы. «Это, наверно, птенец сокола»,— подумал мальчик и поделился догадкой с Жанаем, но тот отмахнулся от него. «Спрошу у дяди»,— решил Сатжан.

— Смотри! Смотри!— закричал вдруг Сатжан, показывая Жанаю на двух птиц, летящих к скале.

Пролетев над головами ребят, они описали полукруг и сели на уступ скалы. Одна из них тотчас же исчезла в щели, а другая осталась на месте. Сомнений не могло быть: в гнезде птенцы! Сатжан вскочил и бросился к скале.

— Куда?— окликнул его Жанай.

— Пойду доставать птенцов!

— И я с тобой!

---

[1] Аркан — длинная волосяная веревка. В старое время у казахов аркан служил мерой длины.

— А кто за телятами будет смотреть? Нет, ты оставайся, я быстро вернусь.

Борибасар увязался было за ним, но собаку остановил грозный окрик.

Скала казалась недоступной. Путь к ней преграждали огромные камни. Обходя и перелезая через валуны, Сатжан начал подниматься. Так он добрался до первого выступа. Дальше подниматься стало еще труднее: нужно было карабкаться, подтягиваться на руках, цепляясь за выступы и края трещин. Поднявшись до середины скалы, мальчик сел отдохнуть. Дышать стало трудно, пот градом лился с лица, но Сатжан не отрываясь смотрел туда, откуда отчетливо слышался птичий писк. Отдохнув, мальчик стал осматривать путь, оставшийся до гнезда, и убедился, что подняться выше следующего выступа невозможно. Дальше шла совершенно гладкая, почти отвесная стена, в трещине которой и находилось желанное гнездо. Сатжан понял, что его усилия напрасны и что без аркана добраться до птенцов нельзя. Успокоив себя тем, что они еще совсем маленькие и брать их рано, он решил отложить свое предприятие до следующего раза.

Сатжан хотел было уже спуститься, как вдруг на гладкой стене скалы увидел высеченное на камне изображение неизвестного животного. Рядом были рисунки еще каких-то других животных, крючки, непонятные фигуры. «Надписи! Интересно, о чем они говорят?» И Сатжан решил во что бы то ни стало разгадать их. «В следующий раз обязательно захвачу бумагу, карандаш и срисую»,— подумал он.

— Ау! Сатжан, что ты там сидишь?— послышался голос Жаная.

Как бы пробудившись от сна, Сатжан осторожно спустился вниз.

Отдохнувшие телята уже снова паслись.

— А птенцы? Не смог достать? Эх, ты!— начал дразнить его Жанай.

— Подожди дразнить! Птенцы будут наши. А вот если бы ты знал, что я увидел на скале!— таинственно прошептал Сатжан и пошел поднимать двух телят, продолжавших лежать.

Жаная, видимо, охватило любопытство. В один миг он очутился возле Сатжана.

— А что ты там видел? Скажи, ну скажи,— приставал он к товарищу.

Сатжан не торопясь поднял с места телят и, погнав их к стаду, стал рассказывать.

— Жаль, что не взял меня с собой!— сокрушался Жанай.

— Ничего, мы с тобой обязательно поднимемся на скалу, надписи срисуем и птенцов достанем.

Наступал вечер. Подгоняя телят, друзья медленно направились к аулу.

Птенцы и надписи на скале не выходили у Сатжана из головы.

— Достану птенцов, срисую надписи,— повторял он, оглядываясь на скалу.

Телята, будто чувствуя, что их ждет полуденное молоко, пошли быстрее и вскоре были в ауле.

Скотоферма в колхозе была благоустроенная: для каждого десятка телят свое отделение.

Как только мальчики загнали животных во двор, каждая группа направилась в свой загон.

В одном загоне их поджидала мать Сатжана, Зейнеп. Она наливала в корыта остуженное молоко.

Мать сразу заметила, что Сатжан вернулся особенно веселым и хочет ей что-то сказать.

Зейнеп ласково взглянула на сына, и он тут же рассказал ей, что увидел на скале гнездо с птенцами и интересные надписи.

— Разреши мне, апа, достать птенцов,— просил мальчик.

— Светик мой! Да будет долгой твоя жизнь! Ты еще увидишь много интересного. Птенцов возьми и выходи их, только не сейчас, потому что они еще совсем маленькие. А вот когда они начнут оперяться, тогда ты пойдешь с дядей Серикбаем, и он тебе их достанет,— сказала Зейнеп, целуя и прижимая к груди голову сына. Сатжан вырвался из объятий матери и побежал к Жанаю.

## 2

Пригоняя телят к скале, мальчики каждый раз всматривались в трещину, где находилось гнездо, и тревожно думали: «Как бы не прозевать птенцов».

Однажды в яркий солнечный день ребята увидели в воздухе двух больших соколов, летевших в сторону скалы. Вот они подлетели к ней. Одна из птиц скрылась в трещине.

— Надо торопиться, Сатжан, а то упустим соколят. Зачем нам ждать дядю Сериқбая, мы сами достанем,— сказал Жанай.

Сатжан не решался.

— А то какой-нибудь охотник заметит птенцов и заберет.

Сатжану ничего не оставалось делать, как согласиться.

— Верно ты сказал, Жанай. Надо торопиться. Но сделаем это тайно, иначе нас не пустят, побоятся, что сорвемся со скалы. А страшного тут ничего нет, надо только захватить крепкий аркан и шест подлиннее.

До самого возвращения в аул ребята подробно обсуждали, как лучше достать птенцов, и решили отправиться за ними на следующий же день, рано утром, когда в ауле еще будут спать.

Вечером они запаслись прочным арканом, двумя длинными шестами, крепким ремнем и спрятали все в овраге, недалеко от аула.

Спать они легли под открытым небом. Ночь была теплая, звездная. Аул спал крепким сном, а взволнованные ребята долго не могли заснуть. Они строили планы, как вырастят и обучат соколят, как будут охотиться с ними и станут прославленными охотниками. Было совсем поздно, когда мальчики наконец заснули.

— Вставай! Скоро рассвет,— разбудил Сатжана Жанай. Он говорил шепотом, хотя, кроме лежавшего у их ног Борибасара, никого близко не было.

Бесшумно одевшись, мальчики вышли со двора и направились к оврагу, где у них спрятаны аркан и шесты. Борибасар бежал рядом.

Когда ребята подошли к скале, восток заалел — всходило солнце. Они полезли на скалу и без труда добрались до первого выступа. Дальше подниматься было труднее — мешали шесты. Сатжан предложил Жанаю остаться на месте, а сам полез выше. Добравшись до второго выступа, он крикнул Жанаю, чтобы тот подал ему аркан и ремень на шесте и лез сам. Так они добрались до уступа, где на скале были высечены надписи. Вот они! Вот они!

— Жанай, как бы нам их разгадать? Ведь они означают что-нибудь!

В это время завыл Борибасар, оставшийся внизу. Мальчики засмеялись, но тут же осеклись: два больших сокола вылетели из ущелья.

— Это не птенцы?— испуганно спросил Жанай.

— Что ты! Только у архара ягненок прыгает по камням чуть ли не сразу после рождения, а у птенцов сначала должны крылья вырасти,— успокоил его Сатжан.

— Ну, полезли дальше!

Сатжан взял оба шеста и крепко связал их ремнем. Потом на одном конце аркана он сделал петлю и шестом накинул ее на торчащий выступ скалы повыше трещины, где находилось гнездо. Дернув за веревку, он затянул петлю. Аркан держался прочно.

— Теперь я полезу по аркану,— сказал Сатжан,— а ты оставайся здесь и смотри в оба. Если ительги[1] вернутся, отгоняй их шестом, чтобы они не напали на меня. Я возьму птенцов и спущу их тебе.

Перебирая аркан, Сатжан медленно поднимался вверх. Добравшись до щели, он крепко привязал аркан к поясу и, повиснув в воздухе, заглянул в нее. Там, в гнезде, на мягкой пуховой подстилке, лежали два птенца. Почуяв опасность, они громко запищали, широко открывая большие клювы. Сатжан осторожно вынул птиц из гнезда, положил в шапку, бережно обернул ее платком, привязал к веревке и стал осторожно опускать драгоценную добычу. Спуститься и отвязать аркан было делом одной минуты.

Радости ребят не было границ! Они с восторгом смотрели на пушистых бурых соколят.

— Сатжан,— обратился Жанай к товарищу,— ты нашел гнездо, ты птенцов достал, пусть самый большой и будет тебе, а я возьму вот этого, поменьше. Давай побежим накормим их. Я мясо припрятал.

— Стой! А надписи?— И Сатжан вынул из кармана тетрадь.— Ты держи птенцов, а я опять полезу, буду срисовывать.

Он принялся за работу...

Друзья вернулись в аул, когда дома все уже были на ногах. Коровы паслись в поле далеко от аула; пора было гнать на пастбище телят. Зейнеп искала Сатжана. Она встревожилась, не найдя его утром в постели. И, увидев сына, собралась поругать его, но в это время из-за угла скотного двора вышел дядя Серикбай.

— Да будет хватким твой сокол, светик мой! Я сегодня встал рано и видел вас с Жанаем у скалы с надписью.

---

[1] Ительги — сокол.

Догадался, что вы ходили за птенцами. Дай-ка я погляжу на них,— сказал дядя и, взяв одного из птенцов в руки, стал рассматривать соколенка.— Молодец, Сатжан! Ты достал птенца самого лучшего сокола — ителъги. Смотри, какой у него большой, острый клюв. Лапы сильные, с длинными когтями. Как вцепится в шапку — не оторвешь! Береги его, корми, как я тебе говорил.

Жанай побежал со своей птицей домой.

Узнав, что Сатжан лазил на скалу, Зейнеп покачала сокрушенно головой, но не стала ругать сына, а ласково сказала:

— Позаботься о своем соколенке и иди чай пить.

## 3

К концу лета скотоферма перекочевала на осеннее пастбище. Телята выросли, и теперь их называли торпаками. Это означало, что они уже не сосунки, а самостоятельно пасущееся стадо. На новом месте трава была высокая, густая. Здесь телята еще больше окрепли. Шерстка у них стала блестящей, начали появляться рожки.

Сатжан и Жанай были горды тем, что им удалось вырастить телят без потерь, хорошо упитанными. Скоро они сдадут их старшему пастуху. А там не за горами и школа. Вновь начнется интересная школьная жизнь. Соберутся все товарищи по классу. У каждого найдется что рассказать о каникулах. Сатжан и Жанай похвастают, как им удалось вырастить таких замечательных телят.

К приятным мыслям о скором возвращении в школу у Сатжана прибавилась еще одна радость — у него вырос охотничий сокол. Тело его стало мускулистым, крылья окрепли. Теперь он не сидел спокойно на тугуре,[1] а зорко смотрел по сторонам и, когда над аулом пролетали дикие птицы, стремился подняться в воздух и с силой натягивал тонкий ремень, которым был привязан к приколу. Если в это время к нему подходил Сатжан, он тотчас же оказывался на его правой руке, махал крыльями, издавая резкие крики, и крепко сжимал острыми когтями рукав куртки. Сатжан старался его успокоить, как это делал дядя Серикбай,— гладил по перьям и говорил:

---

[1] Тугур — специальная подставка для охотничьих птиц.

— Па, па! Перестань, па! Успокойся!

В такие минуты Сатжан чувствовал себя настоящим охотником. Дядя Серикбай недавно сказал, что ительги совсем вырос и его теперь можно приучать к охоте. И Сатжан готовился, после того как сдаст телят, поохотиться со своим соколом.

Однажды пришел дядя Серикбай и, поздоровавшись с матерью, обратился к Сатжану:

— Ну, показывай своего ительги. Как ты его кормишь? Смотри не давай ему жиреть, а то он не полетит за добычей. Дай-ка пощупаю его мускулы.

— Я даю ему теперь меньше мяса, со вчерашнего дня не кормил,— ответил Сатжан, подавая птицу.

— Э, да он у тебя отощал,— проговорил дядя Серикбай, пощупав ительги.— Сейчас с ним только и охотиться. Он теперь может броситься на мясо, даже если оно будет в зубах у волка. Пойдем испытаем его!

Посадив птицу на правую руку, он вышел из юрты и сказал:

— Я поднимусь с ним вон на тот бугор, а ты сходи ко мне домой, принеси заячью шкурку, немного мяса и длинную веревку.

Когда Сатжан все это принес, Серикбай прикрыл глаза птицы рукой и велел племяннику обвязать шкурку веревкой, а сверху прикрепить кусок мяса.

Когда Сатжан приготовил «зайца», дядя показал, куда положить «дичь», и объяснил, что, как только сокол увидит «зайца», нужно быстро бежать вперед и тянуть за собой веревку.

Сатжан приготовился. Дядя открыл глаза ительги. Птица расправила крылья, осмотрелась и вдруг, увидев воображаемого зайца, стремительно взлетела в воздух. Сатжан бросился бежать. Ительги поднялся ввысь и, упав камнем на добычу, вцепился когтями в шкурку.

— Па! Па!— закричал прибежавший Серикбай.— Он набросился на добычу не хуже, чем самый лучший беркут. Редко встречаются такие! Счастливчик ты, Сатжан!

Дав соколу оторвать несколько кусочков мяса, дядя посадил его на траву. Затем, подняв шкурку и остатки мяса, пошел с Сатжаном в аул.

Ительги посидел немного, а потом высоко взлетел и, широко раскрыв крылья, стал парить.

Серикбай и Сатжан, стоявшие возле юрты, звали его, показывая мясо.

— Бопым! Бопым![1] — кричали они.

Ительги послушно опустился на руку Серикбая.

— Испытание удалось. Ты его сегодня не очень корми. Завтра попробуем пустить на уток. Утки летают быстро. Если догонит и схватит утку, можно считать его настоящей охотничьей птицей. Только не давай ему много мяса,— повторил, уходя, Серикбай.

* * *

Весь вечер Сатжан думал о предстоящей охоте. «Как выдержит сокол испытание с уткой? Если будет неудача, товарищи засмеют. Тогда лучше на глаза никому не показывайся».

Мальчик часто подходил к ительги, гладил его перья и щупал мускулы. Несколько раз он проверял исправность седла и других охотничьих принадлежностей.

В эту ночь Сатжану не спалось. А когда он задремал, ему показалось, что они с дядей уже на охоте. Вот он едет на своем кунане[2] с ительги на правой руке. Тихо подъезжает к озеру, а там столько дичи, что даже воды не видно из-за сидящих уток и гусей. Теперь нужно вспугнуть дичь: ительги бьет птиц на лету. Сатжан складывает свою камчу[3] вдвое, с силой ударяет по дабылу[4] и... просыпается от грохота.

— Это ительги разбудил тебя, жеребеночек мой, ему не сидится на тугуре. Спрыгнул на край ведра и уронил его с ящика,— сказала мать.— Вставай, пора телят гнать. Ты что-то плохо спал сегодня. Не болит ли у тебя что?

— Нет, апа,— ответил Сатжан и стал одеваться.

Впрочем, Зейнеп знала причину волнений сына.

В полдень, когда Сатжан пригнал телят домой, она ласково сказала:

— Садись поешь, а потом иди к дяде. Он ждет тебя. Телята пусть отдыхают, я сама погоню их на пастбище и присмотрю за ними.

Наскоро закусив, взволнованный Сатжан побежал к дяде. А дядя Серикбай и не думал торопиться. Он выслушал приветствие Сатжана, расспросил, как пас-

---

[1] Бопым — призывный клич для охотничьих птиц.

[2] Кунан — трехлетняя лошадь.

[3] Камча — плетка.

[4] Дабыл — охотничий барабан.

лись телята, не засохла ли трава, не видно ли волков. Сатжану даже показалось, что дядя вообще не собирается на охоту. Но когда тот, закончив расспросы, сказал: «Пойдем!» — и вышел с ним из юрты, он убедился, что у дяди уже все приготовлено к выезду. Оседлав коней, они поехали. Ительги сидел на руке Серикбая, вытягивая шею и зорко глядя вдаль.

Зейнеп вышла на улицу. Она долгим взглядом провожала удалявшихся всадников.

Охотники направились к заросшему тростником озеру Карасу, где всегда было много дичи. Сатжану казалось, что дядя едет слишком медленно. Ему не терпелось увидеть, как его ительги схватит дичь. Чтобы быть ближе к соколу, мальчик ехал справа от дяди и любовался гордой птицей.

Дядя Серикбай был опытный охотник. Он хорошо знал все приемы соколиной охоты. И сейчас, подъезжая к озеру, джигит отвел правую руку с птицей назад, заслоняя собой озеро от его зорких глаз, чтобы сокол раньше времени не заметил дичь. Охотники под прикрытием тальника приблизились к озеру. Но как только они обнаружили себя, с воды поднялась стая быстрокрылых чирков. Сокол махал крыльями и рвался вперед, но, к великому удивлению Сатжана, дядя не пускал его, а лишь поднял повыше.

В это время поднялись две большие утки. Они летели медленнее, чем чирки. Дядя Серикбай отпустил ительги, и тот погнался за птицами. Быстро набрав высоту, сокол оказался над утками и молниеносно бросился на них.

Одна из уток упала на землю, а другая, снизившись, скрылась в зарослях тростника. Ительги потерял ее из виду и опустился на небольшой камень на берегу озера. Серикбай раньше Сатжана доскакал до того места, где упала утка, и, подняв ее, направился к ительги. Приблизившись к соколу, он достал из коржуна[1] кусок мяса и, показывая соколу, позвал его:

— Бопым! Бопым!

Приученный брать пищу с руки, ительги поднялся и сел ему на перчатку.

Испытание удалось блестяще! А дядя Серикбай опасался, что сокол, увидев дичь, не вернется к хозяину. Теперь с ним можно спокойно выезжать на охоту.

---

[1] К о р ж у н — переметная сума.

— Твой ительги — настоящая охотничья птица. Сегодня он принес тебе первую добычу. Это твоя первая удача. Вези-ка утку матери. Зейнеп должна приготовить угощение,— сказал он с улыбкой.

Охотники повернули в аул. Радости Сатжана не было предела. Он ехал, глядя то на своего ительги, то на селезня, притороченного к седлу.

«Почему же дядя не пустил ительги на первую стаю уток? Может быть, у нас была бы не одна утка»,— думал Сатжан, но спросить дядю стеснялся. Как бы угадав его мысли, Серикбай сам заговорил об этом:

— Среди дичи маленькая утка, чирок,— самая быстрокрылая. Она летит как стрела. Бывает, что сокол не может ее догнать и, увлекшись погоней, залетает очень далеко и не возвращается к хозяину.

Вот и аул. Охотников встретили громкими криками ребятишки, увидевшие у седла Сатжана большую красивую утку. К юрте Зейнеп стали сходиться соседи. Зейнеп, встретив сына с первой добычей, устроила шашу.[1] Вечером, когда Сатжан с матерью остались вдвоем, она сказала ему:

— Это хорошо, что ты у дяди научился охоте с птицей. А теперь научись метко стрелять из ружья. Тогда ты будешь настоящим охотником. Вот сдашь телят и до начала учебы сможешь охотиться.

Сатжан обнял мать.

## 4

— Завтра передай своих телят Ахмету. При сдаче я буду присутствовать,— сказал Сатжану председатель колхоза.

Мальчик тотчас же побежал сообщить об этом матери.

Принимая телят, Ахмет сказал ребятам:

— Нынче ваши телята более упитанны, чем в прошлом году. Спасибо вам. Мне легко будет их растить.

— Правильно, Ахмет!— вмешался в разговор дядя Серикбай.— Ребята в этом году хорошо присматривали за молодняком. На пастбище они сделали навес из тальника и камыша, чтобы телята могли укрыться от солнца, и поили их молоком, остуженным в специально

[1] Ш а ш у — радостная встреча, при которой голову встречаемого осыпают сластями.

вырытой для этого яме. Умело выбирали для телят пастбища с хорошим травостоем. Вот почему у них телята такие упитанные.

— Кто же вас этому научил?— спросил председатель колхоза.

— А мы с зоотехником советовались. И мама помогала.

— Молодцы! Объявлю вам благодарность от имени правления. Учитесь так же хорошо, как ухаживали за телятами.

Сатжан прибежал домой и, сияя от удовольствия, рассказал матери о том, как их с Жанаем похвалил председатель колхоза.

— Я рада за тебя, сынок. Теперь можешь заняться охотой. Поездишь немного с дядей, а там и самостоятельно будешь охотиться.

Сатжан готов был отправиться на охоту хоть сейчас, но он обещал помочь заведующему фермой Еркебаю закончить месячный отчет. С дядей Еркебаем они засиделись почти до вечера.

Когда отчет был закончен, Еркебай запечатал пакет и попросил Сатжана отнести его Жанаю, который должен быть доставить отчет в правление колхоза, а потом поехать в район за газетами и журналами.

Передав Жанаю пакет, Сатжан вернулся домой.

Ительги встретил его звонким криком. Птица прыгнула ему на руку, точно приглашая на охоту.

Сатжан и сам теперь только и думал об этом. После первой удачи ему казалось, что его ительги может справиться с любой дичью. Вчера он узнал от Хасана, что на залежках стали появляться гуси. Не плохо было бы попробовать сокола на гусей.

Солнце было уже низко, когда Сатжан вышел на дорогу посмотреть, не возвращается ли уехавший на ток дядя Серикбай. Он с грустью следил, как садилось солнце, и думал: «Нет, не удастся сегодня поохотиться». Вдруг он услышал курлыканье гусей. Запрокинув голову, Сатжан увидел стаю больших серых птиц, летевших к залежкам. Проводив их взглядом, он сразу решил: «Еду!»— и побежал седлать коня.

Когда Сатжан выехал из аула, с севера подул сильный ветер. Проголодавшийся сокол на холодном ветру приободрился. Он все порывался к жаворонкам, порхавшим над степью. Конь Сатжана за лето привык к тихой езде, и его приходилось часто подгонять камчой. Бориба-

сар, увязавшийся за Сатжаном, бежал далеко впереди.

Солнце почти село, а до залежек было еще далеко. Чтобы сократить путь, Сатжан поехал напрямик через поле.

Хлеба давно уже были убраны, и даже солома вывезена. Приближаясь к залежкам, мальчик понял, что, избрав кратчайший путь, он допустил ошибку. С этой стороны не было никаких укрытий, чтобы незаметно приблизиться к залежкам. Тогда он направился к небольшой сопке, из-за которой можно было подкрасться к гусям. Поднявшись на нее, Сатжан увидел обширное поле, с которого недавно убрали пшеницу. Направо виднелись залежки. На них-то и кормились гуси. Хотя до них было далеко, они заметили всадника и с гоготаньем полетели прочь. В тот же миг ительги соскользнул с руки Сатжана и погнался за ними.

От неожиданности Сатжан растерялся. Он ударил лошадь камчой и поскакал за соколом.

Гуси поднимались все выше и выше. Ительги, не сумевший из-за дальности расстояния подняться над гусями, летел за ними. Вскоре гуси выправили строй и, подобно верблюжьему каравану, потянулись над рекой Баканас. Ительги под ним казался маленькой точкой.

«Улетит!» — сокрушался Сатжан. Он стал громко звать сокола, не сообразив от волнения, что на таком большом расстоянии тот его все равно не услышит. Вскоре он потерял из виду гусей и ительги. Конь был весь в пене и бежал все медленнее и медленнее, а потом перешел на шаг.

Только теперь мальчик заметил, что на западе сгустились тучи и стало быстро темнеть. Верный пес Борибасар смотрел на хозяина, как бы спрашивая: «Что же мы будем делать дальше?» Сатжан почувствовал, что охрип. В горле пересохло, хотелось пить. Не теряя надежды найти ительги, он продолжал понукать кунана, но окончательно обессилевший конь, дойдя до черневшего впереди кустарника, остановился.

Стемнело. Сатжан слез с коня и сел под кустом. В голове теснились мысли: «Что делать? До аула очень далеко. На уставшем кунане в темную ночь домой не доберешься. А где ночевать?» Не чувствовавший во время езды резкого ветра, Сатжан сейчас продрог. Что же будет под утро, когда трава покроется инеем?

На нем был только легкий чапан и сапоги без байпаков[1].

Занятый своими печальными мыслями, Сатжан на время забыл даже о потере ительги. Но к мальчику вернулось самообладание, и он решил искать выход из положения, вспомнив, что недалеко от колхоза должны находиться заливные луга, а на них стога сена, где можно укрыться на ночь и покормить коня. Сатжан осмотрелся, но в темноте ничего разглядеть не мог. Нагнувшись, он провел рукой по земле. Трава была скошена. Стало быть, он находится на покосе. Оставив коня, он шагнул в темноту. Борибасар последовал за ним.

Сатжан старался идти прямо и напряженно всматривался во мрак ночи. Расчет оказался правильным: с левой стороны он заметил неясное пятно, которое по мере приближения к нему все увеличивалось и выросло в темную громаду. «Стог!»

Сатжан вернулся за кунаном, поставил его в затишье и разнуздал. Кунан принялся жевать сено. Сатжан зарылся в стог, а рядом устроился Борибасар.

Когда Сатжан согрелся, им снова овладели горькие мысли. Неужели ительги потерян? Зачем он так поздно поехал на охоту? Почему плохо держал сокола? Ведь было ясно, что на таком расстоянии ительги не мог догнать гусей. Где он сейчас? Может быть, его кто-нибудь уже поймал. А может быть, ительги недалеко и ищет хозяина? И Сатжану даже показалось, что он слышит какие-то звуки, точно свист крыльев. Но, прислушавшись, убедился, что это был ветер.

Долго строил Сатжан всевозможные догадки: «А вдруг ительги, не догнав гусей, сел где-нибудь неподалеку, в тальнике, и ночует там, укрывшись от ветра? Может быть, я утром найду его». Это немного успокоило мальчика. Сатжан стал засыпать, слыша сквозь сон свист ветра, хруст сена на зубах кунана, крики ночных птиц.

## 5

Зейнеп в ту ночь не сомкнула глаз. Вернувшись вечером домой и узнав, что Сатжан, забрав ительги, куда-то ушел, она забеспокоилась. «Как же он решил так поздно отправиться на охоту? Ведь он еще совсем

[1] Байпаки — войлочные чулки.

неопытный. Мало ли что может случиться»,— думала она. Когда совсем стемнело, Зейнеп побежала к дяде Серикбаю, но тот еще не вернулся. Тогда она попросила пастуха Касена поехать на розыски Сатжана, а сама разожгла возле аула костер. Через час вернулся Касен и сказал, что на залежках, где он вчера видел гусей, Сатжана не оказалось. Тревога Зейнеп усилилась. Всю ночь она жгла костер, а едва начало светать, отправилась на ближайшую сопку и долго всматривалась в степь, но, так и не дождавшись сына, вернулась домой и решила позвать людей на помощь.

Не успела она войти в юрту, как услышала голос матери Жаная:

— Женеше[1], Сатжан ваш возвращается.

Выбежав из юрты, она увидела Борибасара. Сатжан подъезжал к аулу. Ительги с ним не было. Зейнеп бросилась сыну навстречу. Сатжан боялся, что мать будет его бранить, но вместо этого услышал ласковый голос:

— Жеребеночек мой! Где же ты пропадал? Здоров ли ты? А где твой ительги?

— Улетел,— печально ответил Сатжан.

— Не надо было ездить на охоту так поздно, да еще на гусей. Ладно, не горюй — выучишь другого,— успокаивала она сына.

* * *

Жанай привез отчет скотофермы в правление колхоза в сумерках. Ехать в район было поздно, и он заночевал на овцеферме, а рано утром тронулся в путь. Ехал он берегом реки Баканас. На пути часто попадались заросли тальника, большие стога сена. Ветер, бушевавший всю ночь, стих, тучи рассеялись, солнечные лучи играли на капельках росы. День обещал быть жарким. Жанай ехал не торопясь. С реки то и дело поднимались стаи уток и гусей. Он вспомнил об ительги Сатжана и еще раз пожалел, что не сумел вырастить своего птенца: его соколенок подох.

В районный центр Жанай приехал, когда солнце уже поднялось над горизонтом на длину пики. Навстречу ему шли женщины с водой, возле домов старики грелись на солнышке. Почта еще была закрыта, и он

[1] Женеше — обращение к жене старшего брата.

направился к своему другу, однокласснику Нариману, которого не видел с начала каникул. Ворота дома были открыты. Во дворе куры копались в навозе. Жанай не успел въехать во двор, как вдруг из-за дувала[1] вылетел сокол и направился к курам, но, заметив Жаная, круто повернул и сел на крышу дома. Куры с громким кудахтаньем бросились под сарай. Потеряв из виду добычу, сокол перелетел на забор соседнего дома. Жанай заметил на ноге сокола коротенький ремешок. «Это прирученный сокол. От хозяина улетел!— сообразил Жанай.— Надо поймать его». Соскочив с коня, он привязал его к воротам, а сам стал вдоль стенки подкрадываться к птице. Сокол заметил его и перелетел на дерево. «Нет, так его не возьмешь»,— подумал Жанай и поспешил к Нариману. В воротах он столкнулся с другом и, даже не поздоровавшись, скороговоркой выпалил:

— Видишь — ительги! Ученый. Давай скорее кусочек мяса. Мы его сейчас поймаем!

— Это у нас найдется,— ответил Нариман и побежал домой.

Когда он принес мясо, Жанай подошел к дереву и, показывая кусок говядины, стал звать сокола:

— Бопым! Бопым!

Голодная птица, увидев мясо, сразу слетела с дерева и села на руку Жаная.

Жанай удивился сходству сокола с ительги Сатжана. Внимательно приглядевшись, он узнал ремешок, привязанный к ноге сокола. Жанай сам вырезал его Сатжану из своего старого поясного ремня.

— Ты что разглядываешь? Узнаешь, что ли?— засмеялся Нариман.

— Да ведь это ительги Сатжана! Видишь ремешок? Это я его дал Сатжану. Но только как ительги мог сюда попасть? Вчера я его видел у Сатжана. Как всегда, сидел на своем тугуре. Ну и чудеса!..

Это действительно был сокол Сатжана. Вчера вечером он долго летел за стаей гусей, но ему никак не удавалось подняться выше, чтобы ударить по ним. Летевшие на большой высоте гуси удалялись от него, и в наступивших сумерках сокол потерял их из виду. Ему оставалось только вернуться к хозяину и получить кусок мяса. Под ним был густой тальник. Хозяина

[1] Дувал — глинобитный забор.

нигде не было видно. Тогда ительги сел на ветку тальника, похожую на его тугур. Совсем стемнело. Усилился холодный ветер.Ительги перебрался на другую ветку, лучше укрывавшую от ветра, втянул шею и так просидел до утра...

Птицу разбудил голод. Сокол поднялся в воздух и увидел проснувшийся аул. Сокол подлетел ближе и, снизившись, стал парить, ожидая, что хозяин позовет его и даст мяса. Тут его зоркий взгляд упал на копавшихся в соломе кур, и он полетел к ним. Но полакомиться ему на удалось — помешал Жанай...

Закончив свои дела и узнав от Наримана кучу новостей, Жанай собрался в обратный путь. Всю полученную почту — письма, газеты, журналы — они с Нариманом уложили в коржун и крепко привязали к седлу. Друг разыскал ему старую кожаную рукавицу. Жанай надел ее на правую руку и посадил на нее ительги. Ребята хорошо накормили птицу, и она была совершенно спокойна.

— Ты похож на настоящего охотника,— сказал Нариман Жанаю, когда тот сел на лошадь.— Смотри не опоздайте с Сатжаном к началу учебы.

— Не опоздаем. Время еще есть, и поохотиться успеем. Ну, хош[1],— ответил Жанай.

Гордо подняв голову и чувствуя себя джигитом, он тронулся в путь.

Сатжан с нетерпением ждал возвращения Жаная. Ему хотелось поделиться с ним своим горем. Он много раз выходил на дорогу и всматривался в даль.

День был солнечный, тихий. На небе ни облачка. Выпавшая за ночь роса высохла. За аулом паслось многочисленное колхозное стадо. Изредка проносились стаи чирков и шилохвосток. Сатжан провожал их грустным взглядом и вздыхал.

К полудню на дороге кто-то показался. Вскоре уже можно было разглядеть очертания всадника. Сатжан следил за его движением не отрывая глаз. Ему приходило в голову, что всадник движется, как степная черепаха. «А что это у него на правой руке? Ламповое стекло, что ли, везет? Ой, нет! Да это же он птицу держит на руке!»— заволновался Сатжан и бросился навстречу всаднику.

---

Х о ш — до свидания.

— Ительги! Мой ительги!— закричал он, узнав во всаднике своего друга Жаная.

— Твой ительги? Это дикий сокол. Я его поймал ночью,— сказал Жанай, стараясь придать лицу серьезное выражение.

— Нет, меня не обманешь. Я своего ительги могу по одному перышку узнать. Ты лучше скажи, какое суюнши[1] ты хочешь получить?— торопливо говорил Сатжан, протягивая руку к птице.

— Подожди, надень сначала рукавицу. Ты забыл про его когти. А суюнши я не назову, сам придумай.

## 6

Весело было в школе в первый день занятий. Директор поздравил ребят с новым учебным годом, пожелал успехов в учебе. После директора выступали гости, и среди них — кто бы вы думали!— председатель колхоза Амантай Жунусов. Он рассказал, какую помощь оказали школьники родному колхозу, в числе лучших назвал Сатжана и Жаная и торжественно вручил им подарки от правления — лыжи и футбольный мяч. Вся школа аплодировала смущенным ребятам.

На одном из уроков Сатжан показал учителю истории тетрадь, в которой были таинственные знаки, срисованные им со скалы. Учитель рассмотрел рисунки, внимательно выслушал рассказ мальчика и посоветовал послать тетрадку в Алма-Ату, в Академию наук.

...Учебные занятия, работа в пионерском отряде, где Сатжан был вожатым, занимали все его время, и ему ни разу не удалось съездить домой, побывать с дядей Серикбаем на охоте. Но он все время помнил о своем соколе и с нетерпением ждал того дня, когда отправится с ним в поле.

В школе часто устраивались лыжные соревнования, походы. Лучшие лыжники иногда доставляли почту на ближайшие животноводческие фермы.

Перед зимними каникулами Жанай предложил сделать лыжный пробег на Жоргатау, где находилась овцеводческая ферма его колхоза. Все с удовольствием поддержали это предложение.

---

[1] С у ю н ш и — подарок за хорошую весть тому, кто первый сообщит ее.

— Пусть Сатжан захватит с собой ительги! — закричал Нариман.

— Верно! — раздались голоса. — Мы уже много слышали о твоем соколе. Покажи, как он охотится.

Сатжан согласился и в первый день каникул отправился с Жанаем в свой аул, обещая вернуться ко дню выступления в поход.

Домой они приехали к вечеру.

— Как ительги? — был его первый вопрос.

— Подожди, светик мой! Дай на тебя посмотреть сначала, — отвечала Зейнеп. — Здоров твой сокол. Кормлю я его хорошо. Пока я готовлю чай, сбегай к дяде Серикбаю, поздоровайся с ним.

Сатжан не заставил себя долго просить. Погладив сокола и дав ему кусочек мяса, он побежал к дяде.

После взаимных приветствий мальчик рассказал о предстоящем лыжном походе и своем намерении взять с собой ительги.

— Путь дальний и небезопасный, — сказал дядя Серикбай. — В тех местах в это время много волков, но раз ты обещал товарищам, надо слово сдержать. Там зайцы водятся, и ты можешь неплохо поохотиться. Завтра возьмем твоего сокола, съездим к реке Баканас. Принеси-ка ительги.

Когда Сатжан принес птицу, дядя, пощупав ее мышцы, покачал головой:

— Закормили. Много лишнего жиру. Но все же попробуем подготовить к завтрашнему дню.

Серикбай взял два кусочка мяса и засунул их один за другим в горло ительги.

— Теперь оставь его на ночь в кладовке. Пусть его проберет хорошенько мороз. Надо бы так несколько дней делать. Но вам же скоро ехать.

Утром охотники тронулись в путь. Сатжан и Жанай шли на лыжах, а дядя Серикбай ехал верхом на коне с ительги на руке.

— Не будем особенно далеко забираться. Попробуем здесь, — сказал Серикбай, когда они подъехали к тальникам на берегу реки. — Я сейчас направлюсь вон на ту сопку и сяду там с ительги, а вы гоните зайцев из тальника.

Сатжан с Жанаем, дождавшись, когда Серикбай поднялся на сопку, с криками двинулись в заросли тальника. Оттуда выбежал крупный заяц и понесся по прогалине. Когда он поравнялся с Серикбаем, тот

выпустил ительги, и птица, быстро догнав зайца, круто взмыла в высоту. Почуяв смертельную опасность, заяц пошел на хитрость: остановился, сел на задние лапки, чтобы в момент нападения броситься в сторону и заставить сокола удариться о землю. Но быстрота, с которой опускался ительги, не дала зайцу возможности применить эту хитрость. От удара когтей ительги в голову он в один миг растянулся на снегу. Мальчики бросились к зайцу и, схватив его, побежали к Серикбаю, который уже звал сокола, показывая ему кусок мяса.

— Твой ительги — действительно замечательная птица. Ожиревший сокол редко бросается на дичь, тем более что с ним давно не охотились.

Сатжан с гордостью смотрел на своего любимца. Довольные своей добычей, охотники поехали домой.

## 7

Когда Сатжан и Жанай вернулись в школу, подготовка к лыжному походу уже закончилась. Ребят поддержали в райкоме комсомола и снабдили отряд всем необходимым. Маршрут похода был нанесен на карту, и каждый участник похода получил компас. Начальник отряда, старший пионервожатый Капан, захватил с собой для защиты от волков ружье. Сатжан смастерил для сокола специальную плетенку из прутьев, в которой можно было бы нести его за плечами.

В назначенный день с рассветом отряд тронулся в путь. До колхоза «Енбек» его провожали не участвующие в походе лыжники. Здесь ребята перешли реку и гуськом двинулись по затвердевшему снегу прямо к покрытому туманом хребту.

Настроение у всех было приподнятое. Впереди километры пути, во время которого можно увидеть много увлекательного, и это была не просто прогулка: ведь участники похода должны были привезти на далекую ферму свежие газеты, провести беседы, показать свою самодеятельность колхозникам.

Утро было безветренное. Легкий морозец подбадривал лыжников. Они пересекли долину и вышли на холмистую местность. То поднимаясь на гребни холмов, то скользя под уклон, ребята быстро двигались вперед. В полдень они попали в полосу тумана. Направление пришлось держать по компасу.

Долгое время лыжники не могли выйти из тумана.

Капан дал знак остановиться. Он развернул карту и, положив на нее компас, старался определить местонахождение отряда. Остальные вопросительно смотрели на вожатого.

— Никак не могу установить, где мы находимся. Но, кажется, держимся правильного направления. Скоро должно быть русло высохшей речки. Двигаясь по нему, мы дойдем до долины реки Жаур,— сказал он и дал знак трогаться дальше.

Прошли еще с километр, но русла не было. Идти стало труднее: ребята шли теперь по неровной местности. Пересекая глубокий овраг, они заметили на снегу свежие волчьи следы.

— Дядя говорил,— сказал Сатжан,— что еще не наступило время, когда волки собираются в большие стаи. Это бывает в конце февраля. Тут, наверно, прошел один выводок. Но нам надо держаться вместе, не растягиваться.

Тронулись дальше и вскоре оказались в незнакомой долине. Легкий ветер, подувший с севера, разорвал густую пелену тумана, и вдали показались гребни холмов.

— Оказывается, мы взяли левее русла,— сказал Капан.— Отряд находится в долине реки Жаур. Скоро за теми холмами должна показаться вершина горы Чубар айгыр. Давайте поднажмем!— закончил он и тронулся дальше.

Некоторые лыжники устали, и отряд растянулся далеко по долине.

## 8

Подул сильный ветер. Закружила метель. Жанай почувствовал страшную усталость и начал отставать. Скоро он потерял ребят из виду. «Надо крикнуть. Нет, засмеют. А может быть, они дожидаются у гребня следующего холма, ведь до него осталось совсем немного»,— подумал он и, напрягая все силы, двинулся вперед. Метель перешла в буран. Вдруг до Жаная донеслись какие-то протяжные звуки. Прислушавшись, он понял, что это воют волки, хотя их не было видно. Мальчик испугался: «Что делать? Ружья нет». Мысль работала лихорадочно. Вдруг он вспомнил, что у него в кармане есть спички. «Если волки подойдут, зажгу носовой платок. Волки боятся огня». В этот момент вой

прекратился, и Жанай с ужасом увидел, что крупный серый волк большими прыжками старается обогнать его...

* * *

Капан и Сатжан, шедшие во главе отряда, первыми поднялись на гребень холма и стали поджидать остальных. Когда все поднялись, оказалось, что нет Жаная.

— Что же с ним случилось?— встревожился Капан.— Может быть, лыжи сломались? Надо идти навстречу. Кто со мной?

— Я, я пойду!— крикнул Сатжан.

— Пошли!

След только что прошедших лыжников, несмотря на буран, был хорошо заметен. Скользя по нему, Капан с Сатжаном неслись с такой быстротой, что через несколько минут увидели Жаная. Навстречу Жанаю шел матерый серый волк с горящими глазами и высунутым языком. На некотором расстоянии от него двигались шесть других волков. Капан быстро вскинул ружье и выстрелил в вожака. Тот взвыл и бросился в сторону, за ним побежали остальные.

— Почему ты отстал? Не болен ли?— спрашивали Жаная запыхавшиеся, испуганные друзья.

— Ничего, устал немного,— ответил счастливый Жанай.

Отдохнув несколько минут, друзья вернулись к отряду.

## 9

Отряд двинулся дальше. Буран не переставал. Проверяя по компасу направление, ребята к вечеру вышли к долине недалеко от Жоргатау.

— Давай поднажмем, ребята! Ферма уже близко. Надо обязательно добраться до темноты.

Это сообщение подняло настроение, и, несмотря на то что на открытой равнине буран был сильнее, они двигались дружно и быстро. Внезапно внимание лыжников привлек нарастающий шум. Вскоре из пелены бурана показалась отара.

— Как они попали сюда? Наверно, волки выгнали их из овчарни или буран застал на пастбище, и они отбились от гурта,— догадались ребята.

— Здесь их оставлять нельзя. Погоним на ферму,— предложил Капан.

Пока лыжники останавливали овец, показалось второе стадо, которое гнал совсем уже обессилевший и охрипший чабан.

— С утра погода была хорошая, я и погнал овец на дальнее пастбище. В полдень начался буран, и пришлось повернуть обратно. Ветер очень сильный, они и стараются идти по ветру, а я их гоню на ферму. Несколько овец отбилось. Спасибо, что помогли,— да будет долгой ваша жизнь. Из какого же вы колхоза, куда путь держите?

— Мы из разных колхозов. На вашу овцеферму идем. Мы вам поможем гнать овец, только путь указывайте.

Вскоре овцы были загнаны в овчарни, а уставшие, но довольные ребята разместились ночевать в теплых домах.

В тот вечер в красном уголке собралось много народу послушать новости, почитать свежие газеты и журналы.

## 10

К утру буран стих. Легкий ветер гнал поверх твердого снега поземку. Лыжники к полудню прибыли в крайнюю овчарню фермы, где старшим чабаном был Ниязбай. Овчарня находилась на берегу реки Кайракты, полноводной весной и почти высыхавшей летом. Тогда ее русло покрывалось высокой травой, густым кустарником. В зарослях водились зайцы, фазаны и куропатки. Охотиться на них было некому. Среди пастухов фермы охотником был лишь Ниязбай, но он охотился только на лисиц, которые попадались не в кустарнике, а на каменистых склонах горы Жоргатау.

* * *

После того как чабаны выслушали новости и прочитали свежие газеты, Ниязбай начал разговор об охоте:

— Ветер стихает. Завтра будет ясно. Отдохнете сегодня, а завтра поохотимся с вашим соколом. Эти места я знаю как свои пять пальцев...

— Да, Сатжан, пора тебе показать мастерство твоего ительги,— сказал Нариман.

Вечером в доме Ниязбая собрался народ. Ребята

поочередно вслух читали повесть Габидена Мустафина «Миллионер». Колхозники внимательно слушали и после чтения долго беседовали о будущем колхоза.

— Скоро и наш колхоз станет миллионером,— говорили они.

Утром лыжники вышли на охоту. Сатжан нес в корзинке за плечами ительги. Ехавший верхом Ниязбай указывал направление. Потом он показал ребятам возвышенность, где они вдвоем с Сатжаном собирались остаться, и объяснил, как нужно действовать остальным, выгоняя из кустарника зайцев.

Ниязбай с Сатжаном поднялись на возвышенность, и Сатжан, взяв из корзинки сокола, посадил его на руку. Ниязбай дал знак наблюдавшим за ними лыжникам, и те, обойдя справа тугайник, с гиканьем двинулись вверх по руслу реки. Из густых зарослей вырвались дикие козы. Они понеслись с такой быстротой, что Капан даже не успел выстрелить.

Увидев диких коз, ребята закричали еще громче и стали преследовать их. Козы быстро очутились близ Ниязбая и Сатжана, но, увидев людей, бросились к ближайшему холму. В тот же миг Сатжан выпустил ительги, а сам стремительно понесся под уклон на лыжах. Ниязбай побежал к своему коню, оставленному в укрытии.

Ительги сначала летел низко, но, догнав коз, поднялся над ними, затем, камнем упав вниз, когтями вцепился в голову одной козы. Однако она продолжала бежать. Ительги все сильнее сжимал когти и наносил крепким клювом страшные удары животному. Сатжан и Капан подоспели одновременно. Коза уже стала слабеть, и Капан, схватив ее за заднюю ногу, свалил на снег. Сатжан, разняв когти ительги, посадил его на руку. Собравшиеся лыжники с восхищением рассматривали добычу.

Позже всех подъехал Ниязбай: глубокий снег мешал его коню свободно двигаться.

— Давно дикие козы не спускались к нашему тугайнику. Они пришли сюда потому, что в поле нынче снег очень глубокий, плотный и до травы добраться трудно, а здесь трава высокая, снег рыхлый,— объяснил Ниязбай причину появления вблизи аула диких коз.

— Козы козами, а что вы скажете об ительги?— прервал его Капан.

— Хвалю! Что и говорить, молодец Сатжан, что выходил такого сокола. Кто упорен, тот всегда добьется своего.

## 11

Учебный год подходил к концу. Приближались экзамены. Сатжан много занимался — ему хотелось сдать все предметы на «отлично».

Сегодня он отправился в школу пораньше: надо было помочь учителю физики подготовить приборы для опытов.

День был теплый, солнечный. Где-то высоко-высоко в небе слышались крики журавлей. «Эх, как бы хорошо сейчас сходить с ительги на охоту! Но он, наверно, так разжирел, что нужен не один день, чтобы подготовить его к лету. Теперь до осени не придется поохотиться. Весной и летом птиц трогать нельзя. У них в это время выводятся и подрастают птенцы».

Мысли его прервал гудок автомобиля. Быстро ехавшая легковая машина замедлила ход и остановилась. Шофер открыл дверцу и спросил Сатжана, как проехать в райисполком. В машине сидели трое незнакомых мужчин.

— Отсюда близко, третий дом после школы.

«Наверно, кто-нибудь из области»,— подумал он.

После первого урока Сатжана вызвали в кабинет директора.

— Вот наш Сатжан,— сказал директор школы худощавому человеку, сидевшему в кресле.

Это был один из ехавших в машине. Гость приподнялся с кресла и протянул Сатжану руку.

— Садись, Сатжан,— пригласил его директор.— Вот Петр Владимирович приехал из Алма-Аты. Хочет с тобой побеседовать.

Сатжан в недоумении сел. Гость вынул из портфеля папку и, перелистывая бумаги, заговорил, обращаясь к школьнику:

— Вы, значит, и есть Сатжан? Гм... Должен вам сказать, что присланные вами в Академию наук знаки, срисованные со скалы, ученые расшифровали. Знаки показывают, что в том месте имеются залежи редких металлов. Ими заинтересовался Научно-исследовательский институт геологии, и нам поручено изучить эти места. Не сможете вы проводить нас туда?

— А как уроки?— спросил Сатжан и робко посмотрел на директора.

— Но ведь завтра выходной день. Нам нужно лишь предварительно ознакомиться с местностью. А для изучения месторождения будет выслана специальная экспедиция.

— Поезжай, Сатжан. Нужно помочь ученым,— сказал директор.

Из кабинета Сатжан вышел, радостно улыбаясь, и рассказал товарищам, поджидавшим его в коридоре, что он покажет научным работникам, приехавшим из Алма-Аты, скалу с надписями.

* * *

К скале приехали рано утром. Сатжан привел ученых по знакомой тропе к скале.

— Вон там надписи,— сказал он, показывая на гладкую стену.— Но подниматься туда трудно.

— Ничего, поднимемся,— сказал Петр Владимирович,— только сначала осмотрим все внизу. Похоже, что когда-то здесь были разработки. Смотрите,— обратился он к своим товарищам, указывая на еле заметные, заросшие травой выемки вокруг скалы.

— Да, кажется, вы правы. Разработки, видно, велись в очень давние времена,— сказал один из ученых и, вынув из рюкзака молоток, принялся откалывать образцы пород, а другой, положив на колени планшет, стал составлять план местности. Петр Владимирович с Сатжаном начали подниматься на скалу.

Когда они добрались до выступа гладкой стены, Сатжан, указывая на надписи, сказал:

— Вот надписи, Петр Владимирович. А гнездо моего ителъги вон там. Туда без аркана не подняться.

— Ителъги? Кто это?— Петр Владимирович вопросительно посмотрел на Сатжана.

— Ителъги — мой сокол. Я его достал из гнезда вон в той расщелине. Когда к нам заедем, я вам его покажу.

— Непременно, непременно,— сказал Петр Владимирович.

Он внимательно осмотрел надписи. Какой-то неведомый художник изобразил на камне волнистые линии, кружки, таинственные знаки, некое подобие животных — рогатых буйволов, легконогих оленей, птиц...

Затем ученый достал из сумки молоток и начал осторожно откалывать кусочки камня от скалы. Сатжан стоял, не зная, что делать. Заметив это, Петр Владимирович протянул ему свой бинокль:

— Умеешь обращаться?

Осматривая в бинокль окрестности, Сатжан размечтался: «Здесь я родился, здесь мне знаком каждый кустик, каждая тропинка, но я и не подозревал, что у нас скоро начнутся разработки, будет построена железная дорога, вырастет новый город. Все это будут делать специалисты. А сколько для этого нужно специалистов! Вот окончу десятилетку и поеду учиться в горно-металлургический институт».

— Ну, Сатжан, пора спускаться вниз,— прервал его размышления Петр Владимирович.

Закончив осмотр скалы, они поехали на скотоферму и остановились в юрте Сатжана. Зейнеп засуетилась, стараясь получше угостить дорогих гостей.

Сатжан показал ученым ительги и рассказал его историю. Один из научных работников, сам страстный охотник, сказал Сатжану, что осенью он обязательно приедет к ним в аул поохотиться.

После ужина Петр Владимирович поинтересовался, как Сатжан учится, куда думает поступать после окончания школы.

— Пойду в горно-металлургический институт.

— Ваш сын поступает правильно, мамаша,— обратился Петр Владимирович к Зейнеп.— Он любознательный и пытливый юноша. Из него выйдет хороший инженер. Благодаря ему мы узнали о новом месторождении металла.

— Спасибо на добром слове,— ответила Зейнеп, сияя от радости.— В хорошее время живут наши дети. Широкие дороги открываются для них в Советской стране.

*1947 г.*

## ОЛЕНЕНОК

Когда Коксеген вернулся с косовицы домой, отец очень обрадовался. Крепко поцеловав мальчика, он отступил на шаг и оглядел его.

— Подрос, голубчик ты мой!— В голосе Келгембая слышалась гордость.— Значит, в колхозе тебя считают уже настоящим джигитом, если доверяют работу наравне со взрослыми.

Коксеген любил отца, и ласковые слова обрадовали его, но он боялся, что отец в душе считал его еще мальчиком. Это задевало самолюбие. Коксеген даже незаметно оглядел себя. «Нет, я джигит!» — с удовлетворением подумал он.

Дурия, мать Коксегена, по случаю возвращения сына не поскупилась: к чаю были поданы казахский сыр — иримчик, сливки и другие вкусные вещи.

— Папа, а как мой олененок?— неожиданно спросил Коксеген.— Поправился? Привык к табуну или все еще пасется отдельно?

Келгембай потрогал седые усы.

— Отдельно?— Старик уселся поудобней.— Э, сынок, не узнаешь его теперь. Какие рога красивые! Третий отросток ответвляется.— Келгембай оживился.— Нога у олененка поправилась, он прыгает — куда там! И не очень дичится людей. Бывает, подъедешь к нему, слезешь с лошади, а он стоит, смотрит.

— А я смогу его поймать?— спросил Коксеген.

— Не знаю.

— Где он пасется?

— На Найзатасе. Мать его в табуне на Косконыре, но он к ней и близко не подходит. Видно, позабыл: зиму ведь на твоих руках пробыл.

— Завтра же приведу его, опять приучу к рукам,— решительно сказал Коксеген.

Отец усмехнулся:

— Зачем? Олень не лошадь. Его не приучишь к верховой езде или к упряжке.

— А я приучу. И ничего здесь нет особенного. Я читал: на Севере, в тундре, на оленях ездят.

— Наверно, там другой породы олени,— ответил с сомнением Келгембай. Помолчав, он добавил:— Никогда я не видел и не слышал, чтобы люди ездили на оленях или на лосях.

— Могу книжку показать. Там даже рисунок есть.

Коксеген подошел к полочке с книжками и разыскал то, что ему было нужно.

— Вот, смотрите,— показал он отцу рисунок,— «Олени, запряженные в нарты». Здесь написано, что в республике Коми, в Якутии и на Камчатке ездят на оленях.— Коксеген закрыл книгу.— В тех краях олень — самое ценное животное: мясо его едят, молоко пьют, из шкур шьют одежду. Оленьими шкурами жители часто кроют свои жилища — шалаши-яранги. Это у нас, где много других животных, оленей разводят только ради рогов, а там совсем другое дело.

Келгембай вздохнул:

— Верно говорят: «Не тот мудрец, которому много лет, а тот, кто много знает».— Он покачал головой и добавил с горечью:— Не учился я, а неграмотный человек что слепой.

Коксеген был счастлив: шутка ли, самый знающий в этом доме — он.

И Дурия гордилась сыном. Склонив голову над посудой, которую мыла, она шептала:

— Сынок мой дорогой, много лет жизни тебе, будь счастлив!

В эту ночь Коксеген долго не мог заснуть. Он обещал приучить оленя к верховой езде. Что ж, он настоящий джигит, а слово джигита — закон! Отец убедится в этом.

«Закон-то закон,— подкрадывалось сомнение,— а что если олененок не узнает меня?»

Коксеген ворочался с боку на бок: он вспомнил, как зимой отец привез олененка...

Зима на Алтае суровая, холода стоят долго. Огромные, белые от снега горы. А вершины их скрыты густым туманом.

Трудно оленям зимой. Бывает, в сильные бураны стада оленей не успеют укрыться в овраге, в балке, и тогда многие из них погибают: слишком много в горах опасных расщелин и пропастей.

Старый Келгембай имел привычку после бурана объезжать наиболее опасные места в горах. Отгонял заблудившихся оленей в защищенные от ветра загоны, к заготовленным скирдам сена.

Однажды, едва стих неистовый ветер, Келгембай подкатил на лыжах к крайнему утесу Найзатаса. Глядит: меж каменных глыб торчат из-под пушистого

снега два маленьких оленьих рожка. Старик стал поспешно разгребать снег.

Олененок уже замерзал. Видно, сломал ногу и отстал от стада. Сняв шубу, Келгембай осторожно завернул его в овчину и привез домой.

Коксеген назвал олененка Коныром. По-казахски это значит «Коричневый». Все свободное от уроков время мальчик возился с ним и лечил его: прикладывал к ноге примочки, делал припарки из лекарственных трав.

Коныр лежал на подстилке в углу избы. Коксеген садился перед ним на колени и кормил из рук хлебом, ячменным зерном, сеном, поил из глиняной мисочки теплой водой. Олененок так привык к Коксегену, что, увидев его, тянулся к нему мордочкой, звал, требовал, чтобы мальчик приласкал его. Коксеген очень привязался к маленькому и беззащитному животному.

«Неужели Коныр не узнает меня?» С этой тревожной мыслью Коксеген и уснул.

Как обычно бывает у стариков, Келгембай поднимался рано. Неосторожным шумом он разбудил спавшего чутким сном Коксегена. Мальчик вскочил с постели:

— Отец!

— Что так рано? Спи.

— Хочу поехать с тобой, посмотреть на Коныра...

Коксеген выбежал во двор. Солнце только всходило. Келгембай привел коня, начал седлать.

— Где же ты найдешь сейчас олененка?— сказал отец.— Олененок часто уходит в глубь леса.

— Ничего,— уверенно возразил Коксеген,— найду!

Когда подъехали к ложбине, окаймленной соснами и густыми лиственницами, отец остановил лошадь.

— Чаще всего Коныр пасется в ложбине, а воду пьет во-он у того водопада,— показал он рукой на сверкающие струйки воды, словно висевшие в воздухе.

Водопад был далеко, шума его не было слышно.

Коксеген, сидевший за спиной отца, спрыгнул с лошади.

— Желаю удачи,— сказал Келгембай и поехал дальше.

Мальчик стал взбираться по довольно крутому склону. Роса в лесу еще не успела высохнуть. Он шел, и за ним на траве оставался ясный след. Оглянувшись,

Коксеген подумал: «Если Коныр поблизости, я его живо найду».

Лес был полон звуков. Маленькие птахи распевали утренние песни. Иногда с шумом пролетали вороны. Их черная стая кружила над одной из сосен, каркая беспорядочно и резко. Иногда из-под куста с писком выскакивал какой-нибудь зверек.

Долго ходил Коксеген, но оленьих следов не встретил. Добравшись до самой высокой скалы Найзатаса, он отдохнул, а затем отправился дальше вдоль склона.

Солнце поднялось довольно высоко, роса испарилась. «Теперь трава следа не сбережет,— подумал Коксеген.— Если набреду на Коныра, то случайно».

Он ступал бесшумно, весь превратившись в слух.

Вышел на лужайку. Огляделся — тихо кругом. Сделал несколько шагов и замер: впереди колыхнулась ветка лиственницы, послышался шорох. «Кто это может быть?» — подумал мальчик.

На мху под закачавшейся веткой он разглядел четкий рисунок копытца и по следу определил направление.

Коксеген вышел на поляну и увидел, что на противоположном краю ее пасется молодой красивый олень.

Мальчик спрятался за ствол сосны, стал наблюдать. Олень вдруг заволновался, тревожно оглянулся по сторонам, начал переходить с места на место и нюхать воздух. Коксеген узнал Коныра. Весной для приметы он отрезал у него кончик черного пушистого хвоста. Кроме того, он успел рассмотреть веточку правого рога, отросшую еще зимой. Она росла под прямым углом назад.

Коксеген вышел из-за сосны и тихо окликнул:

— Коныр! Коныр!

Потом медленно направился к оленю.

Увидев человека, молодой олень испуганно шарахнулся в сторону. Коксеген остановился. «Неужели не узнает?» — в отчаянии подумал он.

Но, видно, олень вспомнил привычную кличку. Отбежав немного, он остановился. Коксеген протянул руку, ласково пошевелил пальцами — движение, знакомое олененку по зиме, и пошел к нему навстречу. На этот раз олень не отбежал от мальчика, подпустил его ближе. Но в последний момент все же прыгнул на лежавший недалеко большой камень и замер.

Коксеген с протянутой рукой подошел почти вплотную.

Насторожив уши и всматриваясь черными влажными глазами в Коксегена, олень вздрагивал. Наконец не выдержал, спрыгнул с камня и отошел на несколько шагов.

Коксеген сорвал пучок травы и снова окликнул:

— Коныр! Коныр!

Олень потянулся мордой к Коксегену. Мальчик осторожно поднес ему ко рту траву, погладил по спине и почесал за ухом.

Олень уже не дрожал. Он узнал хозяина и с удовольствием подставлял спину и бока. Коксеген внимательно осмотрел его пострадавшую ногу.

Верно говорил отец. Больная нога зажила. Беспомощный олененок стал красавцем оленем. Особенно хороши были рога. Мальчик потрогал их, они еще не успели затвердеть и были мягкие, пружинистые.

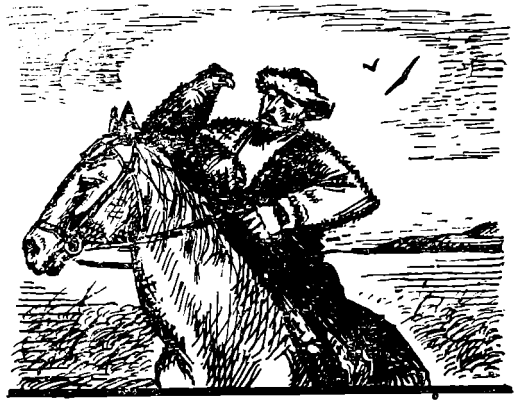
— Коныр, Коныр...— ласково приговаривал Коксеген.

Увидел старый Келгембай сына, обнимающего молодого оленя, и сказал:

— Смотри, не забыл тебя Коныр! Пожалуй, к верховой езде его приучишь. Молодец, Коксеген, ты настоящий джигит!

Когда они возвращались домой, солнце уже припекало, и сосновый лес был полон смолистых запахов.

*1947 г.*



*Такен АЛИМКУЛОВ*

## ЧЕРНОГРИВАЯ ВОЛЧИЦА

Эти древние горы на сотни километров тянутся с востока на запад, рассекая необъятную степь и меняя свои очертания. Они где-то походят на богатыря с копьем, где-то — на женщину во главе каравана, где-то — на осевшего верблюда. И названия здешних мест соответствуют их виду.

Но есть здесь одна гора, которая называется Болек, то есть «Отдельная». Она стоит в стороне от горных гряд и цепей, как бы оправдывая свое название. И дороги обходят ее, уступая место узким тропинкам, по которым хаживают звери да воры, которых, правда, сейчас почти нет.

В нынешнем году ранней весной два волка поселились в этом диком уголке много видевших и много переживших древних гор. Раньше волки водились лишь у подножия больших гор, от которых отделилась Болек. Там они обитали в дикой каменистой местности, куда не ступала человеческая нога.

Дожили они до старости благодаря своей смекалке и хитрости, ибо, подобно опытным ворам, не трогали соседние аулы, а совершали набеги лишь на аулы дальние, да и то только тогда, когда те откочевывали с насиженного места. Поблизости поэтому не было

людей обозленных, жаждущих их затравить. Кое-кто, даже зная, что совсем недалеко живут два зубастых волка, полушутя говаривал: «Пусть эти двое непутевых поживают себе на здоровье!» После того, как был установлен запрет на истребление волков, их и вовсе оставили в покое. Волчье житье-бытье нарушилось неожиданно. Ранней весной, когда полностью растаял снег, появились какие-то люди на грузовых машинах и стали взрывать волчьи жилища. Полетели в воздух пудовые камни, гул и треск огласили долину, горела земля. Зрелище для здешних зверей непривычное и страшное. И они разбежались в разные стороны, оставив на произвол судьбы одних лишь зайцев с их выводками.

Двое волков, никогда не разлучавшихся, бежали к Болек.

Волчица, которая еще не ощенилась, с тяжелым животом шла сзади, а волк — впереди. Он опережал волчицу, оглядывая окрестности с холмов и бугров, дожидался ее и шел все дальше и дальше.

Они прощались с насиженными местами, и это особенно переживала волчица. Она вырастила много волчат, которые разбежались по свету. Перед разлукой она кусала их шею, била лапой, делая все это для того, чтобы они росли такими же злыми, бесстрашными и хитрыми, как она сама.

Когда звери дошли до заветного места, они, недолго посовещавшись на волчьем языке, облюбовали пещеру, расположенную почти на вершине горы против крутого утеса. Пещеру окружала рыхлая порода желто-коричневого цвета. Это была жоса[1], из которой извлекается натуральная краска для остова юрты, но волкам до этого не было дела...

Так и поселились здесь, в заброшенной дикой Болек, два волка. Пока волчица не ощенилась, волку было трудно. Он еле-еле добывал для них обоих пищу. Но потом, когда подруга оправилась, им стало полегче. Вдвоем, а иногда и порознь, уходили они далеко в степь и почти всегда возвращались с добычей. Это были все мелкие звери и подраненные птицы.

Время шло незаметно. Наступило лето. Никто не нарушал их покоя, и только изредка беркут парил над ними и садился на крутой утес по ту сторону оврага, прямо против пещеры. Его птенцы были еще в гнезде,

[1] Жоса — камень-краска.

и он тоже добывал себе пищу вдалеке, не трогая своих новых соседей. Тихо было здесь всегда, и только кукушки дважды в день по нескольку раз выкликали свое имя: «Кукек, Кукек».

По мере того как волки обжились и окрепли, они забыли про зимние и весенние неурядицы и стали тосковать по былому, по удали и раздолью. Порою от скуки волки принимались выть. Но звериное чутье говорило им, что так будет лучше. И они дождались ответа. Однажды к ним пришел молодой волк. Несмотря на свой возраст, он был худой и невзрачный, походил скорее всего на домашнюю лисицу. Он встал между двумя зверями и сразу учуял, кто их предводитель. Несмело подошел молодой волк к волчице, обнюхал, взмахивая жиденьким хвостом. Волчица завизжала, издала странный звук, обнюхала пришельца. Потом, пригнув голову, стала бегать по крутому оврагу наискосок. Волчица была из той породы, которую здешние люди называют «инсокты», то есть логовищная. Такие волки проводят большую часть времени в норе, под землей. Жилистая и крепкая, она узнавалась сразу. Это видно было и по повадке, и по цвету ее не измятой, слегка лоснящейся шерсти...

С этого дня она круто изменилась. Привыкшая властвовать над самцом, она дала себе волю, зло лаяла и кусала его, растопырив лапы. Это было время, когда щенки ее превращались в волчат, когда им нужна была хорошая жирная пища, чтобы они вышли из норы и увидели приволье.

И вдвоем они ушли на охоту.

Долго шли они в сторону джайляу, пока не остановились у большого колючего куста шенгеля. Куст этот был им знаком давно. Он рос в безлюдной долине, и редкие путники, считая его святым, завязывали на его ветках тряпочки. Но до этого волкам дела не было. Они когда-то облюбовали его как место свиданий и просто как приметное место. Тот, кто первым посещал этот куст, мочился на него, оставляя свой след и давая знать напарнику, что все в походе удачно.

Они долго пробыли у куста. Сначала просто играли, потом постепенно разозлились, кусали друг друга, били по лопаткам и это было напутствием друг другу перед разлукой.

Волчица была голодная и злая. Она пошла прямо

на джайляу, а волк повернул по звериному наитию в степь.

Волчице опасно было добираться по джайляу. Здесь не было зубчатых гор, бугров, оврагов. Она пошла по узкому хребту, чтобы все видеть вокруг, но самой быть незаметной.

На самой кромке хребта остановилась волчица и, прячась за одинокий курай, у которого даже веток не было, жадно смотрела на мирные аулы. В это время трава еще не затоптана, и поэтому скот, особенно молодняк, пасется поблизости от людского жилища.

Не желая рисковать, она вернулась обратно. Пошла наискосок, и где-то посередине дороги, увидев стаю перепелок у подножия Дегиреза, поднялась на каменистый крутой холм. Там она наткнулась на орлиное гнездо. Вокруг гнезда были рассыпаны мелкие черепашьи кости. Настоящий орел приносит для своих птенцов больших черепах, а слабый орел не может удержать их в когтях и поэтому довольствуется мелкими черепахами. Такой орел не способен на месть. Волчица все это поняла и набросилась на гнездо. Маленькие орлята, будь они постарше и попородистей, успели бы улететь, но из-за слепоты и слабости ждали своей участи спокойно. Закричали они лишь тогда, когда хищный зверь, роняя слюну, стал грызть им головы. Орлята беспомощно, растерянно взмахивали неокрепшими крыльями, сквозь которые виднелись красные лопатки, и пищали, пищали...

Вечером старый волк не вернулся в пещеру. На следующее утро волчица отправилась на поиски. Первый привал она сделала у знакомого шенгеля. Признаков посещения волка не было.

Волчица пошла в степь.

* * *

Жил один старый охотник в этих краях. В последние годы он перестал заниматься охотой, поскольку звери были почти поголовно истреблены, да и на охоту надо было брать разрешение в райцентре, куда он ленился ходить. Охоту он заменил другим промыслом, более спокойным и выгодным: изготовлял остовы для юрт, столь необходимые для кочующих скотоводов. Его изделия ценились выше, чем изделия промкомбината, поскольку он лучше разбирался в дереве и хорошо

знал это древнее искусство. Старик недурно делал всякую утварь, предметы домашнего обихода — все, за исключением седел. Последних он не делал назло всадникам, кстати, ни в чем не повинным. Когда-то, еще в старое время, его единственную лошадь забрали для армии, и он винил в этом свое седло. «Не езди я верхом, не приглянулась бы моя лошадь начальству»,— думал он. Свое седло, которое стоило целого барана, а то и бычка, он спрятал подальше от глаз.

Странным было имя его «Бугыбай», «бугы» — это «олень». В этих краях оленей нет и в помине, а есть лишь архары да волки. Почему Бугыбай? Неужели он родился где-нибудь в высокогорном урочище Алатау? Большие горы отсюда далеко, и здешние кочевники имеют о них весьма туманное представление.

В один из летних дней старик сел на верблюда и отправился в путь. В ауле в этот день готовился той.

— Ты что, оставляешь меня на посмешище друзьям и недругам?— сказала ему жена.— Кто же едет на охоту, когда справляется той?!

— Я что, на верблюде буду участвовать в козлодрании?![1]— ответил он. — Лучше поеду за жосой в горы. А то краски, купленные в комбинате, улетучиваются, как гвоздика!

Не успел он отъехать от аула, как встретил группу всадников. Один из них вел в поводу темно-серого трехлетку: «Видать, везешь подарок на той!»— решил про себя старый Бугыбай и отвернулся.

Бугыбай ехал долго, пока не поравнялся с холмом Дегирез, где свернул направо. Тут он увидел след машин, проложивших дорогу на крутой черный холм. «Что за времена?— удивился он. — Раньше мы объезжали этот холм на конях, а теперь тут уже машины ходят. Ну-ка, и я на верблюде въеду на вершину, словно на сказочную гору!»

Спустившись с холма, он попал на поляну, поросшую чием. Когда-то женщины в это время года, а быть может, и чуть попозже, рвали чий и изготовляли из него покрытие для юрт. Теперь же здесь было пустынно. Зная это, Бугыбай решил ехать дальше и вдруг увидел волка, попавшего в капкан. Хищник лежал на откосе, еле ворочаясь, с окровавленными задними ногами, а около него стояла невредимая волчица.

---

[1] Козлодрание (кокпар)— национальная игра.

Бугыбай пожалел, что не захватил с собой старую берданку, которая когда-то без промаха била по волкам. Он взмахнул длинной плетью, рассекая воздух. Верблюд возбужденно заорал, и Бугыбай начал кричать вместе с ним. Волчица убежала, а волка он затравил. У волка глаза были злые, кровавые и передние ноги целые и невредимые. Яснее ясного, что он бросится на любого противника. Бугыбай не надеялся на свою мотыгу и кинжал и убил хищника камнями, не слишком приближаясь к нему. Зверь рычал и визжал, ослабевая с каждым ударом. В последнее мгновение он, подняв голову, сделал отчаянный прыжок и покатился вниз. Когда Бугыбай подошел к нему вплотную, живот хищника еще еле-еле подрагивал.

Неожиданная находка заставила охотника вернуться обратно. Он хотел похвастать перед соседями тем, что, мол, есть еще у него порох в пороховницах. Кроме того, старик остерегался человека, который поставил капкан. Он знал, что по обычаю охотников доставленная в аул добыча не подлежит возврату.

Бугыбай не подумал о том, что этим капканом, судя по тому, что он поставлен среди чия, охотник ловил лисиц, а не волков, которые обычно мочатся у крупных кустов и перепрыгивают через ловушки. Но случай есть случай. Видимо, этот волк сам искал лисиц, не подкарауливая их с возвышенности, и вот стал жертвой собственной алчности. «Как бы там ни было, охота лучше, чем ремесло уйши[1],— думал Бугыбай. — Чего стоит одно степное раздолье, погоня и стрельба по зверю, топот коней и крики всадников!» Но лошади-то у него, Бугыбая, нет. Значит, отныне ему суждено в лучшем случае тоже ставить капканы и ждать милостыни от самих зверей. Он вспомнил двустишие, которым акын осмеял охотника с капканом:

Ты просишь милостыню у земли,
Размер которой с ладонь.

Бугыбай улыбнулся. Нет, конечно, он не будет ставить капкан, тот самый капкан, в который иногда попадают неловкие джигиты и лежат до прихода его владельца. Одного он не понимал, что капкан есть капкан, сила цепкая, темная и глухая, и что этот капкан

[1] У й ш и — изготовитель юрт.

опасен для всех, кто зарится на легкую добычу, включая и самого Бугыбая...

Когда он вернулся в свой аул, пиршество было в самом разгаре. Разгулявшиеся джигиты устроили кокпар. Женщины щипали себе лица[1], удивляясь: «Дожили мы и до волчьего кокпара!»

Джигиты давно просили у управляющего разрешения на козлодрание, но тот отнекивался, боясь последствий безумной игры. Теперь он был уже не в силах бороться со стихией и сам исподтишка наслаждался диким зрелищем. Не ожидавший этого, Бугыбай смотрел, как мертвый волк перелетает с седла на седло вместо козла. Но потом он утешил себя тем, что шкура у старого волка не очень добротная, а шерсть недостаточно густая.

Ночью ему долго не спалось, все мерещилась волчья шкура, так некстати разорванная на пиру у чужого человека. Теперь он жалел, что лишился бостека — подседельника из звериной шкуры. «Да, труд охотника неблагодарный,— решил он,— займусь уж лучше ремеслом уйши».

Рано утром он отправился в путь-дорогу. Верблюдица, чей верблюжонок остался в ауле на привязи, шла нехотя, Бугыбай время от времени хлестал ее плетью, и она жалобно вздыхала.

Он доехал до Болек к обеду и, привязав верблюдицу к кусту, поднялся на гору. Долго карабкался он по путаным звериным тропкам, едва удерживаясь за плоские камни. Когда добрался до жосы, то и вовсе выбился из сил. Но тут, у входа в пещеру, он увидел вдруг серые волосинки. «Волчата!»— подумал он и вспомнил легенду об этой пещере. В ней говорилось, будто бы в глубине пещеры лежит чудовище-удав и что доносящийся изнутри гул происходит от дыхания этого чудовища. Существовала легенда о том, что в пещере спрятано сокровище.

Бугыбай никак не мог допустить, что в этой таинственной пещере ныне обитают волки. Все еще сомневаясь, он наклонил голову и учуял приторно-гнилой запах. Тогда он зажег газету спичкой и увидел темные волчьи нечистоты. Со всего размаха Бугыбай бросил камень внутрь, и камень, ударяясь поочередно о бока

[1] Традиционный национальный жест.

пещеры и подпрыгивая, укатился далеко, оставляя зычный протяжный звук. «Какой опытный волк!— восхитился Бугыбай. — Своих щенков спрятал вон куда, а воздух к ним поступает с другой стороны через щели в утесе». Он закричал что было сил: «Ей, волчата, выходите сюда... Ну-ка, живо!» Голос отозвался лишь слабым эхом.

Бугыбай решил задымить волчью нору. Он нарвал тобылги, сухого пырея, с большим трудом собрал ветки кызылши, едкая пыль которой примешивается в насыбай[1]. Горький, ядовитый дым нужен был для того, чтобы вытравить волчат из норы. Старый охотник знал свое дело. Дым из разведенного костра сам втягивался в пещеру, и скоро стало слышно, как там запищали, заскулили щенки. Они издавали жалобные, страшные звуки, беспорядочно метались во тьме, били друг друга лапами, кусали, выбрасывая один другого на волю. Бугыбай поочередно ловил их и клал в большой квадратный прорезиненный мешок, предназначавшийся для жосы. Щенки теперь визжали тонко, как поросята.

Завязывая узелок мешка, Бугыбай сказал: «Я ждал большего, а вас оказалось всего три штуки. Значит, вы от очень породистого волка!» Он знал, что львица приносит только одного львенка, а какая-нибудь кошка целых семь котят. Непородистая волчица имеет от шести до десяти щенков. У такой волчицы, утверждают знатоки, кровь собачья и лисья. Совсем мало щенков у красно-белой волчицы, но ее нынче уже не встретишь.

Он думал о том, что шкура красно-белого волка стоит вдвое дороже, чем шкура серого волка. И тут же старый охотник принял неожиданное решение. Он решил отпустить на волю волчат с тем, чтобы потом, к зиме, снять с них шкуру. Но волчата, конечно, разбегутся куда глаза глядят. Поэтому он вырезал ножом им зрачки и бросил волчат обратно в пещеру. Страшно, жалобно кричали и пищали они, а в пещеру покатились, как колобки...

С собой он взял только одного щенка, подрезав ему заднюю ногу. «Будешь забавой для моего сыночка!» — сказал он, как всегда, вслух.

---

[1] Насыбай — табачная смесь, которая закладывается за губу.

Лишь немного скупой волчьей крови осталось на камнях.

Когда солнце встало над скалой, в полдень по привычке вернулась волчица. Она увидела на полянке привязанную верблюдицу. Когда-то в безлюдной степи она вплотную подходила к пасущемуся верблюду, играла с ним, щекотала ему ноги, заставляла его садиться, а потом вспрыгивала на него и жадно грызла его горб, мягкий и сочный. Но сейчас, учуяв, что верблюдицу привязал человек, опасный для волчат, она поспешила к своей норе. Свернув направо, она быстро поднялась по узкому ущелью и все увидела...

Бугыбай хорошо рассмотрел ее. Она была огромная, серая, с черной гривой. Хребет ее походил на расставленный длинный капкан. Волчица что-то выплюнула и резко подалась вперед. Увидев человека с ножом, моментально отступила. Потом стала подбегать издали, кругами, слабо и зло визжала. Услышав крики волчат, она остервенела, дыбом встала ее черная грива. Передними лапами волчица рыла землю и лаяла, как собака.

Бугыбай не отрывал своих глаз от глаз волчицы, которые, как ему казалось, искрились и наливались кровью. «Ты же не тигр!» — сказал он громко и начал размахивать ножом. Нож этот был подарен ему земляком фронтовиком и сейчас блестел под лучами летнего солнца. Его черная рукоятка, как преступление, скрывалась в жилистых пальцах охотника.

Спускаться Бугыбаю было еще труднее. Он впервые понял, что спуск опаснее, чем подъем. Спотыкаясь, он спустил мешок вниз. Мешок дважды цеплялся за кусты. Уже на поляне он закричал на верблюда: «Ну-ка, опускайся!»

* * *

Волчица долго преследовала охотника. Идя мимо черного холма, она вспомнила попавшего в капкан самца и обозлилась на него за то, что у того не хватило смелости отгрызть себе лапы, как полагается настоящему хищнику.

Злая волчица нападает только на женщину или на подростка, и за Бугыбаем она шла просто по зову крови, из-за слепого чувства к своему щенку, попавшему в беду.

Когда показался аул, она остановилась. Потом побежала по небольшому оврагу на бугорок, откуда стала глядеть на своего обидчика. Доехав до аула, Бугыбай вытащил волчонка из мешка и, хвастаясь перед аульчанами, бросил его на землю рядом с верблюжонком, стоявшим на привязи.

Волчица приглушенно завыла, дыбом встала ее черная грива, а глаза густо налились кровью. Так она стояла бы долго, до наступления темноты, но откуда-то появились всадники и пустили своих коней вскачь прямо на бугорок. Волчица зло завыла и, круто повернувшись, побежала назад. Она бежала нехотя, время от времени поворачивалась и смотрела на всадников, которые вовсе не видели ее.

Плохой волк бежит вовсю и, задыхаясь, быстро становится добычей преследователя. Более смелый волк бежит, все время оглядываясь назад, но в одну только сторону, и тоже становится добычей опытного всадника, который, заехав с другой стороны, бьет неотразимо, поскольку волк не способен поворачивать только голову. Люди, как и волки, тоже ведь бывают разные. Редко кто осмелится один на один вступить в схватку со зверем, подобным черногривой волчице.

Да, волчица бежала нехотя, но потом, убедившись, что ее никто не преследует, совсем сбавила ход. Теперь она шла, по привычке пригнув голову, зная, что так она не устанет и пройдет большее расстояние. Долго трусила она, высунув язык. Нутро ее ныло, в ушах шумело, и длинный ее хребет изогнулся. В безводной глухой степи она походила сейчас на бездомную собаку, проглотившую иголку, подброшенную злым человеком. Изредка пролетали над ней вороны и галдели, галдели...

Она вернулась в свое логово к вечеру. Весь запад обнимала оранжевая заря, последний луч заходящего солнца кроваво освещал волчицу. Ее шерсть под черной гривой — пепельная, бледно-серая — сейчас отливала желтоватым цветом. Все здесь быстро менялось, принимая тоскливый вид.

Волчица долго стояла у камня, окропленного кровью. Когда взошла луна, она на нее завыла. Луна, извечный враг волков, плыла медленно, как бы говоря: «Волчица, твое время проходит!» И волчица побежала в степь — по движению луны и к утру оказалась у кладбища. Она почему-то обходила могилы, обнюхивая их.

* * *

С этого дня она круто изменилась. Днем волчица пряталась в пустыне среди камней, а к вечеру совершала налет на джайляу. Она не трогала другие аулы, только аул Бугыбая. В вечерних сумерках нападала она на стада овец, загрызая их как можно больше. Это когда-то она довольствовалась тем, что отхватывала часть курдюка у барана, а теперь грызла овец без разбора. Отара беспорядочно металась, лаяли собаки, орали пастухи, и только тогда, когда поднимался невообразимый шум, она удирала. Волчица повторяла свой набег к утру, когда люди уже крепко спали, и на этот раз причиняла еще больший ущерб.

Все лето не оставляла она в покое аул Бугыбая. Пастухи много раз брались за ружье, которое им раньше нужно было только зимою, и стреляли в вечерних сумерках, чтобы напугать волка.

Ружье у них простое, охотничье, и оно не поражает с большого расстояния — не то что винтовка, пуля которой, визжа и сверкая, пугает даже опытных хищников. Но ружье есть ружье, и волчица остерегалась, не допуская близко стрелка. А когда выстрелы учащались, угрожая явной опасностью, Черногривая уходила в пустыню. Но, усыпив бдительность людей, она возвращалась дней через десять-одиннадцать и нападала на отары с еще большим остервенением. Чабаны только хлопали себя по бедрам, выражая досаду.

Однажды за беседой о набегах Черногривой чабаны вспомнили, что волки боятся огня. Но кто заготовит дров? Другое бы дело осенью, когда в каждой яме целые скопища сухого перекати-поля и собрать его в кучу не стоит никакого труда. Они решили в тот вечер пойти по легкому пути, вспомнив тоже, что волк еще никогда не переступает через веревку. На ночь пастухи окружили арканом стадо овец, но эта волчица перепрыгнула через него.

Как-то однажды они собрались у чабана, больше всех пострадавшего от хищника. Каждый толковал по-своему. Был среди них один старик, весь белый-белый, когда-то торговавший пушниной, который сказал:

— Я наслушался рассказов многих исконных охотников, которых ныне нет уже в живых. Судя по тому, что волк не боится ружейных выстрелов и переступает через аркан, он — волк породистый. А скорее

всего это — волчица, мать унесенного щенка. Она будет мстить и мстить. Если вы хотите убедиться в моем предположении, то пусть Бугыбай переедет в другой аул!..

Эти слова убедили управляющего фермой.

— Буке, во всем виноваты вы,— сказал он Бугыбаю. — Вам следует затравить волчицу, ежели хотите жить вместе с нами!

В ответ Бугыбай наклонил голову к левому плечу, его густая борода коснулась воротника серого пиджака. Так он сидел некоторое время, потом положил за губу насыбай. Его кошачьи глаза странно затуманились, щеки задергались.

— Я что, пешком буду травить волка?!— спросил он.

На следующий день Бугыбай сел на выделенную ему верховую лошадь, взял свою берданку и объехал окрестности. Волков он не встретил и, вспомнив поговорку: «И несчастье ведет к гулянке», поехал к Болек, к той самой пещере, с которой по существу началась вся эта история.

Пещера была пуста. У входа лежали два дохлых волчонка. Шерсть у них уже отвалилась и в воздухе еще стоял неприятный запах. Бугыбай пожалел, что шкуры у них испорчены, и как бы в отместку за это забросал волчье логово большими камнями.

Когда он возвращался назад, его слегка согнутые плечи походили на волчьи лопатки, а густая борода напоминала отпавшую шерсть волчонка. Да и глаза его — пестрые, желто-зеленые, походили на глаза бездомного голодного пса.

Все это со стороны казалось непонятным.

Бугыбай ехал медленно, не оглядываясь, потеряв надежду увидеть волка. Он размышлял, не понимая, что, пусти он коня рысью, не думал бы ни о чем, кроме как о желании побыстрее добраться до дома. А сейчас всякие мысли лезли ему в голову. Если бы он, Бугыбай, вместо щенка напихал в мешок краски — жосы, никакого несчастья бы не было. А теперь он — как человек, босой ногой ступивший на спящую змею.

Возвратившись в аул, он временно стал помощником пастуха. Но волк, как назло, не приходил. Потом Бугыбай с пастухом специально погнали свою отару в горы, в сторону черного холма, куда чабаны откочевывают только глубокой осенью. Они нарочно взяли

с собой глупую собачонку, чтобы отара не была похожа на ловушку.

И расчет их оправдался. Однажды в вечерней мгле начался страшный переполох среди овец. Бугыбай сразу увидел волчицу, глядящую из-за маленького утеса, вернее, увидел два ее острых уха. Про себя Бугыбай произнес: «Да будут окровавлены твои глаза!» Это было традиционное заклинание охотника. Волк спрыгнул с утеса и бросился на стадо. Овцы, как вихрь, закрутились в кошаре, залаяла собака, но пастух молчал. Учуяв, что в этой кошаре ей грозит опасность, волчица выскочила из нее на подъем между камнями. Бугыбай выстрелил. Про такой выстрел говорят: «Или в воробья или в ветку». Пуля пролетела над самым ухом у волчицы, не на шутку напугав ее. После этого волчица и вовсе перестала появляться, а Бугыбай, отдав стадо его настоящему хозяину, вместе с ним переехал в свой аул.

Да, волчица, все лето преследовавшая Бугыбая, учуяла ловушку и больше не появлялась. Аул успокоился. Молва о мстительном волке постепенно утихла. Бугыбай, как победитель, торжествовал. Он приучил своего подросшего волчонка травить мышей — косаяков, то есть «быстроногих», которые водятся в этих местах и которых гончий пес не может догнать. Волчонок бегал, чуть прихрамывая на одну лапу, и с трудом догонял мышей. Бугыбай искренне жалел, что когда-то подрезал волчонку сухожилие. Он дал ему кличку Маймак, то есть «Криволапый», что вполне соответствовало его внешнему виду и повадкам...

Бугыбай кормил Маймака мясом и молоком. Он был уверен, что с исчезновением матери Маймак превратится в гончего пса, в надежного друга бывшего охотника. На всякий случай он на ночь привязывал его у порога юрты.

Волчонок, который из дымной норы попал прямо в мешок, впервые увидел свет в ауле Бугыбая. Это обстоятельство повлияло на его поведение. Он прижился и рос, как собака. Когда собаки в вечерней мгле лаяли, он тоже лаял, но в голосе его, хриплом и приглушенном, было нечто странное, темное, тревожное, тоскливое.

И Маймак и его хозяин не знали, что черногривая волчица каждый день меняла место своего ночлега, но меняла так, чтобы вечером обязательно появляться

близ аула Бугыбая. Всякий раз она, услышав лай своего щенка, приходила в бешенство. Кто-то недобрый хотел, чтобы со временем он превратился в собаку, а собак она больше всего ненавидела.

В один из таких дней с наступлением сумерек она подошла к аулу Бугыбая со стороны степи. Луна еще не всходила, вечернюю тьму нарушал лишь свист ветра. Ветер дул с перевала в широкую щель между горами, то набирал разбег, то утихал, превращаясь в затяжной тоскливый вой. Как говорит поговорка, собака отличается нюхом, а волк — слухом. И здесь до Черногривой донесся голос ее щенка. Голос был писклявый и жалобный. Волчица встрепенулась и, пригнувшись, тоже завыла. Потом вдруг она дважды повернулась на месте, ударила по земле передними лапами и побежала вперед, изменив своей повадке и слабо повизгивая.

В юртах горели керосиновые лампы. Они еле-еле виднелись во тьме. Зато хорошо было видно пламя в наружных очагах под котлами, в которых парилось молоко. Такое освещение, при котором аул не видит того, что творится вокруг, а сам виден хорошо, по душе опытному вору. Волчица, уподобляясь такому вору, обежала аул и нашла юрту Бугыбая. Остов юрты старого охотника, привыкшего к холоду и ветру, был всегда обнажен.

Волчица подкралась к дому и сквозь щели остова увидела своего щенка. Привязанный у порога, он лакал молоко из собачьей миски. Бугыбай убаюкивал своего ребенка. Рядом с ним, полусогнувшись, сидела его жена.

Прервав укачивание, Бугыбай велел жене вынести ребенка на улицу оправиться. Ребенок, не желая того, заплакал. Бугыбай повторил свой приказ. Жена вынесла ребенка и, обходя верблюжонка, стоявшего на привязи, посадила его на землю.

В этот момент волчонок, вероятно, учуяв стоявшую недалеко мать, встрепенулся и завизжал. У волчицы застучало сердце, заискрились глаза. Она стремглав бросилась на малыша обидчика, крепко схватила его и утащила в зубах. Ребенок успел только вскрикнуть, но был уже мертв от испуга.

Отбежав от аула, волчица перебросила добычу себе на спину, как ягненка, которого когда-то так запросто уносила.

В ауле всполошились. Люди высыпали на улицу. Вскочив на неоседланных лошадей, мужчины помчались в степь. Медленно всходила луна, как запоздавшая свидетельница...

* * *

На следующий день с утра люди объехали все окрестности, ровные и неровные, все овраги, где водятся звери. Не встретив никого, кроме мышей и барсуков, они свернули в сторону Болек. Им захотелось на всякий случай заглянуть в волчью нору.

Привязав коней друг к другу на поляне, пешими поднялись к пещере. Тут они наткнулись на страшное зрелище. Между двумя волчатами лежал на спине ребенок. Тело его было невредимо, только под бровями зияли рваные раны. Все они — и волчата и ребенок — были без глаз.

Бугыбай много слышал о том, как беркут уносит ребенка на вершину горы к своим птенцам. То же делает волк на земле. Но он не слышал, чтобы беркут или волк вернули человеческое дитя родителям. Тем не менее в глубине души его все время таилась надежда на то, что сын его чудом уцелеет. Теперь же, увидев на его лице две страшные дыры, он окаменел. Холодная дрожь прошла по телу старика, волосы встали дыбом. Потом его волосатые щеки задергались, рот искривился, и он заплакал.

Долго плакал он так, то рыдая, то всхлипывая, и слезы катились по его густой бороде...

Они вернулись в аул. Бугыбай держал поперек седла мертвого сына. Увидев ребенка с пустыми глазницами, мать вскрикнула, потом заголосила, царапая себе лицо руками в знак траура. Она причитала долго, распустив свои длинные, черные, тронутые сединой волосы, а под конец стала проклинать своего мужа. Она кричала: «Ты, проклятый, заставил меня вынести ребенка на улицу!.. Ягненок мой! Он не хотел выходить на улицу, хныкал и плакал. Ой-ой! У-у!»

Пока жена проклинала его, он вспомнил странный поступок известного охотника-батыра Малке. Заряжая ружье, тот случайным выстрелом убил своего ребенка, игравшего у порога, и не выронил потом ни слезинки. «Неужели я хуже Малке?!» — подумал Бугыбай и заорал на жену:

— Хватит тебе, жена, голосить, а не то выколю тебе глаза и будешь сыну напарницей!

В доме наступила тишина. Ее нарушили разговоры о происшедшем. Люди говорили о волчьих нравах и повадках, об их странной породе. Кто-то сказал, что это был волк-могильщик, кто-то — что оборотень. Нашелся человек, который утверждал, что это был бешеный волк. Ему возразили, что волки бесятся глубокой зимой, в период случки. Тогда только они нападают на человека и съедают его всего, за исключением ладоней и подошв, которые считают ядовитыми. Последним заговорил тот старик, весь белый-белый, который предсказывал Бугыбаю беду.

— Неужели вы не знаете, что волк прощает людям гибель своего щенка, но не прощает его плена?!— сказал он. — Волки с выколотыми глазами нападают иногда на своего обидчика, ничего не страшась. Это тоже надо бы вам знать!..

И тут только впервые пожалел Бугыбай о своем опрометчивом поступке. Но он молчал. С порога на него странными глазами смотрел волчонок...

*1976 г.*

## ОХОТНИК И ОРЕЛ

### I

Стояла глубокая осень. Уже выпал первый снег, когда Тагай решил еще раз поохотиться с Черным Вороном, беркутом, прозванным так за иссиня-черную окраску.

Он ехал по безлюдной бугристой степи, широко расстелившейся между горами и барханами. Показались солончаки. Тагай остановил коня и постучал по седлу. Приученный к подобной команде конь стал оправляться. В этот момент охотник увидел зайца — тот выскочил из кустов — длинноногий, крупный заяц из породы ор коянов. «Такого и скакун не догонит. Будет охота!»— порадовался Тагай и пустил беркута.

Черный Ворон полетел нехотя, лениво, покружился и, прицелившись, настиг жертву. Но как! Раньше он цепко впивался крепкими когтями в голову зверя, а тут просто сел на его хребет, беспомощно размахивая

рыхлыми крыльями. Заяц вдруг круто рванулся, и беркут от неожиданности неуклюже плюхнулся на землю.

Когда Тагай подъехал, Черный Ворон уже стоял на ногах, неуверенно покачиваясь, но при этом хорохорился и пыжился, как индюк.

Без добычи, уныло, Тагай возвращался домой. Всю дорогу вспоминал лихие годы Черного Ворона. Сколько затравлено было им лис и зайцев — не счесть. Ни с того ни с сего на ум пришла загадка: «Две лисы и три зайца — что бы это значило?» Немного подумав, Тагай довольно хихикнул: «Зайца не поймал, так хоть загадку разгадай!» Рассуждал он так: лиса выводит своих детенышей два раза в год, а заяц — три. Лису охотник травит после первого снега, когда ее шкура перелиняет, зайца же — в любое время. Выходит, от трусливого зайца проку больше, чем от хитроумной лисы. И еще припомнил Тагай, что первый заячий выводок называют «наурыз кужек» — «мартовские зайчата». Зайчонок взрослеет под снегом, и охотник обнаруживает его по облачку пара над снежным покровом. Летние и осенние выводки растут, естественно, уже без снежного покрывала. Позже, глубокой осенью, они ходят табунами. А тот самый «ор коян», которого не смог одолеть Черный Ворон, был из особой породы. Эти всегда ходят в одиночку, на свой страх и риск.

Но и они когда-то становились добычей Черного Ворона.

Тагай улыбнулся, вспоминая, как бывало, подъезжал он к аулу со связкой затравленных зайцев. Детвора шумно встречала его, а он каждому пацану дарил по зайцу:

— На, похвастайся перед матерью!

Грустно стало Тагаю. «Вот и ушло от меня навсегда охотничье счастье,— думалось ему,— и бугристая степь обернулась горбатой мачехой: не приласкает, не приголубит теперь». А еще горше и тоскливее становилось от мысли, что аульчане будут шушукаться и злословить: вот, мол, каким стал бывалый щедрый охотник.

Показался аул. Защемило сердце у Тагая. И бросил он в сердцах Черного Ворона на землю: «Старый беркут годится лишь для ловли мышей!»

Дома, рассказывая жене о случившемся, охотник почувствовал угрызения совести. Не слишком ли же-

стоко обошелся с Черным Вороном? Ведь столько лет тот служил ему верой и правдой. Тагай пытался убедить и себя, и жену, что поступил, хоть и сурово, но разумно: какой прок от беркута, который когда-то запросто травил лису, а теперь не может осилить и зайца?

Жена Тагая сетования мужа слушала вполуха, она не знала толка в ловчих птицах. Разве что о ястребе слышала в песне. Когда выходила замуж за Тагая, аульчане подшучивали — попался ястребок в сети охотника.

— Зачем тебе беркут? Завел бы лучше ястреба! — посоветовала она мужу.

Вот ведь, подумал он, жена охотника, а любопытства к его делу меньше, чем у других женщин. О них, этих женщинах, охотник вспоминает с благодарностью. Как быстро разносили они славу об его охотничьих победах по всему аулу! А бывало и так: одарит он лисьей шкурой встречную красавицу, а она в ответ бросит на него многообещающий взгляд...

От этих воспоминаний еще больше помрачнел Тагай. Вдруг мелькнула неожиданная мысль: «А и в женихиных словах иногда бывает толк! Поохочусь-ка я за орлом, да не простым, а горным!»

И стало на душе у Тагая молодо и весело.

## 2

Всю зиму мечтал Тагай об орле. По ночам снилось ему, как скачет он по степи, зазывая его охотничьим кличем — «к-ке-ке-ке!». И просыпался с думой о красавце-орле, что живет в пещере горы Келиншектау.

Так, в грезах и мечтаниях, прошла зима. Однажды его осенило: ведь можно раздобыть птенца! Где? Конечно, в пещере горы Келиншектау!

И в один из ясных дней ранней весны он поехал в горы.

Вот и Келиншектау показалась вдали, величественная и строгая. Каждая гора, казалось всегда Тагаю, несет в себе тайну. Людям испокон веку не терпелось раскрыть ее. Они создавали легенды, поверья, заставляя говорить веками молчавшие камни.

Тагай вспомнил легенду и о Келиншектау. Когда-то, в незапамятные времена, по цепи зубчатых гор шел верблюжий караван, возглавляемый келин — невест-

кой. Сильно тосковала она по родине своей и от тоски превратилась в камень. Поэтому и называли гору Келиншектау. Она и впрямь напоминает Тагаю застывшую в печали молодую прекрасную женщину.

Совсем уже близко Келиншектау. Таинственность и величавость ее постепенно исчезают, а вместе с ними и мысли о вечном. Охотничий азарт охватывает Тагая. Где-то здесь, в ущелье, орлица высиживала свои яйца, а сейчас, в начале апреля, птенцы-несмышленыши, еще не успев окрепнуть и опериться, сидят в своих теплых гнездах-колыбельках. Ради одного из них и пришел к подножию горы старый охотник. Это его, уже выросшего и окрепшего, видел он в ночных снах, о нем мечтал всю зиму...

Редко кто поднимался на вершину Келиншектау. Тагай решил взобраться на нее окольным путем. Он поехал через Ковыльный перевал, где наверх шла узкая, извилистая тропинка. Лошадь, выросшая в барханах, вряд ли сможет пройти по такой тропе — голова закружится, а вот привыкшая к горам — вскарабкается, как человек.

Под Тагаем был рыжий объезженный конь. Он шел, низко опустив голову, изредка спотыкаясь. Когда конь начинал хрипеть от усталости, Тагай вел его за уздечку. А самому ему и глянуть было страшно в бездонную пропасть. И это понятно, странно другое: когда он смотрел на вершины соседних гор, у него тоже кружилась голова. Ему было невдомек, что высота кружит голову сильнее, чем глухая пропасть.

Но как бы там ни было, Тагай добрался до вершины Келиншектау. Не слезая с коня, глядел он на гряду скал и вдруг над одной из них увидел орла, летящего с зайцем в когтях.

«Ага!— подумал Тагай. — Значит, орлиное гнездо на этой скале!» Тут ему вспомнилось предание о том, что в одной из скал Келиншектау есть чудо-пещера, где спрятан клад, оставленный китайскими завоевателями. Они отступали в суровую зиму и, чтобы добраться до этой пещеры и спрятать награбленное, забили тощих лошадей и из шкур сделали лестницу. Но никому не удалось проникнуть после в эту пещеру, ибо вход в нее охраняется могучим орлом.

Тагай не очень-то верил всяким преданиям. Но сейчас вдруг припомнил, что дед как-то рассказывал:

лунной ночью пещера как бы светится изнутри и свет этот излучают кости зверей, затравленных орлом.

Видимо, подумал охотник, в таинственной пещере и находится гнездо, и орел защищал своих детенышей. Хоть и понаслышке, он знал путь к этой неизведанной пещере и верил в удачу. Значит, он на верном пути! Тагай привязал коня к кусту жимолости, из ветвей которой степняки делают свирели. Ночью в степи часто можно слышать се протяжные, жалобные звуки — это конокрады подают друг другу сигналы. Люди говорят, что эти отчаянные воры не тронут в безлюдной степи охотника, напротив, поделятся с ним ужином, побеседуют и уйдут, не назвав себя.

Через некоторое время Тагай уже стоял на скале. Спуск в пещеру оказался неожиданно крутым. Надо бы привязать к поясу аркан, да его-то он и не догадался взять. «Какой я, однако, беспечный»,— посетовал он на себя.

Но делать было нечего. Тагай решил рискнуть и стал спускаться, цепляясь руками за кривые ветки шиповника, а ногами упираясь в острые камни.

Наконец, добравшись до пещеры, заглянул в нее сверху. Сердце его отчаянно забилось: так и есть — гнездо орла! Птенцы — их было трое,— увидев его, испуганно запищали. Тагай влез в пещеру, выбрал крапчатого — он показался ему самым крепким и смышленым,— спрятал его в рукав шекпена и выбрался наружу. Теперь он чувствовал себя уверенно: ведь взбираться на гору менее рискованно, чем спускаться с нее. Вскоре он был уже на вершине Келиншектау.

Стоял полдень. Ярко пылало солнце. Из долин уплывал туман. С вершины Тагаю были хорошо видны и северные, и южные отроги Каратау. Он припомнил обычаи людей, населяющих эти места: южанин, прежде чем выпустить перепела на драку, долго держит его в рукаве, приучая к духоте, а потом уже идет с ним в чайхану. И северянин тоже держит орлиного птенца в рукаве. Но есть между ними разница. В чайхане у южан делают ставки, и в результате кто-то выигрывает, а кто-то остается ни с чем. На севере же хозяин делится добычей своего питомца с каждым встречным и поперечным.

## 3

Крапчатый птенец, привезенный Тагаем из пещеры Келиншектау, все лето и осень держался на ногах довольно беспомощно. В такую пору орленка называют «урпек балапан» — то есть «желторотый птенец». Через год, когда крылья его окрепнут, но не настолько, чтобы летать, его будут называть «кызыл канат» — «краснокрылый».

Пришло, наконец, время, когда молодого орла с уже затвердевшими когтями можно было выпускать на травлю зверя.

И Тагай стал приучать своего питомца к охоте.

Прежде всего он придумал ему кличку Сарышегир — Желтый Дьявол. Охотнику казалось, что она очень подходит к внешнему виду птицы, повадкам и пронзительному, прямо-таки дьявольскому крику.

Однажды Тагай поймал зайца и решил потренировать на нем Желтого Дьявола. На ногу молодого хищника он надел кожаное кольцо и через него продел тонкий шелковый шнур. Посадив зайца на расстояние этого шнура, Тагай выпустил хищника. Желтый Дьявол рванулся к зайцу и с размаха цепко схватил его. Тот едва успел издать последний крик.

Сдирая с зайца шкуру, Тагай обнаружил, что хребет его сломан. Видимо, орел схватил зайца одновременно за голову и за хвост, а потом сжал, как пружину,— хребет и сломался. Но все равно, охотник был рад за своего питомца.

— Ура! Первая победа!— воскликнул он.

Но радость оказалась преждевременной. Как-то Тагай поехал на охоту. Он был уверен, что Желтый Дьявол, имея опыт, без промаха схватит зайца, вкус которого он уже однажды узнал.

Но случилось непредвиденное. Когда он подъезжал к солончакам, где в тот злополучный день Черный Ворон не смог одолеть ор кояна, как и тогда, из-за кустов выскочил крупный, длинноногий заяц. Не теряя ни минуты, Тагай подкинул орла. «Быть еще одной победе!»— заранее радовался он. Но орел взлетел лениво, не спеша, и, кружа словно игрушечный змей, стал уходить все выше и выше. Потом, набрав скорость, полетел в сторону Келиншектау и вскоре совсем исчез.

Всю обратную дорогу Тагай думал, почему же Желтый Дьявол так поступил? Может быть, он оказал-

ся еще недостаточно натренированным и не успел почувствовать в нем, Тагае, хозяина? Может, стосковался по родному гнезду? А может быть, разозлился на охотника, что тот надел на его ногу кольцо?

В конце концов Тагай пришел к выводу, что все дело в нем: видно, на роду у него написано быть таким невезучим.

Домой он приехал в мрачном расположении духа и обо всем, что случилось, рассказал жене.

Жена хоть и упрекнула его, но попыталась утешить: мол, всякая птица изменчива. Вот только ласточка, люди говорят, птица верная, даже на том свете оберегает грешников от адова огня, приносит воду на крыльях и опрыскивает ею страдальцев.

Тагай отмахнулся: мало ли что говорят, какое ему до этого дело? Для Тагая ласточка — не птица. Вот о сущности человека Тагай порассуждал бы. Он всегда был убежден, что человек, хоть и разумное животное, но часто бывает рабом своих страстей. Например, бай. На остове его юрты каждый день висит новая баранья голова, а он жаждет еще большего. Зачем? Хочет стать богаче, еще богаче! А в конце концов, рядясь в свои тулупы, он умирает от ожирения сердца раньше, чем охотник. Тот, как орел, долго может продержаться и на голодном пайке.

## 4

Прошел год, второй, третий, и Тагай постепенно смирился со своей сиротской охотничьей долей. Видать, судьба такая. А когда в год змеи джут лишил его всей живности, он окончательно решил стать оседлым — жатаком. Через каждые двенадцать лет повторяется этот год змеи и многих казахов делает оседлыми.

За лето смастерил он из глины хижину и приставил к ней двенадцатиостовую юрту. Хижину он поставил между двух зимовок, где испокон веку обитал бедный люд, в том числе и сородичи Тагая, родственники его жены.

Всю зиму Тагай жил в полном одиночестве. В минуты тоски и скуки уходил в степь, ставил ржавый, подаренный когда-то другом-охотником, капкан на волка. Волк, однако, ни разу не попался: Тагай, оказывается, плохо знал повадки этого зверя. Так что и на волка он оказался никудышным охотником. А тут еще кто-то

распустил слух, будто Тагай, прежде чем поставить капкан, колдует над аршинной ямой. Суеверные аульчане на всякий случай сторонились его, некоторые даже перестали здороваться.

Тагай забросил и это ремесло, не очень об этом сожалея. Ему все грезилась широкая, привольная степь, по которой он гонится вместе с орлом за лисой... Слышится ему победный клекот орла...

Былая слава охотника не давала покоя. Он мечтал вернуть ее во что бы то ни стало.

Для начала решил Тагай обзавестись хозяйством, раздобыть хотя бы клячу. Она, говорят в народе, хоть и не даст мужчине крылья, как скакун, но зато для ног — облегчение.

Все это так, но где взять деньги. Долго Тагай ломал голову, но выхода не находил. Помощи ждать неоткуда, кругом одна беднота.

И вот однажды осенила Тагая мысль: «А почему бы мне не навестить родственников моей матери? Джут их не тронул, живностью богаты, может, помогут,— подумал он. — В конце концов я ничего не теряю, кроме протертых подметок». Они давно перекочевали с севера из-за голода, который принес джут, и здесь, на юге, стали оседлыми. Теперь их больше кормит земля, чем скотина.

Жили родственники по ту сторону Каратау. И пошел Тагай, как говорится, за тридевять земель. Шел он дорогами, по которым когда-то кочевники гнали на базар скот. Места эти были ему хорошо знакомы, не раз прошел их вдоль и поперек.

Родственники не особенно возрадовались встрече, но и не чуждались пешего. Один из родичей даже обнял его и сказал:

— По тебе вижу, как страшен был джут, весть о котором дошла до нас.

Как повелевает традиция, один из родственников по материнской линии пригласил Тагая в гости.

Хозяин подал на дастархан полную миску жирного плова. Тагай попробовал, и пища показалась ему недурственной. Но очень удивился, когда увидел какую-то приправу вроде морковки.

— А это что? Не илан ли?— спросил он.

Хозяин объяснил гостю, что эта приправа называется сабиз, она придает пище сладковатый вкус.

Попробовав морковку, Тагай выплюнул ее с гримасой отвращения, да еще добавил:

— Горький наш илан лучше, чем ваш слащавый сабиз!

Подобное поведение гостя за дастарханом вызвало недоумение присутствующих, некоторые даже осудили его. Однако это не помешало им устроить сход накануне отъезда Тагая.

Сход состоялся на берегу речушки. Кругом все зеленело, тяжелыми волнами колыхалась кукуруза в поле, но особенно хороши были подсолнухи, похожие, отметил про себя Тагай, на узорчатое саукеле степной красавицы.

Такие сходы сеьеряне тоже устраивали в подобных случаях, только не на берегу реки, а на холме.

Среди шумного застолья Тагай вдруг затосковал. Он понимал, что собравшиеся на сход хотели помочь ему и толковали между собой именно об этом. Но так, будто резину тянули. Это было нестерпимым унижением для Тагая. Заломило, застучало в ушах...

Он встал, чтоб уйти. Но крикнул на него аксакал и заговорил не по-старчески звонким голосом, иносказательно и красиво, пересыпая речь пословицами и поговорками. Мудрый аксакал говорил: у джигита есть три родни — свои сородичи, они завистливы, родственники жены — придирчивы, но родственники по матери всегда милостивы.

— Так вот,— заключил аксакал,— мы должны подтвердить свое благородство. Выделим Тагаю мелкую живность.

Теребя сухими пальцами длинную, седую бороду, аксакал обошел всех присутствующих и определил каждому налог. На том и разошлись.

Один за другим приводили родственники во двор старейшине по овце, и скоро собралось небольшое стадо. Сам же аксакал подарил Тагаю темно-серого двухлетку.

— А где же камча?— спросил Тагай.

У старика камчи не оказалось, с ним была лишь длинная деревянная палка, чтоб отпугивать перепелок, клюющих созревшее просо.

Тут только Тагай сообразил, что вопрос его был неуместен: ведь камча подается только в том случае, когда конь проигран в споре.

...Тагай, весело посвистывая, гнал на молодом,

темно-сером коне маленькое стадо овец, как говорят степняки — «размером в созвездие». «Гонит пять козлов, а свистит на всю степь»,— вспомнил он пословицу и счастливо засмеялся.

Возвращение Тагая со столь богатым подарком было полной неожиданностью для сородичей. И когда все собрались у Тагая, он рассказал притчу аксакала, добавив от себя несколько язвительных слов, чтоб больнее уколоть своих родственников. Однако среди них нашелся один, который не преминул кольнуть в ответ:

— При чем тут родственники по матери? Бессовестный нищий бродяга у любого выклянчит милостыню!

А ведь и правда! Тагай не нашелся, что и ответить. Обидчик между тем хвастался, что пока Тагай побирался где-то, он собрал с полей дикое просо, переработал его и, пропустив через жернова, приготовил съедобную пищу.

— Могу угостить!— сказал он. — Вкуснота — аж слюнки потекут!

Тагай вспомнил юг, плов с морковной приправой.

— Разве может быть умным тот, у кого живот набит шелухой диких растений?!— не растерялся на этот раз и он.

## 5

Наступил год лошади, по казахскому календарю, обещающий людям благополучие.

Однажды жена говорит Тагаю:

— Поехал бы ты в степь, да поймал бы хоть филина! Раньше дома не сидел, словно мозоль на одном месте была, а теперь лежишь целые дни, как колода!

Тагай задумался. Поймать филина легче легкого. Погоняешь его верхом на лошади, и он, встревоженный, пролетит всего круга два — тут-то и хватай его прямо за ногу! Но на кой черт нужна эта лупоглазая птица? Правда, раньше ее перьями степные певцы украшали головной убор. Но ведь он-то, Тагай, не какой-нибудь певец чокнутый! И тут его осенило: бедная жена! Она верит басням о том, что перья филина помогают бесплодной женщине зачать ребенка!

— Ладно,— сказал он,— будет тебе филин!

И поехал в степь.

Вернулся он с филином, посадил его на старый,

потемневший от времени тугур[1] и долго любовался глазами птицы. Они огромны, томно-нежны, переливчаты, как у орла. «Нашел с кем сравнивать — с орлом! Ерунда какая-то!» — подумал Тагай. А жена между тем достала из старого, потрескавшегося сундука саукеле, в котором выходила замуж за Тагая, воткнула в него перья филина и пошла на зимовку, где жили ее свекровь и подружки, похвастаться. А те в глаза-то повосхищались ее пышным головным убором, но потом вволю посмеялись, мол, захотела баба девкой обернуться!

## 6

Тоскливо Тагаю дома. Совсем одолели воспоминания об удалых годах, когда он беззаботно и беспечно странствовал по раздольным степям. А ночью, проезжая мимо аула, запевал песню, давая знать жене, мол, живздоров, вернусь, когда затоскую по тебе.

Не сидится Тагаю дома. «Я же не сыч, чтоб летать по ночам, а днем прятаться в гнезде!» Сел на коня и поехал проведать того самого охотника, который в год бедствий подарил ему капкан. Кроме того, Тагаю не терпелось высказаться кому-нибудь по поводу своих намерений еще раз попытать счастья в охоте.

Вот и холм, за которым живет капканщик. Тагай повернул к роще, чтоб дать коняге пощипать уже пожелтевшую, но все еще густую траву.

Осень стояла солнечная, теплая. Вечерело. Пока конь подкреплялся, Тагай ходил по роще, прислушиваясь к шелесту опавших листьев. Вдруг где-то вверху раздался приглушенный звук, похожий на свист... Пригляделся и увидел — над ним парила крупная сизая птица!

Это был орел, да такой огромный, что от взмаха его крыльев и раздавался тот звук, похожий на свист.

Птица полетела дальше, а Тагай зачарованно следил за ней. Вот она облетела рощу и, заметив человека, закружилась над ним.

Тагай непроизвольно крикнул:

— Эй, поддайся на приманку!

Этими словами он когда-то пацаном «колдовал»

---

[1] Тугур — толстый шест, врытый в землю, на который сажают ловчую птицу.

куропаток. И глупые птицы прилетали на зов. Так казалось им, ребятам. На самом деле куропатки просто не пугались детских голосов и поэтому спокойно садились неподалеку. Тогда шла в ход короткая, упругая палка. Спрятавшись, малец-охотник прицеливался и подбивал ею доверчивых птиц.

О, Тагай хорошо помнит эти беззаботно-веселые детские забавы. Он улыбнулся воспоминаниям.

А орел между тем, покружившись, сел на утес, который называли Соколиным. Подступала темнота. Тагай знал — орел ночью не летает, он будет сидеть и дремать на этом утесе, пока не забрезжит рассвет.

Тагай повернул в аул. Всю дорогу он думал, как заманить орла. Он-то знал, этот хищник клюнет на любую дичь. «Стало быть, и любимчик моей жены сгодится для приманки!» А до перьев филина, соблазнивших наивную женщину, ему, охотнику Тагаю, дела нет!

Приехав домой, он сделал из старой сети огромный круг и привязал к нему длинный шелковый шнур. Получилось нечто вроде капкана. Уж теперь-то он поймает орла, сидящего на Соколином утесе!

Никому из соседей Тагай не сказал ни слова о предстоящей охоте. Зачем зря болтать? Да и мало ли что может орел выкинуть? Может ведь и не клюнуть на филина. А может и сеть не сработать. Вот посмеются над ним аульчане, если вернется с пустыми руками! Поэтому лучше помолчать до поры.

У подножия Соколиного утеса под ветвистой ивой Тагай ждал рассвета. Недалеко от него круг из сети, а в нем — филин. Верх круга был открыт. От него тянулся шнур, конец которого охотник крепко держал в руках.

Ночь отступала. И чем ярче светлело небо на востоке, тем сильнее разгорался в Тагае охотничий азарт. Он жаждал схватки, жаждал крови филина! Давно уж не испытывал он ничего подобного.

Наконец орел проснулся. Сейчас, если его не завлечь, улетит куда глаза глядят! Тагай торопливо разбудил дремавшего филина. Тот лениво зашевелился, и орел тут же почуял жертву. Он взлетел не спеша, покружил, прицелился и спокойно сел на свою жертву. Не мешкая, Тагай ловко дернул за конец шнура, хищник оказался в ловушке!

— Победа! — ликовал Тагай. Он побежал к сети.

Орел, отчаянно махая крыльями, кружил в ловушке, вихрем поднимая жалкие перья филина...

К полудню в юрту Тагая пришли аульчане. Они поздравляли его, хвалили за находчивость и смекалку. Польщенный Тагай совсем разошелся и не преминул слукавить:

— Желтый Дьявол, который улетел несколько лет назад, вернулся и сам сел на мою руку!

О чудо! Его шутка оказалась правдой! Однажды, сажая птицу на старый тугур, Тагай увидел на ее ноге кожаное кольцо, то самое, с которым улетел его Желтый Дьявол...

Радости Тагая не было конца.

## 7

Желтый Дьявол пребывал в том возрасте, когда орла называют «жана». Это самый зрелый период в жизни птицы. Впервые в ней пробуждается хищник, именно в этот момент надо приучать ее к охоте.

Первым делом Тагай зашил тонкой шелковой нитью веки орла, чтобы он забыл мир, свободу и стал послушным. «Ничего не поделаешь,— посочувствовал он своему питомцу.— Придется потерпеть». Через три дня он открыл веки орла и надел томагу — кожаный колпачок. Время от времени Тагай снимал колпачок и наблюдал за поведением хищника.

Наконец настал день, когда Желтый Дьявол стал послушным. Но этого было еще недостаточно, чтобы идти с орлом на охоту. Надо было еще натаскать его методом «ширга». Для этого Тагай надел на ногу Желтого Дьявола новое кожаное кольцо и прикрепил к нему длинный шелковый шнур, на этот раз покрепче да и понадежнее, и посадил орла на дерево. К другому дереву на расстоянии аркана была привязана лиса. Увидев лису, хищник стремглав бросился на нее. Первая удача! Потом вторая, третья! Число три — число надежное. Борец, как правило, борется трижды, только после этого становится победителем или побежденным.

После столь успешной охоты на лису можно травить и полевого зверя, решил Тагай.

Наступила осень. В один из еще заснеженных дней Тагай, взяв с собой несколько помощников, выехал на охоту.

Ехали стремя в стремя. Когда приблизились к высокому холму, разделились: Тагай с орлом направился к холму, а остальные, разбившись на две группы, пошли искать лису. Она обычно прячется среди камней, куда не ступают лошадиные копыта.

И вот с обеих сторон холма раздались крики, шум, гам: кто бил в кепчик — кожаную тарелку, кто кликал голосом, которым пугают архаров, кто играл на уране. Тревожный звук этого инструмента, похожего на трубу, особенно нравился Тагаю. В старину голос урана звал на бой с врагом. А сегодня им пугают хитрую лису.

Ошеломленная натиском диких звуков, из-под куста выскочила большая красная лисица. Тагай быстро снял томагу с орла, и тот, увидев зверя, широко расправил крылья и торжествующе закричал. Тагай запустил орла в небо, а сам поскакал вниз. Промчавшись вихрем версты две-три, он увидел своего орла, крепко вцепившегося в голову лисицы. Охотник еле оторвал хищника от жертвы и отбросил, как это принято, «на расстояние палки». Желтый Дьявол сел на землю и обиженно смотрел на хозяина своими зеленовато-желтыми глазами. «Будет толк!— воскликнул Тагай. — Теперь-то тебе от меня не уйти!»

Лисица была огромная, черногривая, в красной шкуре. Тагай тщательно потрепал ее и отрезал лапку ниже щиколотки — подарок самому молодому охотнику. Тот с благодарностью принял подарок и как талисман привязал его к кончику своего шарфа.

Тагай рдовался — вот и вернулись былые времена! Желтый Дьявол — надежный помощник, да и сам он охотник еще хоть куда! Аульчане не раз еще подивятся его удачливости. Так думал Тагай, возвращаясь со своими спутниками домой. Конь под ним часто фыркал, требуя ходу. Грудь его покрылась инеем, уши вспотели. В таких случаях, знает Тагай, нельзя отпускать коня пастись — можно испортить его желудок. Надо бы устроить ему разминку, а дома продержать голодным до рассвета.

Попрощавшись со спутниками, Тагай повернул к крайнему зимовью. Там жили родственники его жены — «придирчивые», как говорил аксакал. «Пусть придираются,— беззлобно подумал он,— ничего, что мои свояченицы любят подшутить надо мной». Тагай

припомнил, как, подсаживая его в седло, они обязательно потреплют полу его шекпена.

«Что ж, казах без шутки, без балагурства не обходится. Дай-ка, и я потешусь!» Он остановил коня посередине зимовья и громко крикнул:

— Эй вы, ленивые жатаки, небось вас клопы съели,— нет ни одной души на улице?!

И хотя крик его был слышен во многих домах, на улицу выскочил лишь один. Это был сверстник Тагая из рода жены. Он не на шутку разозлился.

— Ты, видать, обнаглел! Или твердишь намаз[1] перед заходом солнца?

А Тагай совсем раззадорился и добавил еще пару колких слов, от которых сородич еще больше взъерепенился. В сердцах он схватил в руки вилы, вскочил на неоседланную лошадь и погнался за Тагаем. А Тагай, удирая от преследователя, время от времени оглядываясь назад, бросал дразнящий клич:

— Ка-ка-ка!

Видя, что погоня бесполезна, родич остановил свою лошадь и что-то крикнул вдогонку обидчику. Но Тагай его не слышал. Ведь ему всего-навсего нужно было дать своему коню возможность размяться, что он и сделал!

Дома Тагай привязал взмыленного коня к столбу, отпустил подпругу, чтоб легче дышалось, и долго еще стоял рядом, держа на руках Желтого Дьявола.

## 8

Шли годы. Тагай изредка ездил на охоту, и Желтый Дьявол ни разу не дал осечки: без промаха бил красных лисиц и корсаков. Он был безупречно предан своему хозяину. Но иногда в поведении орла Тагай замечал нечто странное: все чаще и чаще он остро всматривался в ту сторону, где в манящей дали виднелась Келиншектау.

Тагай встревожился. «Неужели,— думал он,— этот Дьявол до сих пор помнит родное гнездо и своих братьев?» Охотник знал, что орлята, став взрослыми хищниками, не покидают горы, в пустыне им скучно. Знал он и гордый нрав орла. Он живет триста лет и не умирает своей смертью, а, одряхлев, кончает жизнь самоубийством: набирает огромную высоту и бросается на

[1] Намаз — молитва.

камни. «Но,— думал Тагай,— Желтый Дьявол не должен мне изменить и улететь к своим диким братьям. Ведь он вскормлен моими руками и привык клевать не какое попало мясо, а до белизны промытое».

И все же Тагай решил не спускать с орла глаз. Он стал замечать, что Желтый Дьявол, так непохожий на презренного Черного Ворона, смотрел иногда на своего хозяина слишком уж дерзко. А иной раз в его переливчатых глазах Тагай видел то тоску, то грусть, а то и угрозу. Вдруг зачирикает пискливо, будто сдерживает стон, и тогда в его горле что-то булькает, а упругая грудь непомерно расширяется.

Все это видела и жена Тагая. Порою она любовалась красавцем орлом, но все чаще он вызывал у нее неясный страх. И однажды она сказала мужу:

— Случится так, что этот Желтый Дьявол обернется для тебя бедой...

Тагай встревожился. Он, как и всякий охотник, был немного суеверен и слова жены воспринял как дурное пророчество. «Ох уж эти бабы!— думал он. — Иногда они предсказывают беду, как те колдуны, что накрывают себе голову черным платком, смотрят на сухую кость и видят то, что происходит за сто верст».

Как мы знаем, Тагай любил при случае порассуждать. Вот и теперь, озабоченный поведением орла и предсказанием жены, он размышлял об охоте. «Охота, как горячее железо, имеет два конца, о которые можно обжечься»,— думал Тагай. Например, печень лебедя лечит от многих болезней, однако в него не стреляют, иначе охотник сам когда-нибудь погибнет от стрелы. Сын Джучи-хана погнался за куланом и был раздавлен его копытами — так дикий осел отомстил охотнику. Змея опутывает своим хвостом гнездо жаворонка, и тот, чтобы спасти своих птенцов, отдает себя в жертву.

От болтливых и хвастливых дружков-охотников Тагай наслышался в свое время всяких поверий о ловчих птицах. Рассказывали, будто в древние времена водилась огромная птица самрук. От вихря, который поднимали крылья птицы, вздымалась земля. Тагай не очень-то верил этому, но соглашался с другой версией, которая утверждала, что самрук постепенно мельчал, и в конце концов в наследство от некогда громадной птицы нам остались беркут и орел.

Потомком самрука Тагай считал и Желтого Дьявола. Он не сомневался, что его орел может затравить и волка.

Хищнику с такой родословной это не в диковинку. Он помнил, что когда еще в детстве «колдовал» беспомощных куропаток, орлы с Келиншектау среди бела дня уносили в своих когтях ягненка, а то и целого барана.

А чем его орел хуже тех?

Тагай кстати вспомнил, что, говорят, будто между горами и барханами водится какой-то странный волк. О нем ходили самые невероятные слухи. В степи якобы незаметно подкрадывается к верблюду и тихонько начинает щекотать его в переднюю ногу, а когда тот сядет, волк вскакивает на него и грызет верблюду горб. По словам очевидца, этот же волк по ночам спускается в кошару, перегрызает горло овцам, а курдюки не трогает.

Волк настолько был хитер, что в ауле появлялся, лишь когда тот откочевывал и можно было не бояться преследования.

По слухам выходило, что этот волк очень коварен, мстителен и потому — опасен.

Обо всем этом Тагай знал, но свою задумку держал в тайне, не болтал попусту. Он терпеливо стал ждать, когда Желтый Дьявол окрепнет настолько, что станет непобедим и сможет взять неуловимого матерого волка.

И Тагай готовил орла к поединку.

Для начала он снял с его ног перчатки, чтоб когтям было просторно, затем посадил на лед, уложенный тальником, чтоб птица избавилась от ненужного жира. Через некоторое время, сняв орла со льда, пощупал среднюю часть ноги. Она была крепкой и упругой. Потом провел пальцем по груди, где, по его мнению, был лишний жирок, и дал орлу проглотить закопченную кошму размером с просяное зернышко, чтобы он этот жирок сбросил. Проглотив кошму, орел встрепенулся, глаза его расширились, он часто замигал и зачирикал звонко и чисто.

Желтый Дьявол был в ударе!

Тагай решил, что час большой охоты наступил...

Ехал он все по той же неровной, бугристой степи. В полдень она излучала бледно-желтоватый свет, и от этого зрелища чувство восторга захлестывало Тагая волной. Он тихо, чтоб не спугнуть вековую тишину, запел старинную песню об охотничьем счастье.

Когда Тагай повторял припев «Еу, игей-ай, игей!», в унисон песне дергалась его остроконечная бородка.

Долго он ехал по безлюдной степи. Орел был в кол-

пачке, ничего и никого не видел вокруг и только крепко, словно клещами, сжимал руку Тагая. Силу его когтей охотник чувствовал даже через кожаный рукав.

Он объехал всю степь, где якобы водился пресловутый волчище, но не только волка — никакой живности, кроме галок да ворон, не повстречал. «Что ж, видно, сегодня большой охоте не бывать»,— решил Тагай и повернул коня назад. Под ним был тот самый, когда-то темно-серый двухлетка, которого несколько лет тому назад Тагаю подарил его сородич. «Лошадь быстрее седеет, чем человек»,— подумал Тагай. Сколько же лет ныне белому коню? Это легко выяснить по зубам, которые вот сейчас жуют удила и, пожалуй, скажут, что конь еще не стар. Но больше занимал Тагая вопрос — повстречается ли ему тот матерый волк? Он жаждал его увидеть, а волк так до сих пор и не появился.

Тагай совсем повесил свой длиннющий нос и ехал молча с непонятной томительной тоской в сердце. Он считал дурным знамением, что, кажется, впервые в жизни возвращается домой с пустыми руками.

И вдруг он увидел волка! Вернее, не волка, а его уши. Надо сказать, что уши волка и выручают и предают его одновременно. Они чутко слышат звук издалека, но именно их прежде всего видит охотник.

И Тагай увидел волчьи уши. Какое-то время они торчали неподвижно, но потом двинулись с места. Тагай увидел, как волк не спеша побежал, сторожко оглядываясь на ходу. А бежал не спеша, потому что не видел опасности. Умный волк не станет зря силы тратить.

Надо торопиться, пока волк не почуял орла. Тагай снял с орла томагу — пусть увидит зверя. Теперь-то он пожалел, что поехал один, без помощников. Придется надеяться только на себя. Громко крикнув, Тагай подбросил Желтого Дьявола в воздух. Орел стремглав полетел, набирая высоту. А матерый волчище уже успел скрыться в густых зарослях шенгеля. Об эти заросли может разбиться любая хищная птица.

Тагай поправил на голове тымак из лисьего меха с желтым вельветовым верхом и пустил коня в сторону зарослей шенгеля.

Вдруг в небе раздался громкий крик, похожий, если судить по легендам, на крик древнего самрука.

Тагай посмотрел в ясное синее небо и увидел черную

точку, которая стремительно приближалась! И не успел он опомниться, как черная точка превратилась в Желтого Дьявола. Орел мчался прямо на него! Желтый Дьявол со всего маху ударил Тагая и замертво упал рядом.

Головки сапог всадника застряли в стременах, а сам он безжизненно свесился с седла...

Погиб Тагай, погиб и его хищный чародей.

Что же произошло, как могла случиться эта трагедия?

Оказывается, чересчур возбужденный предстоящей охотой, орел с высоты полета принял желтый тымак Тагая за лисицу и бросился на него. Хозяина он не разглядел, да если бы и распознал, все равно не смог бы удержать свой стремительный полет.

Белый конь понял все и поплелся в аул. Он шел медленно, изредка кивая на ходу сухощавой головой.

Он ткнулся мордой прямо в юрту хозяина и жалобно заржал.

Жена Тагая, увидев страшное зрелище, в ужасе запричитала:

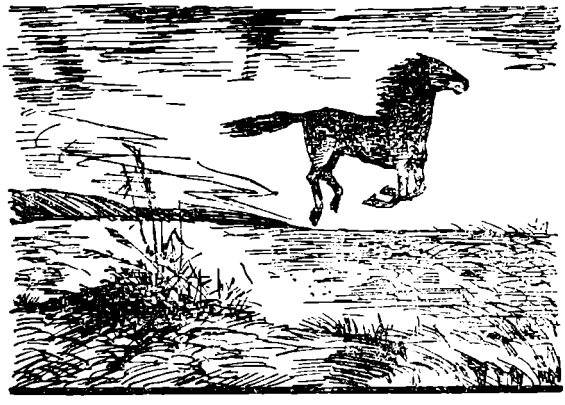
— Ойбай-ой! Ойбай-ой!!!

Плохая весть летит быстрее, чем весть добрая, и скоро юрта Тагая была полна народу. Жена погибшего, как того требовал обряд, исцарапала себе все лицо.

Эти царапины напоминали следы орлиных когтей...

Потом она, правда, сожалела, что так изуродовала себя. Но утешалась тем, что не было б конца пересудам родственников и всяких кумушек — вот, мол, не дорог был, видать, ей муж, раз пошла против традиций. И так камень лежал на ее сердце, ведь она сказала когда-то Тагаю: «Случится так, что этот Желтый Дьявол обернется для тебя бедой...»

*1976 г.*



*Абиш КЕКИЛЬБАЕВ*

# ПРИЗОВОЙ БЕГУНЕЦ

## I

Гнедой без труда узнал старого сеиса[1]. А тому даже в голову не пришло, что эта захудалая, искусанная аульными собаками и верблюжатами кляча с выдерганным хвостом и клочковатой гривой и есть бывший призовой бегунец. Сеис приехал на серо-пегом, поблескивающем гладким, бархатистым крупом жеребце-трехлетке. Жеребец шел развязно-грациозной рысью и остановился у белой юрты. Хозяин, спутывая лошадь, по давнишней привычке внимательно осмотрел, ощупал голени, волосяные щетки-пучки у копыт. В тени, вздрагивая, отчаянно отмахиваясь от мух и оводов, щелкал зубами громадный, черный, с пегими проплешинами, пес. Жужжащий рой, вьющийся над старой незажившей раной на тощем, ребристом боку пса, мог легко переметнуться на серо-пегого жеребца, и сеис отогнал собаку. А двух мальцов, которые увлеченно, забыв про все на свете, играли в асыки, предостерег: «Смотрите мне, чтоб к лошади — ни-ни. Лягается». По-

[1] Сеис — человек, занимающийся воспитанием скаковых лошадей.

том только переступил порог юрты. Хозяйка в длинном, до пят, жаулыке[1] сразу же взяла пузатый прокопченный чайник и направилась к жер-ошаку — продолговатой яме с котлом.

Теперь сеиса скоро не жди, догадался гнедой. Он снова потянулся к траве, но своими поредевшими, расшатанными зубами никак не мог ухватить жесткую полынь. Гнедой поднял голову, перед глазами мельтешило что-то оранжевое. Он тряхнул гривой, овод отстал, но вдруг кожу на крупе будто проткнули раскаленным шилом. Он вздрогнул; куцее, ощипанное охвостье беспомощно дернулось в воздухе. Этим овода не испугать. Гнедой, шалея от боли и горечи, взметнулся на дыбки. Только куда поскачешь? Может быть, к краю аула, к запруде, в которую машиной доставляют воду? Но там не подступиться: у железной колоды плотной стеной бестолково толкутся козлята и ягнята, да и драчливые годовалые верблюжата со всего аула пасутся рядом. А могут и бабы огреть чем попало — с досады. Можно было бы постоять возле фанерной лачуги, в тени, возле бочек с водой, но там улегся черный пес.

Кошма по низу юрты была откинута и сквозь решетку кереге на подушке гнедой увидел чисто, до синевы, выбритую голову сеиса. Его вдруг потянуло туда. Чтобы не раздражать людей гулким топотом, он не стал скакать, а засеменил к юрте мелко-мелко, хотя конопляные путы больно врезались в ноги. А серопегий жеребец стоял и ронял кругляши. Знакомый запах ударил гнедому в ноздри. Обычно так пахнет помет у лошадей, которых кормят пшеном и просом, а поят — молоком. Давно позабыл гнедой этот запах. С того самого дня, когда сеис натянул ему на морду грубую пропыленную торбу. Он тогда чуть не задохнулся; с непривычки щекотало в горле, кружилась голова. Дотронулся было губами — укололся о что-то острое, совсем не похожее на мягкое, медово-молочное просо. Тогда он стал мотать головой, стараясь сбросить противную холщовую торбу, но тщетно. Он заупрямился, несколько дней совсем не ел. Однако хозяин не снимал торбы. А теперь он мог только мечтать о том ячмене, который щекотно покалывал губы и всегда был смешан с пылью.

---

[1] Жаулык — женский головной убор.

Гнедой вприпрыжку приблизился к серо-пегому. Жеребец запрядал ушами, по его круглому упругому крупу прокатилась дрожь. Он повернулся и тихо заржал. Сеис глянул из-за решеток. Но и теперь не узнал призового бегунца. Зевнул, расстегнул ворот рубахи — проветриться, и опять ноздри гнедого уловили знакомый запах — тот, что однажды проник в его сознание и врезался навсегда.

...Тогда он еще ничего не знал о жизни. Помнится, что-то загремело, загрохотало вокруг. От резкого, неведомого еще ржанья едва не лопнули ушные перепонки. Он открыл глаза. И не понял, кто стоит над ним — кто-то большущий, с острыми, торчком, ушами. Этот кто-то, заботливо склонившись, облизывал, оглаживал его с головы до ног, а он все лежал, разнеженный и разморенный. Потом глянул вверх, и вдруг ощутил озноб. Ему увиделось нечто серое, в темных пятнах и разводах. Оно было такое беспредельное, что маленькие глаза жеребенка никак не могли его охватить. Он раза два качнулся, порываясь подняться; кто-то схватил и приподнял его за шею. Вокруг запахло резко, кисловато терпко. Он укрепился на ножках и пошел, пошатываясь, стараясь поспеть за четвероногими, спешащими куда-то. Догоняя их, он впервые осознал, что и сам относится к их вольному роду-племени. Потом догадался, что та из них, которая все время держалась рядом и нежно заботилась о нем, была его матерью. Скоро он уже безошибочно узнавал ее по выпуклым предплечьям, по сильным, в бугристых мышцах, ногам, гулко дробившим землю, по маленькому, с наперсток, белому пятну на левой передней ноге чуть повыше копыта.

Однажды, в отсутствие матери, он неожиданно постиг, что то серое и необъятное над ним было — небо, и еще он открыл для себя, что оно где-то бесконечно далеко, куда скачи — не доскачешь, и что оно не всегда серое и хмурое, но бывает и ясное, чистое, как прозрачная вода в озере, когда нестерпимо хочется пить. Понял он и кому принадлежит тот запах, который поразил его еще тогда, когда он лежал слабый, разморенный, а мать ласково облизывала его своим теплым, нежным языком.

Он научился не бояться этого запаха; напротив, когда случалось, что подолгу не слышал его — особенного, кисловато-терпкого, то, как и другие лошади,

потерянно оглядывался по сторонам, прядал ушами.

Пришла пора, когда он уже не бегал послушно за матерью, а отделялся от табуна вместе с такими же молодыми, игривыми стригунками. Это всегда злило старого гривастого красноглазого жеребца. В этом новом косяке не было того запаха, который стал таким привычным и родным. Они тосковали по нему, искали его... Однажды они увидели двух всадников, спускавшихся с серого бугра. У одного как-то особенно выдавалось плечо. Стригунки и мерины радостно заржали. Но ноздри их не уловили ничего желанного. Один всадник — на плече его висело нечто черное, размером поменьше торбы — потыкал пальцем в направлении каждого, словно прокалывая насквозь, что-то прокричал своему спутнику и мелкой рысью поехал дальше. Другой же, скособоченный, остался с ними. От этих двух отдавало чем-то неприятным, вроде спертого воздуха заболоченной старицы. К тому же их новый хозяин постоянно и безо всякой нужды визгливо покрикивал, чего прежний никогда себе не позволял. И чуть что — обжигающе хлестал по крупу. К счастью, гонял он их недолго. Как-то на пастбище появился человек с белой повязкой на глазу. Он подъехал к табунщику, показал ему маленькую бумажку. Тот, едва глянув, так и просиял лицом. Гнедой, по обыкновению, держался на отшибе и пасся в сторонке на лужайке. Вдруг что-то колючее обвилось вокруг его шеи, захлестнуло горло. Он рванулся, дернулся туда-сюда. Напрасно. Петля сдавила так, что он уже начал храпеть. А табунщик все ближе и ближе подтягивал его к себе чем-то черным и длинным, как змея. Потом резким движением ловко схватил его за уши и больно скрутил их. Гнедой громко заржал. Но тут ему на морду поспешили надеть недоуздок и повели к одноглазому, который все это время стоял в стороне, и внимательно наблюдал за ним. Незнакомец одной рукой взял повод, а другой стегнул камчой свою куцехвостую лошадку. Гнедой вздрогнул всем телом, лошадка же привычно тронулась с места.

Идя на поводу, гнедой то и дело оборачивался посмотреть на оставшийся позади табун. Испуганные его ржаньем, лошади сбились в тесный круг и, высоко задрав головы, встревоженно глядели ему вслед. Впереди табуна он увидел свою мать — приземистую гнедую кобылу. Он рванул повод недоуздка и снова гром-

ко, тоскливо заржал. Но тут он рассмотрел стоявшего у края косяка табунщика с кнутом, сразу умолк и послушно поплелся вперед. А куда вела его чалая лошадка, он не знал. Но что поделаешь, коли на тебя уже накинули недоуздок...

Дорога оказалась неблизкой. Не раз пришлось подниматься на крутые увалы. Чалый шел ровно, слегка враскачку, рысью. Гнедой тоже приспособился к поводу, только неотрывно следил за короткой палочкой в руке верхового с прикрепленной к ней пестрой плетеной веревкой. Но всадник ни разу не коснулся его плеткой. Прямо на пути попалась невысокая гора. Гнедой впервые ступал по камням; резкий скрежет и цокот отдавал в голову. С каждым шагом что-то мелкое и твердое больно секло его по брюху и ногам. Он осторожно опирался на еще неокрепшие, податливые копытца, стараясь идти след в след за тяжело поднимавшимся по склону чалым. Пастбище в горах было ровное, хотя и не такое мягкое, как там, в степи. Узкая тропинка нескончаемо тянулась вверх, обвивая горы и хребты. Когда миновали крутой утес, сбоку запестрела отара овец. Раньше гнедой встречался с ними только на водопое, где они обычно неуклюже толкались, плотно обступая колоды, и долго цедили тепловатую воду. Маленький пастушонок, увидев верхового, кинулся навстречу. За ним устремился низкорослый вислоухий конек. Гнедой остановился, уперся всеми четырьмя ножками, тревожно всхрапнул. Седок чалого гневно крикнул. Те, что бежали навстречу, застыли как вкопанные. Одному чалому до всего этого не было дела; спокойно ступал он ровным шагом по едва заметной, заросшей жесткой, почерневшей полынью тропинке. И когда они преодолели еще один перевал, то увидели две невзрачные, выцветшие на солнце юрты.

Возле юрт чалый круто остановился. Встал и гнедой. Одноглазый путник, спрыгнув, привязал его к вбитому в землю железному колу с кольцом на верхушке и зашел в юрту. Гнедой испуганно, с удивлением глядел на тонкий и такой хрупкий с виду кол, потом, напрягая шею, мотнул два раза головой — кол не поддавался. Тогда он крепко уперся ногами, натянул изо всех сил кол. И опять — никакого толку. Одноглазый не появлялся. Из юрты вышла женщина, повесила на треногу чайник. На гнедого она даже не взглянула и снова исчезла за пологом. Он снова попытался освобо-

диться, но все было впустую. Заныла шея, круп покрылся испариной. Ничего не оставалось делать, как лечь в изнеможении на землю.

Донесся звук шагов. Это шел маленький пастушонок, которого заметил гнедой у отары. Рядом с ним был низкорослый конек с висльми ушами. Гнедой вскочил. Из юрты вышел его новый хозяин. Гнедой всхрапнул, шарахнулся было, но тот опять властно прикрикнул. Потом, отвязав повод, стал медленно приближаться. А когда подошел вплотную, больно сжал ему челюсти, открыл пасть и с лязгом сунул меж зубов что-то твердое. Оно обожгло язык и губы. Морду и заушье хозяин крепко обтянул ремнями и, схватив за холку, рывком взобрался на спину. Казалось, в тело впились железные когти. Ничего не понимая, шалея от испуга, гнедой вздыбился, подался назад. И тут же его тяжело пнули под ребра. Он опять взвился. Бока его оказались крепко сжатыми, и он заплясал, силясь сбросить седока. А когда на мгновение застыл, чтобы перевести дыхание, то тяжелое, что с двух сторон стиснуло ему ребра, заскользило вдруг к брюху. Он снова поднялся на дыбы. И опять получил сильные удары в бока. Гнедой заржал — тонко, душераздирающе. Пот залил глаза. Еще раз рванулся, высоко вскидывая передние ноги, свечой вздыбился в небо, но человек, казалось, прирос к его спине. Тишина горного ущелья огласилась исступленным, оглушительным ржаньем. Однако никто не услышал и не ответил на его отчаянный зов. Кургузый чалый, стреноженный хозяином неподалеку, даже не поднял морды. И вдруг сильно, обжигающе хлестнуло по крупу. Тогда гнедой сорвался с места и понесся наметом, не видя дороги. Всадник стиснул его бока своими железными коленями и застыл, будто слился с ним. Теперь он не подгонял его пятками и не хлестал камчой.

Так гнедой скакал некоторое время. Потом сбился на рысь, и в тот же миг камча еще раз прошлась по его крупу, заставив снова перейти на намет. Он скакал с упрямством, ожесточением, ничего не видя от ярости. Летел вихрем, со злорадством думая, что умчит этого двуногого упрямца, впившегося в его спину, умчит далеко-далеко от аула, от кургузого чалого, от овец, пасущихся в горах. Удила раздирали гнедому губы, до этого не знавшие ничего, кроме мягкой травы, липкая кровавая пена падала с них хлопьями. Но он уже

не обращал на это внимания. Скакал и скакал — по горам, долинам, через лощины и ручьи. А сильные колени, железным обручем сдавившие бока, все не разжимались. Нет, не видать земле конца-края, а камни избили ноги, бока ходят тяжело, одолевает одышка. Гнедой начал сдавать, сбиваться на собачий скок. Сколько же дорог осталось позади? Только в сумерках кое-как доплелся он до аула. Ноги были тяжелыми, словно гнедой по колени утопал в вязкой глине. Голова отяжелела и невольно клонилась к земле.

Добравшись, наконец, до юрты, упал от усталости. Только глубокой ночью опомнился, пришел в себя и принялся грызть железный кол. Очень хотелось есть.

Наступил рассвет, взошло солнце и поднялось уже высоко, а к нему никто не подходил. Воздух накалился, запахло сухой полынью, горячим щебнем. И тогда только появился новый хозяин, потянул за кончик чембура. Гнедой не стал шарахаться, как вчера, не вырывался, а лишь дрожал всем телом и зорко следил за каждым движением хозяина. А тот был на этот раз еще суровее.

Дернул удила, сорвав только начавшую подсыхать корочку на ране у края губ. Гнедой сгорбился, присел. Грубая колючая кошма легла на нежную спину, привыкшую только к мягким прикосновениям ветра. Поверх потника навалилось что-то громоздкое, тяжелое и гремящее. Гнедой бросал на нового хозяина робкие взгляды и не увидел сочувствия на его лице. Хозяин встал к нему с левого бока и, держа зубами кончик подпруги, свитой из козьего волоса, сильно затянул ее. Гнедой стал подтянутым и легким, как гончий пес. Едва коснувшись ногой стремени, хозяин взлетел в седло. Пятигранная, из сыромятной кожи камча больно обожгла круп, и гнедой пустился мелкой рысью. Теперь он чутко улавливал каждое движение хозяина. Только к мелкому, суетливому движению овец, за которыми пришлось целый день ходить, долго не мог приноровиться. Случалось, рванется, забывшись, вперед, и овцы тут же окажутся у него под ногами. Сколько раз из-за этого хлестал его хозяин по морде. Первое время гнедой страшно уставал, от напряжения кружилась голова. Иные ночи простаивал он с путами на ногах, охваченный глубокой дремой. И снилось ему тогда далекое холмистое пастбище, где скакал на воле или пасся врассыпную родной косяк. Иногда косяк этот стлался

в неукротимом намете, и он среди многих лошадей узнавал приземистую гнедую кобылу — свою мать. Он жадно смотрел вслед табуну. Вихрем мчались кони вдаль по черному плоскогорью, оставляя за собой белый, как ременная тесьма, след пыли. Вот гладкие, лоснящиеся крупы исчезли за перевалом, и все погрузилось в белый туман. Гнедому казалось, что он задыхается от пыли. И тогда гнедой жалобно, надрывно ржал вслед табуну... От своего голоса он и просыпался. Вокруг было пустынно. Один кургузый чалый пасся неподалеку. Но он даже головы не поднимал, делая вид, будто вовсе и не слышал никакого ржанья, и все жевал свежую траву, словно боялся, что не успеет набить утробу.

## 2

Сколько времени гнедой пробыл в ауле чабанов, он не помнил. Постепенно привык к мелкой, суетливой походке овец. На бескрайних выпасах редко встретишь какого-нибудь коня; никто тебя не кусает, не лягает, не торопит. Летом всего вдоволь — и травы, и воды. А зимой тоже — зароешься мордой в скирду возле овчарни, да и хрумкаешь себе день и ночь. Однообразная, размеренная жизнь нравилась гнедому. Он подружился с вечно хмурым, сосредоточенным чабаном с белой повязкой на глазу, и с его тощим, беспрестанно кашляющим помощником, и с хозяйками двух юрт, и с многочисленными детьми. Даже с двумя собаками, сторожащими отару,— черно-пегим псом и длинной рыжей сукой,— установились добрые отношения. Когда чабан уходил в ночное, гнедой до утра свободно пасся на воле. Теперь, как и кургузый чалый, он научился оставаться спокойным, даже если мимо проносился косяк лошадей. Зато если замечал что-нибудь угрожающее овцам, то начинал сейчас же тревожно ржать, бить копытами, тереться об остов юрты. А вот как мчаться во весь опор, подставив грудь упругому ветру, он давно позабыл. Да и с чего помнить? Теперь разве что хозяйский мальчишка, постегивая прутиком по крупу, пускал его собачьим скоком.

Однажды летом чабанский аул перебрался на новое место. Вокруг была лишь бескрайняя степь и густые, высокие травы. Как-то чабан, напоив отару, возвращался домой. Порывистый ветер пригнул растущие побли-

зости кусты и донес оттуда мутящее душу зловоние. Гнедой запрядал ушами, зафыркал встревоженно, стараясь скорее уйти от этого места. Но хозяин властно повернул его как раз туда, где рос корявый черный боялыч. Что только не делал гнедой: отворачивал морду, закидывал голову, норовил свернуть в сторону. Чем ближе, тем сильнее становился запах. На острых уродливых сучьях боялыча клочками висела овечья шерсть. Хозяин круто повернул к аулу. Возле юрты гнедой увидел невзрачного рыжеволосого человека с холщовым мешком на плече. На привязи стоял длинноногий саврасый конь. Хозяин, едва спешившись, начал говорить о чем-то с приезжим. Говоря, он то и дело показывал в сторону кустов. Рыжий слушал, разинув рот. Потом они вошли в юрту и вскоре вернулись с соилами — березовыми дубинками. Оба вскочили на коней и быстро поскакали к зарослям боялыча. Только они въехали в кусты, как заметили крадущегося с другой стороны сивого зверя. Он полз на брюхе, намереваясь, видно, затаиться в густых зарослях, но, услышав перестук копыт, не выдержал, выскочил из кустов и припустил по ровной, открытой долине. Саврасый взыграл, встрепенулся. Рыжеволосый взмахнул камчой — и конь понесся вскачь. Гнедой же сбился с хода, заплясал на месте. Чабан огрел его плетью. Саврасый уже вихрем мчался впереди. А там, еще чуть дальше, мелькала среди рослой сочной полыни серая с подпалинами хребтина стремительно удалявшегося хищника. Гнедой, отвыкший от быстрого бега, чувствовал свинцовую, неодолимую тяжесть в теле. Даже сам цокот копыт, жесткий, как удар железного пестика о ступу, раздражал его. А саврасый между тем стлался у самого горизонта, казалось, всего в нескольких шагах от сивого зверя.

Путь ему преградил колючий, жесткий кустарник. Саврасый пошел в обход. Чабан пришпорил гнедого каблуками. Но тот теперь и без понуканий мчался вовсю. Ветер упруго бил в грудь. В ногах, еще недавно усталых, появилась пьянящая легкость. Вот и он поравнялся с зарослями боялыча. Вывернув из кустов, волк пошел напрямик, пытаясь скорее достигнуть чинков[1], ограничивающих это ровное и гладкое, распро-

[1] **Чинки** — крутые склоны меловых гор.

стершееся до самого горизонта выжженное зноем плато. Гнедой увидел цепь высоких, кряжистых гор. Волк повернул в ту сторону. Там он видел спасение. Саврасый остался далеко позади. Чтобы не надорвать легкие, не привыкшие к такой скачке, хозяин не понукал гнедого пятками, а лишь слегка зажал шенкеля. Гнедой еще плотнее прижал уши. Волк, казалось, стрелой летел над землей. И никогда еще, с самого рождения, так не горячился, не погружался в хмельной азарт бешеной скачки гнедой. Ветер свистел, завывал в ушах. Теперь гнедой уже ясно видел зверя. Тот не сбавлял темпа, но бока его то западали, то надувались, словно кузнечные мехи. Хозяин крепко зажал шенкеля. Под ушами гнедого выступил холодный пот. Совсем близко были обрывистые скалы, заросшие у подножья густым кустарником.

Хищник рванулся вперед с отчаянием обреченного. Но гнедой чувствовал: теперь тому ни за что не уйти. Он настиг зверя и, казалось, вот-вот раздавит его копытами. Волк затравленно обернулся, оскалил пасть, щелкнул зубами. И тут тяжелая, как чугун, дубина угодила ему в темя. Зверь отлетел в сторону, перевернулся и застыл, поджав под себя задние лапы. Разгоряченный гнедой проскочил мимо, резко остановился и повернул назад. Чабан спрыгнул с седла, вытащил длинный охотничий нож. А гнедой никак не мог успокоиться, все перебирал ногами, кружась вокруг хозяина, прижавшего коленями волчью тушу. Саврасый остался далеко позади и встретился им, когда хозяин, сняв шкуру и швырнув ее поперек седла, возвращался назад.

Рыжий на волчью шкуру и не глянул — стал с восхищением, во все глаза осматривать гнедого и до самого аула возбужденно тараторил, не умолкая ни на минуту. Даже чабан, всегда сумрачный, немногословный,— и тот повеселел. Дома гнедого обступили бабы и ребятишки. Прискакали и соседи из ближних аулов. На другой день у колодца только и разговоров было, что о гнедом. Рыжий долго толковал о чем-то с хозяином. Уезжая, гладил гнедому морду, пятерней расчесывал гриву. А гнедой после той бешеной погони несколько дней едва переставлял ноги: с непривычки ныли все суставы и мышцы.

Однажды под вечер сынишка чабана погнал гнедого к колодцу, потом дал попастись немного на лугу. Когда

они вернулись к юрте, то увидели на привязи чужую лошадь. Из юрты вышел хозяин с незнакомцем. Тот первым делом подошел к гнедому. Пощупал бабки, щетки, голени. Похлопал по губам. От рук его повеяло чем-то близким, почти забытым. Гнедой с удовольствием потянул ноздрями. И вдруг вспомнил то время, когда он был еще сосунком. Руки пахли детством. Приезжий что-то сказал чабану и рассмеялся. И голос был знакомым — хрипловатым, надтреснутым. Да, именно этот человек, и не кто другой, держал его, сосунка, на поводке и, помнится, все одергивал, потому что тогда ему никак не стоялось спокойно на месте. И первый запах, который проник в его сознание, тоже принадлежал этому человеку.

Вот как гнедой снова очутился у сеиса, готовившего скаковых бегунцов. На другой день рано утром тот выехал из чабанского аула, ведя гнедого на поводу. Проводить его вышли все жители. Даже обе собаки бежали рядом и отстали лишь у перевала. Гнедой то и дело оглядывался. Две маленькие юрты, смутно темнея, оставались там, далеко-далеко позади...

## 3

Юрта сеиса находилась у подножья обрыва, рассекающего цепь зубчатых гор. Где-то неясно шумела река. Рядом с юртой лежало небольшое пестрое поле. Скотину к нему не подпускали даже близко. Ночью оттуда тянуло вкусными, душистыми запахами пшеницы, проса, кукурузных листьев. Сеис теперь не ходил с куруком[1], как прежде. По утрам и после обеда, когда спадала жара, он брал кетмень и отправлялся на поле. За домом стояла на привязи кобыла игреневой масти; подергивал недоуздок такой же рыжий светлогривый жеребенок. Из-за решеток юрты, там, где кошма была приподнята, шел приятный кисловатый запах кобыльего молока.

В первый же день гнедого стреножили и отпустили пастись возле запруды у обрыва. С горы с грохотом несся бурный поток, берега были укреплены высоким валом. По обе его стороны поднималось густое ароматное разнотравье. Чем не житье: никто не седлает спозаранок, и за глупыми овцами не надо плестись. А главное — всего вволю: ешь-пей, сколько душе угодно.

---

[1] Курук — шест с петлей на конце для ловли лошадей

Сеис был худощав и ростом невелик. Маленькие серые глазки его постоянно улыбались, а говорил он тихо, степенно, точно каждое слово пробовал сначала на вкус. Походка его выглядела неторопливой, движения мягкими и плавными. И ладони были ласковые, хотя иногда целыми днями не выпускал из рук кетменя. Затвердевшие мозоли на руке не царапали, а щекотно гладили шею, круп, спину. Такой заботливый уход для гнедого был вначале непривычен. Особенно после аула чабанов. Там ему натерли седлом спину: рана только-только зарубцевалась, покрылась светлой шерстью. Он вздрагивал, едва лишь приближали к этому месту руку. Сеис на нем не ездил. Первым делом, как только он привел гнедого к себе, поплевал на раны и царапины и растер слюну. Потом прикладывал к коже какие-то травы и снадобья, и скоро все зажило. Сеис вообще почти не тревожил гнедого; осмотрит, ощупает раза два в день — вот и все. Гнедой совсем отошел, кожа на нем начала лосниться. Но только он стал было набирать жиру, сеис лишил его луговых трав, отвел в приземистую конюшню, как попало сложенную из дикого камня, и укрыл тяжеленной, очень теплой попоной. Несмотря на жару, укутал с головы до ног. Пот струился с гнедого ручьями, заливал ноздри, стекал по ногам. Казалось, тело заживо плавится. Сеис приносил в большой деревянной чашке белой очищенной кукурузы, однако, чтоб не переедал, протягивал ее горсточками на ладони. Потом начал кормить не сырой кукурузой, а слегка поджаренной — рыхлыми, белыми, воздушными хлопьями. Через несколько дней пот исчез, а кожа сделалась чуть липкой и влажной. Поили гнедого тоже понемногу — свежим молоком, слегка разбавленным тепловатой водой. Вечерами, посадив верхом мальчишку, сеис уводил гнедого к перевалу. Сам он взбирался на вершину холма и наблюдал оттуда, как гнедой, будто преследуемый бесами, скакал у подножья. Потом возвращались домой, но прежде чем поставить в конюшню, гнедого еще долго водили перед юртой, чтобы он постепенно остыл.

Теперь ему с тоской думалось о тех днях в чабанском ауле, когда можно было есть и пить, сколько хочешь. Стоя под тяжелой попоной, гнедой погружался в дрему. И тогда снились ему две серые юрты в горах и вьющийся тонкой струйкой дымок над ними. Черно-пегий пес и рыжая сучка радостно бегут ему навстре-

чу. А куцехвостый чалый, не подымая морды, знай себе похрустывает травкой...

В один из дней к Сеису приехали четверо всадников. Пока на дворе было жарко, они не выходили из юрты. Лишь по вечерней прохладе сели на коней и, окружив гнедого, направились к знакомому перевалу. Потом он опять скакал, а гости вместе с хозяином смотрели с холма. На плоской, как доска, равнине сиротливо стояло невысокое надмогильное сооружение с четырьмя башенками по углам. Вот до него он и должен был проскакать взад-вперед трижды. После того, как он сделал это, мальчишка-наездник перевел его на шаг, чтобы дать остыть. Гости горячо переговаривались о чем-то. Особенно шумел, кипятился, то и дело тыча себя кулаком в грудь, мужчина на саврасом коне. Потом все, как по команде, кинулись к гнедому и стали наперебой трепать его гриву. Потом изучающе, придирчиво ощупывать голени, щетки, копыта, подгрудок. Один, чуть отступив в сторону, нагнул голову так низко, что слетела шапка, и принялся осматривать брюхо и пах.

Дня через четыре один из гостей, растрепанный и взбудораженный, снова прискакал к юрте на саврасом. Не слезая с коня, вызвал сеиса на улицу, начал что-то быстро говорить, потом подъехал к гнедому, похлопал его по морде, погладил гриву и, не мешкая, поскакал назад.

На следующий день сеис посадил на гнедого мальчишку-наездника, и они отправились в путь. У подножья пологой горы стояло, ослепительно сверкая окнами, десятка полтора каменных домов. Остановились у здания с флагом на крыше, в тени которого собралась громко галдящая толпа. Сеис привязал гнедого к высокому гулкому столбу. Здесь же находился и рыжий малый — тот самый, что приезжал в чабанский аул, когда они ловили волка. Он подбежал к гнедому первым и, тыча в него пальцем, что-то затараторил. Старик, стоявший в сторонке, недоверчиво косился на рыжего. Потом с резким хлопком откупорил пузырек с насыбаем, ловко отсыпал на ноготь большого пальца щепотку, поднес попеременно к обеим ноздрям и, как бы выражая этим свое пренебрежение ко всеобщей суете, громко чихнул.

Вскоре сеис вышел из дома и повел гнедого к скот-

ному двору на окраине поселка. Здесь его нарядили — лучше некуда; круп приятно щекотала новая, мягкая, даже мягче, чем ладони сеиса, попона. После обеда человек пять верховых — среди них сеис и рыжий малый — выехали вместе с ним за поселок. Прохожие на улице и зеваки, отдыхающие в тени домов, удивленно таращили на них глаза, качали головами. Даже собаки, разомлевшие от зноя, и те забеспокоились, залаяли.

Уже в вечерних сумерках доехали они до красивого ущелья в горах. Вокруг расстилалось зеленое джайляу, кое-где перерезанное узкими речушками. На одном краю ущелья выстроились в ряд белые нарядные юрты. Народу тут было видимо-невидимо, и лошадей тоже немало. Какие-то люди выбежали навстречу и отвели гнедого на лужок подальше от юрт. Несколько человек во главе с сеисом не отходили от него всю ночь.

Наступило утро... На деревянный помост, обитый ярко-красной материей, поднялось человек десять. Вид у них был важный, а голову каждого украшала шляпа. Один из них подошел к краю помоста. Шум в толпе утих. Тот, что выдвинулся вперед, громадный смуглолицый мужчина в очках, держа в руке кипу бумаг и время от времени перелистывая их, загудел густым басом. У гнедого уже затекли ноги. А смуглолицый все продолжал говорить. Наконец толпа заволновалась и начала оглушительно хлопать в ладоши. Гнедой глянул на помост. Смуглолицый оторвался от бумаг, закинул голову и, поблескивая очками, что-то отрывисто выкрикивал. Гнедого охватило волнение, он стал нервно переминаться на месте. А толпа, словно обезумев, шумела и аплодировала.

На трибуну вышел другой человек. Так же уткнувшись в бумаги, не отрываясь, отбарабанил что-то, и опять толпа взорвалась яростными хлопками. Какая-то женщина с упавшим на плечи платком тоже начала было говорить, но сразу запнулась, должно быть, забыв слова, постояла растерянно, махнула рукой и быстро спустилась с трибуны. В толпе засмеялись. Очкастый, что говорил первым, снова вышел вперед и стал выкликать кого-то. Вызванные торопливо выходили на помост, пожимали очкастому руку. Тот прицепял им к груди что-то небольшое, с копытце жеребенка, круглое и блестящее, или совал в руки какие-то сверт-

ки. После этого они еще раз пожимали друг другу руки и, довольные, с улыбкой спускались вниз. От шума, суматохи и мельтешни у гнедого зарябило в глазах и закружилась голова. Он повернулся ноздрями к ветру, летящему из степи.

Собрание наконец-то закончилось. Верховые спешно уселись на коней. Толпа, суетясь и толкаясь, устремилась к равнине перед широким ущельем. Мальчишки наперегонки кинулись к ближней каменистой сопке. В одно мгновение сопка сделалась разноцветной от усеявшей ее малышни. Сеис посадил на гнедого мальчика-наездника и подвел к группе лошадей, сбившихся в кучку на зеленом пятачке неподалеку от толпы. На всех лошадях красовались такие же легкие и ловкие мальцы; головы их были туго повязаны платками. Рядом с каждым скакуном, держа его под уздцы, стояли старики и что-то нашептывали склонившимся к ним юным наездникам. Сердитый мужчина на сивом коне попросил стариков отойти в сторонку, скакунов отвел к восточной части бугра, где стояли люди с красными флажками. Гнедой растерянно осматривался вокруг.

Резко ударили во что-то железное. Задевая его стремена, лошади по обе стороны рванули вперед. Мальчик-наездник ударил в бока каблуками. Гнедой поскакал вслед за всеми. Конский топот наполнил окрестность гулом. Огромная людская толпа засвистела, заулюлюкала. Кони, вытягивая шеи, вовсю старались обойти друг друга. И только гнедому хотелось поотстать, чтобы скакать свободно. Голова его разламывалась, точно все эти копыта вокруг дробили не землю, а колотили его по темени. А тут еще мальчишка сильнее зажал шенкеля. Разве плохо здесь, позади? Что мальчишке нужно в окутанной удушливой пылью конской гуще?

Бок о бок неслись лошади. А гнедой все еще чувствовал непонятную скованность. Единственное, чего он желал,— чтобы белесое облачко пыли скорее рассеялось. Из-под копыт скачущих лошадей летели в морду песок, жесткие комки сухой глины. Глаза запорошило, все вокруг казалось серым и мутным. Даже небо, только что голубое-голубое, стало грязным и тусклым, будто вывалянная в пыли попона. Белесое облачко не рассеивалось. Мальчик обеспокоенно заерзал. Шенкеля сжались крепче. Снова мелькнул кто-то с красной тряпицей в руке. Он что-то громко крикнул мальчишке.

Тот склонился и мягкой тряпочкой вытер гнедому глаза. И сразу стало видно, что тесная кучка коней растянулась. Теперь участники байги скакали группками — по двое — по трое. Рассеялось и пыльное облако, недавно еще похожее на грязный клок шерсти. За каждой группкой вился белый воздушный шлейф. Воздух стал чище, дышалось свободней. А вот уже и он — этот пестрый, будто шевелящийся от множества людей холм. Заканчивался первый круг.

При появлении каждого скакуна толпа свистела, кричала, размахивала руками. Гнедой увидел сеиса верхом на сером коне. Ему захотелось повернуть к сеису, но мальчишка-наездник не позволил. Сеис коротко выкрикнул что-то вслед. В толпе — хохот, свист. Однажды, когда гнедой еще жил у чабана, его впрягли крутить водяное колесо вместо куцехвостого чалого, который поранил ногу; но и тогда у него так не кружилась голова, как сейчас. Пестрая орущая толпа осталась позади. Эх, порезвиться бы всласть на просторе, как в тот раз, когда гонялся за волком!

Мальчишка сжимает шенкеля, отпускает повод, просит, умоляет: «Быстрее! Быстрее!»

Кончился и второй круг. Гнедой стал, наконец, настигать четверку лошадей и у подножья холма обогнал их. Справа — по-прежнему кипела, бесновалась толпа. Впереди скакали две караковые лошади. Вихрем подлетел гнедой к ним с подветренной стороны, а те, соперничая между собой, толком и не заметили его. Теперь он скакал один. За ушами появилась испарина. Вот-вот выступит по всему телу облегчающий пот. И вдруг впереди снова заклубилась пыль. Мальчик опять вытер гнедому глаза. Три скакуна, распластавшись над землей, мчались впереди. Гнедой обошел их. Тяжесть в теле быстро исчезла. Он уже будто и не скакал, а плыл по воздуху, легко перебирая ногами. Смотреть по сторонам гнедому было некогда. Все краски вокруг сливались, и перед глазами мелькали только цветные полосы. Желтая... Голубая... Темно-коричневая... Пестрая земля стремительно уносилась под ноги. Вскоре он уловил взглядом промелькувшее справа рыжее пятнышко, а в уши ударил слитный гул людских голосов. Кончался третий круг. Гнедой увидел: почти у горизонта двигались две темные точки. Но он не старался непременно нагнать их. Просто наслаждался легким парением, послушностью мускулов своего моло-

дого, упругого тела. Ничего больше не надо, кроме этого бескрайнего раздолья, да ласкового шелкового ветра, да глотков чистого, прозрачного степного воздуха. Он еще жеребенком любил стремительный бег. Но за время унылой жизни в чабанском ауле едва не забыл про эту свою прирожденную страсть, такую же неодолимую, как желание пить, когда мучит жажда, и есть, когда голоден. Потребность в возбуждающих, горячащих кровь скачках едва совсем не угасла в нем. Ее разбудил тот самый матерый волк, посланный ему судьбой. Гнедой услышал дробный перестук: цок-цок-цок-цок... Он не знал, что это за звук. То ли цокот копыт, выбивающих гулкую дробь, то ли биение сердца.

А мальчишка-наездник, видно, был доволен вполне: сидит — не шелохнется. Вот и половина четвертого круга. Топота сзади не было слышно. Гнедой чувствовал — он далеко оторвался от остальных скакунов. А до тех двух лошадей, скачущих впереди, было все еще не близко. Однако расстояние позволяло уже различить их и даже определить масть: первой шла караковая, вторая была посветлее — не то чалая, не то сивая. Но вот они уже совсем рядом. С холма доносился неясный гул. Караковая сделала рывок — ее преследовательница отстала на длину крупа. Холм всколыхнулся и взревел. Мальчишки на передних скакунах победно подняли камчи, вихрем пронеслись мимо тех, кто стоял с красными флажками! Гнедой отстал от второй лошади всего лишь на полкорпуса. Наездники натянули поводья, но разгоряченные кони, не в силах остановиться сразу, перешли на рысь, на трусцу и только потом — на шаг. Караковая и чалая направились к холму, откуда брали старт. А гнедой все топтался на месте, переминался с ноги на ногу, не решаясь приблизиться к колышущейся стене — орущей, гикающей, свистящей. К нему, торжествующе размахивая руками, прискакали рыжий малый и сеис. Они взяли его с двух сторон за чембур и повели к холму.

## 4

Весть о том, что в первой в своей жизни байге гнедой пришел третьим, долетела до аула намного раньше их возвращения. Едва они поднялись на перевал, с которого хорошо был виден аул, возле конторы собрались люди. Когда же конные приблизились, все побежали навстречу, разглядывая гнедого — жадно,

блестящими от восхищения глазами. Рыжий малый, подгоняя своего саврасого каблуками, выехал вперед. Стянув с головы шляпу, покрытую дорожной пылью, размахивая зажатой в руке камчой, громко, хвастливо затараторил. В толпе разинули рты. Овод в глотку залетит — не заметят. А у гнедого ныла спина, и от усталости он неловко переступал ногами. Сеис дал приятелям понять, что задерживаться некогда, пора домой. Он тронул коня, а поселковские еще долго глядели гнедому вслед, будто копыта его были золотыми. Из конторы вышли человек шесть в шляпах и сели на коней. Рыжий малый поскакал по улице в другой конец аула.

Сеис, сопровождаемый верховыми в шляпах, направился домой. Когда они подъезжали к одинокой юрте сеиса, на вершине перевала промелькнул и саврасый. Люди спешились, привязали коней к коновязи, и в это время прискакал рыжий малый. Он спрыгнул с лошади, осторожно снял с седла мешок, в котором что-то звякало, и передал мальчику-наезднику, чтобы тот отнес его в юрту. А там царило необычное оживление. Радостным восклицаниям не было конца. Гнедой остался на привязи среди остальных лошадей. Гости громко хохотали. Было слышно, как мешали шумовкой кумыс в бурдюке, и вслед за этим из-за приподнятого полога донеслись терпкие волны хмельного.

Пузатый почерневший чайник повис на треноге. Пока гости беседовали, мальчик-наездник побежал в гору. Распугивая ягнят и козлят, лежавших в холодке, поймал кругленького ягненка раннего окота с уже затвердевшими, шероховатыми рожками и поволок его к юрте.

Ягненка быстро разделали и опустили в казан. Чай из черного чайника выпили, дастархан убрали. Из юрты донеслось неясное бормотание домбры. Только тогда гнедого отвязали, сняли седло и, укрыв легкой попоной, отпустили пастись в ближних зарослях чия. Там, на месте байги, он два дня стоял на выстойке. Теперь же избавился от суеты и мог в тишине вдоволь пощипать свежей травы. На другом краю чиевых зарослей, у самого входа в ущелье, зафыркала лошадь. Потом послышалось тонкое ржанье игреневого жеребенка. Гнедой, пощипывая на ходу травку, направился в сторону журчащего арыка. Игреневая кобыла сеиса паслась в тени под утесом. Заметив его, она тоже

обрадовалась и, шурша щебнем и галькой, пошла ему навстречу. Жеребенок надоедливо тыкался мордой в пах, явно мешал ей, и кобыла резко обернулась. Подойдя к гнедому, прижалась головой к его брюху.

С тех пор, как гнедого отлучили от табуна, ему не приходилось стоять так близко к лошади. Куцехвостый чалый не подходил никогда. И у сеиса не водил он дружбы ни с кем — или стоял все время на привязи, или мальчишка-жокей гонял его по холмам. Игреневую кобылу он видел каждый день, но как-то так получилось, что вместе они оказались впервые. Отгоняя оводов, она касалась его своими мягкими, теплыми губами, и от этих прикосновений он слабел, подкашивались ноги; непонятная, неизведанная дрожь пронизывала все существо.

В последнее время, должно быть, и сеис заметил что-то неладное. Кобылицу стал выпускать подальше, а гнедого старался держать в чиевых зарослях поблизости от юрты. Лишили его прежней воли. Изредка гнедой поднимал голову, вытягивал морду навстречу ветру, надеясь уловить знакомые пьянящие запахи. А сеис, видно, следил за ним и все примечал. Однажды он сел на своего коня, а гнедого повел на чембуре. Приехали они в аул табунщика, с которым сеис долго говорил о чем-то. К обеду он отправился назад, а гнедого отвел в здешний табун. Несколько дней гнедой держался особняком, но когда табун мчался на водопой, он подстраивался к нему и непременно оказывался впереди. И опять земля проносилась, уплывала под ноги разноцветными — желтыми, черными, голубыми полосами. А за ним гулко били о землю копытами кони. И чем сильнее слышен был этот топот, тем азартнее предавался он бегу, плотнее прижимал уши.

Вскоре табун привык к нему. Сначала вокруг него стали толпиться жеребята, потом подходили и зрелые кобылицы. Тогда на них гневно фыркал издали большеголовый чалый жеребец. Молодняк тотчас отскакивал от гнедого, а степенные, самоуверенные кобылицы не очень-то пугались грозных предостережений табунного вожака. Разъяренный, он мчался к непокорным. Гнедой, которому раньше не приходилось биться с себе подобными, сразу отступал. Жеребец его не преследовал, только сердито храпел и водворял кобылиц на место. Гнедого одолевала робость пастушьей лошадки, и он не решался драться с чалым, как подобает истин-

ному жеребцу. Догадавшись об этом, табунщик оставлял его в сторонке с двумя-тремя кобылами. Однако стоило вожаку призывно, зычно заржать, как он сразу же лишался своих подруг.

Дни проходили за днями. Все ему надоело: и дробный перестук копыт, и храп, и фырканье. Он затосковал по уединенной, спокойной жизни. Соскучился по мягким ладоням, так приятно поглаживавшим его бока и гриву. Все чаще вспоминал он о прозрачной воде, душистых травах, о свежем прохладном ветре в горах. И еще — хотелось увидеть игреневую кобылу сеиса. Однажды табун пасся на лугу. Жеребец-вожак забрел в густой курак, обильно росший на дне старой ямы. А гнедой очутился наедине с кобылой-трехлеткой. С хрустом уминая сонный курак, она подходила все ближе. Головы их встретились. Кобыла, делая вид, будто тянется к траве, коснулась его губами. Они у нее тоже были мягкие и теплые. Круп ее так же лоснился, как у игреневой красавицы сеиса. Гнедой осторожно дотронулся до ее холки. Кобыла показала ему зубы, фыркнула негромко и продолжала пощипывать траву. Гнедой дотянулся до ее шелковистого крупа, да так и застыл, положив на него голову. Тогда кобылка оторвалась от курака и потерлась о его гриву. Но тут же отпрянула в сторону. Рядом стоял чалый жеребец и сердито фыркал, гневно сверкая глазами.

С тех пор из всего табуна гнедой постоянно искал только сивую трехлетку. Она тоже тянулась к нему. Стоило отвернуться чалому, как она тут же оказывалась возле гнедого. Бывало, жеребцы и лягались, и кусали друг друга, но до серьезной схватки дело не доходило.

Прошло лето. Теперь гнедой уже не слишком робел перед чалым. К сивой кобыле подходил не таясь. Чалый весь кипел от злобы. Наконец взаимная неприязнь достигла предела. Вожак стал без меры подозрительным и вздорным. Днем и ночью он хрипло ржал. Иной раз затевал драку даже с жеребятами и стригунками. А как-то чуть было не загрыз сивую кобылку, когда она мирно стояла у колоды с водой. Гнедой услышал отчаянное ржание, не выдержал. Грудью растолкав столпившихся у поилки лошадей, ринулся к чалому, вцепился ему в холку. А когда разжал зубы — во рту остался пучок волос. Чалый ответил тем же. Гнедой встал на дыбы, сильно лягнул соперника в бок. Тот разжал челюсти но, ловко увернувшись, напал

снова. Гнедой отчаянным рывком задрал голову и резко ударил ею вожака в челюсть. Но тут раздался громкий окрик табунщика. Он подскочил к ним, размахивая бадьей, которой доставал из колодца воду, но вконец рассвирепевший гнедой уже ничего не видел. Чалого жеребца, которого табунщик бил по крупу тяжелой бадьей, он напоследок еще раз сильно укусил в охвостье. Обычно добродушный и невозмутимый, сейчас гнедой осатанел от боли и ярости, дрожал всем телом и даже не заметил, как подъехали сеис и рыжий малый на саврасом коне. Рыжий, увидев раны на его теле, вдруг вышел из себя, стал визгливо кричать, махать руками и несколько раз показал стоявшему у колодца табунщику кулак. Сеис же сохранял спокойствие. Он даже улыбался, растянув рот до ушей, словно был очень обрадован происшедшим. Гнедой ушел из косяка обиженный и злой. Идя на поводу у сеиса, угрожающе глянул на прощание на чалого жеребца.

Целых два долгих месяца готовил его сеис к скачкам. Два месяца не знали покоя ни гнедой, ни мальчишка-наездник. Один за другим приезжали люди, интересовались, как идут дела. Сеис выхаживал его не в одиночку, как прежде, а держал в общей конюшне, иногда даже выводил из стойла и отпускал вместе с остальными лошадьми. Теперь гнедого уже не тянуло, как раньше, к другим четвероногим, наоборот, стало раздражать, когда рядом оказывались другие лошади. И если случались драки, сеис не отгонял забияк, не бросался на выручку, а только довольно улыбался и щурил узкие серые глаза.

Выгоревший от летнего солнца флаг на крыше конторы сняли, на его месте появилось новое ярко-красное полотнище. Подновили и покрасили соседние дома. В селе стало многолюдно. В один из таких суматошных дней в конюшню заглянул рыжий малый. С ним были две женщины. Они осмотрели гнедого и уселись на ворох соломы в углу. Рыжий вытащил из-за пазухи блестящую материю. Женщины начали что-то шить. Потом рыжий сам укрыл его новой, сверкающей попоной. Походил важно вокруг, мысленно прикидывая что-то.

Наутро гнедого вывели на улицу в сопровождении свиты. Держал его на поводу сам рыжий, на голове которого вместо старой плоской шляпы красовалась круглая шапка, отороченная каракулем. Одет он был

во все новое. И неизменный черный холщовый мешок не болтался на нем как попало, а аккуратно висел сбоку. Чтобы все видели плетенную из пяти полос сыромятины камчу с блестящим медным кольцом и с яркой кисточкой, он небрежно помахивал ею в воздухе, не касаясь крупа саврасого.

К вечеру они прибыли в маленький белый городок, неожиданно вынырнувший меж двух гор. Городок был украшен по-праздничному — на каждом доме алели флаги. Скачки начались на другой день в полдень. С восточной стороны города тянулся крутой яр, а между окраинными домами и яром лежала открытая равнина. Когда лошадей привели сюда, зрители уже были в сборе. Скаковых лошадей стали выводить на середину. Сеис тоже повел гнедого в круг.

Ударил колокол. Гнедой с ходу было вырвался вперед, но мальчишка-наездник сдерживал его. Бегунцы, шедшие пока что кучкой, как стрелы, со свистом, обтекали гнедого. Осенняя выцветшая степь гулко застонала под их копытами. Взметнулась пыль. Чей-то белый бегунец падучей звездой вынесся из бурой завесы. В следующей за ним группе скакал и гнедой, недобро косясь на мелькавшие слева и справа голенастые ноги. Промелькнул второй контрольный пункт. Но мальчишка был спокоен и не отпускал повода. Гнедой тоже чересчур не напрягался. Еще две лошади обошли его. Головная горстка бегунцов под гул толпы мчалась к месту старта. Мальчик-наездник не подгонял и не менял темпа. Еще несколько коней, обдавая пылью, пронеслись мимо. Гнедой прижал было уши, чтобы обойти скачущих впереди, но мальчик крепко держал повод. Сегодня он что-то был чересчур спокоен. Когда головной сивый пронесся мимо толпы, окрестность огласилась дружным ревом. Других лошадей приветствовали по-иному. Рев стихал, превращаясь в разноголосый гул. Мальчик не шелохнулся. А гнедой уже не мог сдерживаться. Головная горстка лошадей тоже растянулась. Гнедой почувствовал едва заметное движение ног наездника и прибавил прыти. Скоро он снова шел среди первых. Впереди него осталось бегунцов шесть. Они шли бодро и, казалось, совсем не чувствовали усталости. Замкнулся третий круг. Заметив, что светло-серый скакун отстает от сивого всего лишь на полкорпуса, зрители заволновались пуще прежнего. Крики слились в сплошной гул. Он подей-

ствовал на светло-серого воодушевляюще. Бег его стал стремительней, а болельщики на холме, казалось, и вовсе ошалели. Дистанция скачек была огромная, и многие бегунцы выдохлись уже после третьего круга. Некоторые сошли с пути еще раньше, и теперь спокойно паслись на обочине. Другие еще бежали — просто так, по инерции, уже вовсе ни на что не надеясь. Мальчишка-наездник начал ерзать в седле. Гнедой понял это как сигнал. И если до этого он мог различать каждый кустик, каждый камешек окрест, то теперь все привычно превратилось в одну уносящуюся назад бесконечную полосу. Промелькнул очередной контрольный пункт. Из глаз покатились слезы. Мальчишка вовремя смахнул их платком. На расстоянии примерно трех лошадиных корпусов несся саврасый со звездочкой на лбу. Еще дальше — сивый скакун. А перед ними пылил светло-серый. Гнедого никто не преследовал. Вот он уже догнал саврасого, распластавшегося в намете. С боку хлестко бил ветер. Гнедой наддал еще... Пошел шестой круг. Две лошади впереди отдалились на большое расстояние. Сивый скакун, долгое время державший первенство, казалось, растянул жилы. Судя по всему, бегунец этот был опытным. Он хотя и пропустил светло-серого, виду не подал, скакал ровно, ни разу не сбившись с ритма. Вот он вновь вплотную подошел к светло-серому. Их яростное соперничество придало гнедому прыти. Все вокруг поплыло, как в тумане; орущие, вопящие голоса все усиливались, нарастали. Начался седьмой круг. Как ни трудно было, гнедой старался в этом большом калейдоскопе не потерять из виду двух лидеров, скакавших сейчас бок в бок. Но вот сивый рывком вырвался вперед, оставив светло-серого в хвосте. Ветер так сильно толкал в грудь, что гнедого невольно сбивало в сторону. Но расстояние между ним и теми резко сократилось. В глазах поплыл туман; мальчик опять дотянулся до них платочком. И — о чудо!— тех бегунцов как не бывало. Один, один летел он, не чуя под собою ног! Только бы оторваться от преследователей! Он ощутил холодную испарину за ушами. Вот уже и холм. Гнедого вдруг обуял страх, словно не лошади гнались за ним, а лютые волки. На холме неистово кричали люди. Пулей пронесся гнедой мимо тех, с красными флажками!

Мальчик отъехал в сторону, чтобы дать гнедому

опомниться и остыть, но восторженная толпа хлынула к нему. Верховые мигом окружили гнедого, преграждая путь ошалевшим болельщикам. Гнедой не знал, чего от него хотят, однако совсем не чувствовал той робости, какую испытывал прежде. Крики и шум не раздражали, более того — происходящее вроде бы даже нравилось ему. Маленькая машина, битком набитая людьми, резко затормозила возле гнедого. Из нее выскочили люди. Прыткий человек с узкой щеточкой усиков, держа в руках какую-то черную коробочку с блестящим стеклянным глазком, забегал вокруг. Остальные окружили мальчика-наездника. Тот растерялся, повернулся к толпе, кому-то крикнул. Рыжий малый, держа сеиса за руку, спешил к нему. Обладатель маленьких усиков оказался тут как тут, подал конец поводка рыжему и стал бесцеремонно отталкивать остальных. Потом сам отступил назад и наставил блестящий глазок на рыжего, держащего за повод призового скакуна. Потом на место рыжего встал сеис. Он был явно взволнован. Уши его пылали огнем, сеис, улыбаясь, оглядывался по сторонам. Мальчишку-наездника попросили слезть. А на скакуна, тяжело кряхтя, кое-как взгромоздился поддерживаемый четырьмя джигитами дюжий толстобрюхий детина с большими очками-блюдцами на носу. Фотограф услужливо щелкнул затвором фотоаппарата. Затем кто-то из мужчин подсадил стриженую молодуху. И опять блеснул глазок. Один за другим все, кто приехал на машине, попеременно садились на гнедого. И каждый раз щелкала черная коробочка. Гнедому стало скучно. Переступая с ноги на ногу, повернулся к сеису, негромко фыркнул.

## 5

Пожалуй, не было человека, который не радовался бы тому, что гнедой пришел в байге первым. Кто и не видел скачек, и те любовались им. А радость рыжего вообще не знала предела. Однажды он прилетел к сеису как на крыльях, еще издали крича и размахивая чем-то белым. Спешившись, тут же развернул большую, с потник, пеструю бумагу и, тыча в нее пальцем, возбужденно забалаболил. Глаза сеиса тоже заблестели. Позвал жену из юрты, показал ей бумагу. Потом рыжий выхватил лист, поднес к морде гнедого, но тот, пугаясь шуршащего звука, задрал голову, осторожно потянул

ноздрями и подумал, что от бумаги пахнет так же, как и от черного ведра с мазутом, висящего у входа в юрту.

Отныне, если только в их краях устраивали скачки, первым делом сообщали о том сеису. Все жаждали поглазеть на бег призового бегунца. И всюду его неотступно сопровождал рыжий малый. Казалось, он не доверял даже самому сеису: сам наполнял торбу и давал зерно. Как-то раз приволок целых два мешка проса. Одному богу известно, где раздобыл. Проса в здешних местах отродясь не водилось. Собственноручно толок его в ступе, очищал от шелухи. И за молоком к пастухам в горы тоже ездил сам. Приготовив зерно, он высыпал его в торбу, навешивал гнедому на морду и только после этого садился в сторонке, вздыхал с облегчением. И пока гнедой не наедался, не отходил от него ни на шаг. Лицо рыжего сияло, и он довольно покрякивал, будто это не лошадь, а он сам наслаждался отменной едой. Кроме сеиса, рыжий никого к гнедому не подпускал. Прогнал даже нескольких человек из соседнего аула, специально приехавших взглянуть на скакуна. Если же приходилось отлучаться на денек-другой, то, вернувшись, садился в седло и пускал гнедого рысью, словно хотел убедиться, что ноги его и копыта в целости и сохранности. В холщовом мешке у рыжего всегда был сахар. То и дело протягивал он гнедому лакомые белые кусочки.

Рыжий ревновал его не только к людям, но даже к лошадям. Поехали они однажды в город на скачки. На ночь поставили гнедого в сарай. И вот ночью скрипнули ворота и, воровато оглядываясь, вошли внутрь какие-то люди. Он вздрогнул, зафыркал от испуга, и незнакомцы ласково, успокаивающе окликнули его. По голосам он понял, что были они не из приятелей рыжего. Пришельцы нашарили в темноте засов, откинули его, и ворота широко распахнулись. Ночь была темная, все небо в тучах. Никак было не разглядеть, кого ввели в сарай. Пришельцы сразу же осторожно закрыли ворота. Их скрипа никто, должно быть, не услышал. Вокруг стояла тишина. К гнедому подвели лошадь. Уши его настороженно поднялись. Чьи-то мягкие ладони погладили морду. Он не понимал смысла всего этого, однако продолжал спокойно стоять. Лошадь, которую тайком привели к нему, между тем очутились совсем рядом. Он оскалил зубы, готовясь

укусить, но лошадь мягко коснулась его ноги. Потом вытянула шею, понюхала его холку. Гнедой лизнул ее возле носа. От кобылы исходил знакомый, желанный, приятно томящий запах. Гнедой прядал ушами, настороженно всхрапывал, прижимался мордой к гладкому тугому крупу кобылицы. В глазах его помутилось, в груди тяжело и гулко ударило сердце...

Потом он стоял усталый и поникший. Двое в темноте подошли к нему с двух сторон, нежно похлопали по морде, погладили гриву. После чего второпях повели кобылу к воротам, оживленно перешептываясь. И вдруг дверь резко, со скрипом отворилась. Послышался сумасшедший крик рыжего. Эти двое, держа кобылу под уздцы, хотели было улизнуть, но она испуганно стала упираться. А в воротах уже столпились рыжий, сеис, мальчишка-наездник, да еще двое-трое человек из их аула. Рыжий вытащил из кармана какую-то жужжалку, и яркий, ослепительный пучок света ударил гнедого по глазам. Двое так и застыли, держа пеструю кобылу с обеих сторон под уздцы. Рыжего прямо трясло от ярости. Он извергал поток отборной брани. Те двое сначала смущенно молчали, но видя, что рыжий никак не угомонится, тоже стали кричать. Разъяренный рыжий схватил стоящую у ворот жердь и бросился к ним. Сеис встал между ними. Тогда рыжий несколько раз кряду ударил кобылку жердиной по крупу. Бедная кобылка, заржав, отпрянула в сторону; из ворот выскочили и незадачливые визитеры. Рыжий, грозя им вслед кулаками, так и сыпал проклятьями. Гнедой до сих пор не может понять, отчего так рассвирепел тогда рыжий и с какой стати ударил безвинную кобылу.

После победной байги гнедой много раз неизменно приходил к финишу первым. И с каждым разом желающих поглазеть на него, погладить его темно-коричневую гриву становилось все больше и больше. От людской ласки и внимания он находился в постоянном радостном возбуждении. Крик толпы на стартовом холме теперь не раздражал, а напротив — как бы подбадривал его. И в промежутках между скачками его больше тянуло к людям, чем к своим четвероногим сородичам. Окажись рядом лошадь, готов был загрызть ее. Если же мимо проходил человек, он приветливо ржал, словно говоря: «Эй, куда ты? Разве тебе не хочется подойти ко мне, погладить мою гриву?» Ко всему при-

вык гнедой бегунец. Раза два он выступал на скачках в большом городе, куда его доставляли на барже. Оказалось, там скачут иначе, чем в аулах,— не по ровной безбрежной степи, а по кругу, огороженному забором. Бесчисленное множество зрителей сидят на досках по обе стороны круга. Пышнокудрый загорелый джигит, волоча за собой длинный аркан, направился к нему, держа в вытянутой руке что-то черное и длинное, как рукоять камчи. Гнедой занервничал, всхрапнул, и громким эхом откликнулись ему большие ослепительно блестящие на солнце ведра, укрепленные на высоких столбах. Джигит оторвал диковинную железку от его морды, поднес себе ко рту, сказал что-то и зрители шумно откликнулись, радостно засмеялись.

Гнедой бегунец научился понимать каждое движение ног наездника, прислушиваться к малейшей дрожи поводка. Познал он и немало тайн скаковой дороги. На скачках предпочитал вначале держаться позади, сохраняя силы, пока не узнавал и не взвешивал возможностей своих соперников. При виде опередившего его коня он особенно не волновался, знал, что опасность подстерегала его сзади. Поэтому напряженно, с тревогой прислушивался к топоту за спиной. Во время скачек он уже не испытывал такого восторга и наслаждения, как прежде. Теперь он скакал труднее, настороженно озираясь; при этом ломило в висках, стесненно билось сердце. И хотя, первым закончив дистанцию, старался ступать твердо и горделиво, чувствовал неприятную усталость и разбитость. Нет, в нем не было никакой хвори; он был совершенно здоров и аппетит имел отменный; сеис ухаживал за ним с еще большим старанием. Ему льстили почет и слава и, окруженный всеобщим вниманием и заботой, он бодрился, но когда слышался топот скачек, терял уверенность и самообладание, охваченный глухим раздражением и неясной тревогой. Исчезли прежний азарт и увлеченность; теперь он скакал с каким-то упрямством, злостью, вызовом. Все больше становилось скакунов, преследовавших гнедого, наступавших ему на пятки. Любая лошадь приводила его в ярость; дай волю, он готов был растерзать соперников на стартовом холме. Раньше толпа ревела от восторга, когда он вырывался вперед и скакал один, теперь она столь же восторженно гудела, когда его настигали другие.

Последнее время его неотступно преследовал серый

в яблоках. Он совершенно неожиданно выныривал на последнем круге откуда-то сбоку. Гнедым овладевала злость, он остервенело закусывал удила. Пока он не давал серому обогнать себя. Но тот неизменно приходил вторым, притом — впритык к самому его хвосту. И половина крикливой оравы, еще вчера плотно обступавшей гнедого, окружала после скачек своего нового любимца. Этот серый в яблоках в конце концов и добил-таки его. В одном заезде он с самого старта пристроился следом и так висел на хвосте всю дорогу, до последнего круга, не отставая ни на шаг. Пошли этот последний круг, и гнедой почувствовал, что топот позади убыстряется. Он встрепенулся, отчаянно напряг все силы. Когда оставалось полкруга, бегунцы поравнялись. Оскалив морды, грызя удила, скакали они рядом. Но вскоре серый в яблоках стал неумолимо обгонять, и у самого финиша его круп промелькнул перед мордой гнедого. Болельщики рекой хлынули к серому. Правда, и гнедого окружили. Но ряды поклонников заметно поредели. И никто уже не кричал восторженно; все смотрели с недоумением, как бы говоря: «И что это с ним случилось?»

В том же году на осенних скачках они встретились вновь. И серый в яблоках не только не отстал, но оставил его далеко позади. На этот раз возле гнедого бегунца не оказалось никого, кроме сеиса и мальчишки-наездника. Даже рыжий — и тот примкнул к плотному кольцу, окружившему победителя, и, встав на цыпочки, вытягивая шею, жадно глазел на него.

Выходит, скаковая дорожка узка. Нет на ней места двум скакунам, но и свернуть с нее некуда. И еще понял гнедой: любители зрелищ пламенно восторгаются лишь тем, кто приходит первым, одним-единственным, а остальных... Раньше при виде шумного сборища душа его ликовала, как весеннее половодье, теперь же, наоборот, ныла, будто незаживающая старая рана.

И в ауле никто не выехал встречать его. Возле конторы не было ни души, кроме пастушьей лошадки с притороченной к седлу увесистой торбой. В тени дома стоял дряхлый старик в протертых штанах и даже не глядел в сторону конторы, а покрикивал на внука, погнавшегося за верблюжонком, который с ревом бежал в горы вслед за удалявшейся верблюдицей.

В тот день его загнали в конюшню. Вечером сеис

повесил ему на морду пыльную заскорузлую торбу. В этой конюшне он и простоял до зимы. А с наступлением холодов приехал рыжий, и они опять долго толковали с сеисом. Потом куда-то уехали. Вернулись примерно через неделю. Привели с собой пегого жеребца, точь-в-точь похожего на того серого в яблоках, и поставили его в стойло рядом. Рыжий, ухмыляясь, подошел к гнедому, и он, радостно сопя, по старой привычке потянулся было губами к ладони, но тот поднес к его морде кулак. Решив, что там спрятана какая-то сладость, гнедой вцепился зубами в кулак. Рыжий вдруг закричал, с яростью хлестнул гнедого камчой по морде. От дикой боли закружилась голова; зашатавшись, гнедой упал на землю. Горячая кровь залила морду. Сколько так пролежал, он не знал. Когда очнулся, сеис теплой водой осторожно промывал его отекший, распухший глаз.

## 6

С той поры, с того времени гнедой видит сеиса впервые. И правая сторона для него давно закрыта мраком. Когда какой-нибудь шорох доносится с незрячей стороны, его охватывает страх, будто вот-вот из-за угла набросится волк, и пробирает озноб. С того часа и солнце, и луна на небе, и гладь прозрачного озера у ног кажутся ему половинными. Да и земля, которая раньше, сколько ни скачи, всегда казалась безбрежной, теперь сузилась, сузился весь мир вокруг. И поступь его, легкая, горделивая поступь бегунца, превратилась в собачью трусцу, а жизнь — в жалкое, бессмысленное прозябание. С тех пор кто только на нем не ездил! Сначала попал он к полеводу. Потом месил глину для саманных кирпичей. Возил и почту. Но недавно, проезжая этот аул, почтальон пересел на попутную машину, бросил его здесь, да так и не вернулся. Должно быть, подыскал другую подводу. Раз во время стрижки он встретился с куцехвостым чалым. Казалось, чалый ничуть не постарел. Не то что он, отощавший и дряхлый. Чалый весь так и лоснился. Хмурый, молчаливый чабан расстался, наконец, со своим старым, засаленным халатом. Теперь на его груди поблескивала, ослепительно сияя на солнце, небольшая подвеска. Видно, поправились его дела, вот он и сам поправился. И за конем своим стал присматривать — чалый был укрыт новенькой белой попоной.

Раскрасневшийся после чая сеис появился в сопровождении нескольких человек. Они подошли к серо-пегому жеребцу-трехлетке. Серо-пегий, не ведая, что от него хотят, нервно вздрагивал. Сеис держал его под уздцы и, довольно улыбаясь, посматривал на приятелей, любовавшихся его конем. Гнедой тихо заржал. Сеис круто обернулся. Глядел, глядел и, кажется, узнал. Подошел. Гнедой тоже потянулся ноздрями. Знакомые до каждой мозоли, ласковые ладони погладили его лоб, скулы, обгрызанную гриву. То ли сеис сам начал стареть, то ли просто расчувствовался, но когда рука дотянулась до вывернутого, незрячего глаза, пальцы дрогнули. Милые, незабвенные ладони, по которым он так соскучился. Как тяжело было гнедому в свое время расстаться с ними. Но сеис нежно похлопал его по морде и направился к своему серо-пегому. Снял путы, вскочил в седло, еще раз глянул на гнедого и уехал. А серо-пегий жеребец-трехлетка был, что ни говори, настоящий красавец. И поступь была грациозна: при каждом шаге тугое, упругое тело мелко-мелко вздрагивало. За аулом он пошел шагом. С восхищением и одновременно с непонятной жалостью глядел гнедой вслед удалявшемуся ухоженному жеребчику. Вскоре серо-пегий исчез за горизонтом. В ушах когда-то знаменитого бегунца глухо стучало, и он не мог сейчас различить, что это было: то ли топот скрывшегося за перевалом молодого призового скакуна, то ли стук его собственного усталого, одряхлевшего сердца.

*1966 г.*



*Мухтар МАГАУИН*

## ГИБЕЛЬ БОРЗОГО

### 1

Под конец он совсем обессилел. И все-таки дважды — сначала с одной стороны, потом с другой — подобрался к холмику, волоча по земле истощенное, налитое болью тело и каждый раз принюхиваясь заново. Холмик был пологий, оглаженный с боков степными ветрами и припорошенный свежим, нетронутой белизны снегом. Белый, безмолвный холмик... Веяло от него горьким одиночеством и тоской. Летом, когда он был еще рыхлым, здесь и пахло иначе. Что-то знакомое, доброе чуялось в том запахе,— так, по крайней мере, борзому казалось. В ту пору он прибегал сюда часто. И все бродил вокруг, тычась носом в желтоватую, перемешанную с мелкими камешками землю. Запах, который он выделял, был слаб и смутен. Запах — не из приятных. Так же пахло от лис дня через два-три после того, как, содрав шкуру, их забрасывали в степь, подальше от жилья. В смердящих лисьих тушках копошились червячки, муравьи, жирные, ленивые мухи... Тазы[1] был брезглив, тот запах вызывал в нем тошно-

[1] Тазы — казахская борзая.

ту. Но здесь, у холмика, он ощущал другое. К запаху гниющего мяса примешивался явно улавливаемый чуткими ноздрями запах хозяина. Он лежит в этой земле! Трудно представить, но это так. Он знает, он видел все своими глазами...

Борзой почувствовал облегчение. Хозяин тут, рядом... И вот-вот проснется. Быть может, завтра. Сколько ему еще лежать?.. Но надежда, почти уверенность, сменилась тревогой. Вдруг он уже встал и ушел? И сидит дома, как раньше?.. Нет. Снег выпал только нынешней ночью, на нем не видно никаких следов. Значит, он здесь.

Напрягшись всем телом, борзой принялся здоровой лапой разгребать холмик у основания. Под слоем пушистого снега показалась земля. Не податливая, сырая, исходящая густым и теплым живым духом, а застарелая, твердая, какая бывает у входа в опустевшие звериные норы. Слежалась, вымерзла и сделалась как камень. Когти ее не брали, только царапали. Борзой остановился, замер, всматриваясь в продолговатый холмик. Холодный. Недвижимый. Похожий на черный валун, вросший в землю... Нет, не похожий. Там, в глубине, лежит хозяин. Его хозяин лежит под этим холмиком!

Он повернул голову, бросил взгляд в низину. На овраг, заросший кустарником. У его начала, в узкой расщелине, летом бьет ледяная родниковая струя. Зеленой травой покрывается тогда дно раскидистого оврага, такой высокой, что едва виднеются в ней спины жеребят-стригунков. Но сейчас и овраг, и то место над ним, где становится на летовку аул,— все наглухо замело снегом. Только в небольшой, защищенной от ветра лощине темнеет покосившаяся стена — все, что сохранилось от старого становища. Когда в последний раз аул готовился к откочевке, под этой стенкой остался лежать больной барашек, покрытый коротенькой реденькой шерсткой. Остался лежать и больше не встал. И уже никогда не встанет. Не захрустит молодой сочной травой, не напьется из родника прозрачной воды. Там, где лежал он, теперь белеют лишь тонкие, не успевшие окрепнуть косточки...

Это было как молния, как удар камчи. Тайна, недосягаемая прежде, открылась борзому. Она была до того чудовищна, что уши у него поднялись торчком и он застыл, неподвижно уставясь на холмик. Только спустя

время, нужное для того, чтобы разгрызть большую берцовую кость, борзой очнулся, пришел в себя. Но тут все суставы у него расслабились и размякли, а тело зашлось в мелкой дрожи. В горле пересохло, дыбом поднялась на спине шерсть, по затылку разбежались мурашки. Он присел на задние лапы, задрал морду к небу. Пасть раскрылась сама собой, и тяжелый, протяжный звук вырвался из глотки. Степное безмолвие пронзил взмывший над землей стон.

И был этот стон, этот жалобный плач о невозвратном страшен и нескончаем...

## 2

Как светел мир! Как просторен! А небо — до чего же оно красивое, высокое! А солнце!.. Конечно, берегись на него смотреть прямо, и все равно — какое оно теплое, ласковое!.. Белый щенок, сидевший под стенкой сарая, на припеке, не выдержал и заскулил от удовольствия. Ему здесь так сухо, так мягко — под ним пучок соломы с ошметками засохшего конского навоза... Какая благодать!

Поблизости — лужица, наполненная талой водой. Желтая лужица, желтая вода... Щенок поднялся, подошел, осторожно лакнул — раз, другой. Вкус у воды солоноватый, неприятный, и припахивает она скверно — скотским пометом. Щенок фыркнул. Нет, пить эту воду нельзя. Он уже усвоил: все вещи делятся на те, которые можно есть или пить, и те, которые для этого непригодны. Таких непригодных гораздо больше, к сожалению.

Впрочем, огорчение было коротким. Щенок запрыгал по рыхлому снегу. Снег потемнел, покрылся сверху мусором и копотью, лапы в нем глубоко проваливались, и вода тотчас набегала в ямки следов. Но по их краям горячо искрились ледяные крупинки. Есть их было нельзя, но лизать можно. Вкуса у них, однако, не было никакого, и они холодили язык. Щенок отвернулся. Он был сыт — перед тем как выпустить во двор, его досыта напоили молоком.

А между тем прежнее место под стеной сарая, где он грелся на солнышке, успела захватить пестрая курица со своим суетливым семейством. И вовсю квохчет, шебуршит соломой, разгребает сор. Цыплята ее, жел-

тенькие, взъерошенные, носятся, попискивая, туда и сюда, ныряют матери под ноги. Стоит ей подать знак — и они гурьбой бегут на зов, обгоняя и расталкивая друг друга: «Давай! Давай! Мне, Мне!» Мгновение — и стайка круглых комочков рассыпается. Но вновь раздается: «Нашла, нашла!» — и цыплята, спотыкаясь и падая, устремляются к матери. Интересно за ними, потешными, наблюдать... А играть с ними, верно, еще интересней...

Завиляв коротким хвостом, щенок дружелюбно тявкнул и, зарываясь по грудь в рыхлый снег, спустился с сугроба. Но курица тут же подняла тревогу: «Спасайся, спасайся!» Цыплята, беспечно сновавшие вокруг, метнулись к пеструшке, под ее защиту. Курица воинственно растопырила крылья: «Кет! Кет! Прочь, паршивый щенок!» — закудахтала она.

Вот тебе и раз!.. Щенок опешил. Какой-то цыпленок высунул было черный клювик, но тут же исчез под раздувшимися перьями. Ну и ну... Щенок все-таки сделал два или три нерешительных шага, опустился на землю, прилег, потявкал, потом поднялся и снова потявкал. Курица в ответ рассердилась не на шутку. Похоже, она уже не намерена была ограничиваться одним «Кет! Кет!», а изготовилась к нападению. Щенок вконец потерялся, но неожиданно, из духа противоречия, что ли, шагнул вперед. Курица, грозная, с распушенными крыльями, поднялась ему навстречу. Казалось, вот-вот она ринется на щенка... Но вместо этого пеструшка внезапно повернулась к нему хвостом и не спеша, сохраняя достоинство, двинулась за сарай, квохча свое «Кет! Кет!». И цыплята с нею...

Щенок, опечаленный тем, что не довелось порезвиться, отвести душу, гоняясь наперегонки, тоже повернулся и одиноко побрел на окраину аула.

Земля еще не успела подсохнуть. В ложбинах и впадинах поблескивают и дымятся легким парком голубые лужицы. В густых зарослях таволги белеют лоскутья снега, но все вокруг преобразилось, приняло какой-то новый, удивительный облик. Совсем недавно все выглядело здесь так уныло и хмуро, а сейчас озарилось улыбкой и радуется, спешит напиться золотистого сока солнечных лучей. Воздух благоухает живительным ароматом. Откуда он, этот сладкий запах?..

Щенок уловил, что источает его та низкорослая травка, с тонким стебельком и пушистой шапочкой,

которую он топчет. Он опустил морду и ткнулся носом в запашистую травку. Вряд ли ее можно есть, но нюхать — приятно... А вокруг — нежные и упругие стебли, выпирающие из сырой глубины пучками, и каждый пахнет на свой лад. С особенным удовольствием принюхивался щенок к тугим стрелкам ковыля, растущего тут в изобилии. Какой запах!.. Непонятная радость охватила все щенячье существо, и он с наслаждением вывалялся в мягкой, ласковой зелени. Затем, растопырив лапы и вытянувшись, улегся, подставил солнцу брюшко.

Улегся, пригрелся, задремал и увидел сон. Будто перед ним стоит желтый цыпленок и попискивает, приглашая поиграть. Маленький такой птенчик... Разумеется, он ответил веселым лаем, и вот уже оба носятся друг за другом. До чего же, однако, быстроногий цыпленок! Его не догнать... Но щенок не отстает, бежит за улепетывающим желтым комочком — только ветер в ушах посвистывает. И наконец — настигает. Сейчас он схватит его — крохотного, пушистого. Он запросто уместится в пасти. Ведь цыпленок — это как раз то, что годится для еды... Какое неожиданное открытие! Да, да, цыпленок годится для еды!.. Но внезапно желтый комочек останавливается у щенка прямо перед носом. Бесстрашный, не желающий уступать. «Р-р-р!— вырывается у цыпленка.— Теперь-р-рь твой чер-р-ред удир-р-рать!»

Вздрогнув, щенок открывает глаза. Над ним навис громадный пес, черная, ощерившая пасть дворняга. Щенок облизнулся как ни в чем не бывало, зевнул протяжно, потянулся. Потом потявкал тоненьким голосочком и стал подниматься. Но черный пес, наклонившийся над ним, повалил щенка снова на землю, и дальше... Щенок и понять ничего не успел. Тело словно пламенем опалило, красно-зеленый туман закружился в глазах, все вокруг закачалось.

— Эй, кет! Кет! Пошел!..

Отчаянный вопль слился с нарастающим конским топотом. Тяжесть, надавившая щенку на грудь, исчезла. Он почуял хозяина, который подоспел так вовремя, и жалобно заскулил, заплакал. Хозяин торопливо спешился. И вот уже руки его подхватили щенка, подняли с земли... Но хотя прикосновение этих рук было бережным, осторожным, словно копье вошло в дрожащее тельце и пронзило насквозь. Щенок снова заскулил,

застонал, как если бы вновь очутился в пасти огромного черного пса.

Ведя коня в поводу, хозяин как прижал щенка к груди, так и донес до самого дома, и потом еще долго мучил, чем-то смазывая нестерпимо болевшие раны. Наконец он перебинтовал щенка и уложил на стоявшую в углу комнаты железную кроватку, обтянутую по бокам сеткой. Те же руки теперь кормили щенка и по три-четыре раза в день выносили на свежий воздух. Остальное время щенок неподвижно лежал на постели. Здесь было мало места, чтобы подняться и пройтись, а перескочить через сетку пока не хватило бы сил. Да ему и не хотелось...

Спустя две-три недели раны на теле щенка зажили. Но сердце его страдало от раны, которую не залечить. Ему, разумеется, не дано было постигнуть, что на свете существуют несправедливость, жестокость, насилие, и, если над твоей головой нависнет несчастье, вся твоя правота, случается, не сумеет тебя защитить... Само собой, понять этого он не мог. Но отныне среди живого все незнакомое вызывало у него недоверие, а то и прямую враждебность.

## 3

Когда щенок выздоровел и вернулся к своей беззаботной жизни, в дом к хозяину приехал мальчик. Сорванцом он оказался отменным. Только-только спрыгнул с арбы, как тут же бросился к щенку. А тот уже научился делить всех людей на две части: на хозяев — к ним, кстати, относилась и женщина в длинной одежде, наполнявшая каждый день до краев его миску и хлопотавшая по дому,— и на посторонних, чужих. Щенок отскочил от мальчика, спрятался за хозяина. Но хозяин и не взглянул на щенка, зато мальчишку прижал к себе и целует, целует... Высвободясь из его крепких объятий, мальчик снова потянулся к щенку. Как быть? Раз хозяин проявил такое расположение к мальчику, щенок не вправе от него бежать. Да и сам хозяин опустился на корточки, подбадривает: «Лашын[1], Лашын, иди к нам!»

Руки у мальчика оказались мягкими, ласковыми. Он обхватил щенка, приподнял и, приговаривая: «Песик мой, песик», стал поглаживать по голове, по спине, потом приблизил свое лицо к мордочке, обросшей белой

[1] Лашын — сокол.

шерстью, и потянул носом, принюхался. На мать, пригнавшую кобылицу, для которой настало время дойки, он и внимания не обратил, хотя она еще издали, завидев его, кричала: «Адиль! Адильтай!..» Он прижал к груди щенка и побежал в дом.

В тот день к вечеру здесь собралось много людей. Тесно было за низким круглым столом, на котором высились горой свежие румяные баурсаки, и в глазах рябило от кусочков белого рафинада. Адиль посадил на колени Лашына и прикармливал то баурсаками, то сахаром. А вокруг шумело застолье, довольные гости вели веселую беседу, попивая густейший темно-коричневый чай, заправленный верблюжьим молоком.

— Настоящий джигит вырос,— говорил аксакал Омар, с улыбкой глядя на Адиля.— Долгих лет ему, здоровья и счастья!

— Ну, Казы, на радостях тебе сорок дней справлять той,— подхватил рябой Есенжол, продавец, который и привез Адиля.— Учителя сказали, твой Адиль — самый лучший из всех, кто первый класс закончил, а закончило целых двадцать пять человек. Он, сказали, задачки уже за второй и за третий класс решает, все учебники наизусть выучил. Теперь не станет больше приставать — мол, расскажи сказку... Сам все книги у тебя в Красной юрте перечитает до осени...

— В отца пошел... Как говорится, идущий предкам вослед и стрелы остро заточит...

— А я думаю, тут жашлуга шештйенки нашей Камийи,— встревает в общую беседу жена Есенжола, картавая Айсулу, которая к тому же набила баурсаками полный рот и, пережевывая, с трудом выговаривала каждое слово.— До чего шнойовишта... Глядите, школько кижяка во двойе у нее наготовлено... Ох, и кьепка она в хожяйстве, ох и кьепка...

— Помолчи, жена, ты свое потом скажешь, не мешай аксакалу...

— Ты шего это надо мной командуешь? Я у тебя вшегда как бельмо на гьязу... Есйи я дйя тебя пьехая, пошщи себе хоошую...

— Помолчи, говорю! Дай людям уважаемого человека послушать.

— Идущий предкам вослед и стрелы остро заточит,— повторил аксакал Омар, выдержав паузу.— Покойный Амир, отец Казы, был джигитом из джигитов. И борзые собаки у него водились отменные. Такие, что

лису, словно вихрь, настигают, не борзые, а барсы. Е-е, другому не поверишь, пока сам не увидишь... Вот вы теперь весь скот высокопородным сделать хотите. Про скот судить не берусь, а охотничьи собаки у казахов и в давние времена были самых чистых кровей. У Мамая, к примеру, борзой был, по кличке Бескара. Сынок одного бая предложил за него пять кобыл с жеребятами, так ведь не поменялся, упрямец! А борзого с тех пор так и прозвали — Бескара[1], хотя у него раньше своя кличка была. Серый, помню, в темную полоску — просто тигр. Если скажу, что грудь ниже голени на неполный суйем[2] выпирала,— солгу, а если скажу, что на три пальца,— это уж точно. Такая была крутая, широкая, могучая грудь, что на брюхо не ложился, разве что бочком. Голова громадная, скулы крепкие. Ростом с Бескарой ни одна собака не могла сравниться. Верить или не верить — ваше дело, а только ведь и среди людей рождаются мудрецы, о которых слава идет из края в край, или батыры, которым страх неведом, как прочим смертным. Велик аллах! Вот и у зверей встречаются такие, что с рождения отличаются от собратьев. Бескара был таким псом. Наши с Мамаем зимовки стояли рядом, так что я собственными глазами видел: за одну зиму Бескара тринадцать волков взял. Ну, а зайцам, лисам — и счету нет. Он и на архаров нередко выходил. Мамай потом серую борзую держал у себя, говорил, что от Бескары она. Дожила борзая до глубокой старости и подохла в год окончания войны, весной. Почуяла смерть и ушла неизвестно куда. Не зря говорят: «Хорошая собака не хочет, чтобы ее мертвой видели». Мамай несколько дней траур соблюдал. Иной человек умрет — по нему родня столько не горюет. Да и правду сказать, хоть и не Бескара, но борзая была что надо. Сейчас таких породистых не сыскать. Где уж там людям время найти, чтобы за собакой, как положено, ходить или птицу ловчую содержать.

— То-то и есть,— сказал Казы.— Кому же тогда скот государственный пасти, сено косить?..— Кашель, рванувшись из глубины груди, перехватил ему дыхание, Казы не закончил фразы.

---

[1] Бескара — в значении «пять голов скота».

[2] Суйем — расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами.

— Кому тогда водку пить?..— подхватил Есенжол, и рябое лицо его сморщилось в мятой улыбке.

— Помойчал бы лучше! Никогда, видно, пьодавцом тебе хоошим не стать,— сказала Айсулу.— И что это за магажин, без гойкой-то водички, о гошподи?

— Вот и хорошо, что нет на столе этой дьявольщины.— Омар одобрительно кивнул Есенжолу.— Молодец, что не принес.

— Я бы принес,— усмехнулся Есенжол,— только вся кончилась, на базе нет ни бутылки. Район отстающий, говорят, по старинке живете, а в культуре тоже толк понимать начинаете... Раньше одного ящика нашему аулу на целую зиму хватало. Кроме нас двоих, меня да завфермой, никто не пригубливал. Ну, а той осенью взял я три ящика беленькой с красненьким — и как не бывало. Даже Казы, когда последний раз в район ездил, с ней, окаянной, успел снюхаться. Вот летом, когда весь народ на джайляу отправляется, у меня на одного аксакала надежда... Так он за свою жизнь и глоточка не принял, говорит, намаз от нее силы лишится.

— Да простит тебя, болтуна, аллах,— вздохнул Омар.— И для тех, кто не соблюдает его предписаний, водка тоже вещь непотребная.

— Э, аксакал, вы ее вкуса не пробовали, оттого так рассуждаете. Вон Казы разок отведал и увидел, что вся его прежняя жизнь впустую пролетела. И мне хорошо: есть с кем чокнуться. Скоро ведь он, аллах свидетель, жену за пол-литра отдаст...

— Ну, заладил... Тебе бы только язык почесать! Было дело, случилось выпить,— что же теперь?

— Пей, да почаще, удачи тебе...

— Они, как в прежние времена между одногодками-курдасами водилось, все насмешничают друг над другом,— сказала байбише Нурила, жена Омара, темнолицая худощавая старуха в белом кимешеке. Ей хотелось переменить разговор.

— Когда куйдашы шойдутся, вешело бывает,— вставила Асулу.

Щенок, вдоволь насытясь баурсаками и сахаром, внезапно затявкал, как бы одобряя ее слова.

— Вот что значит старость,— покачал головой Омар.— Начинаю про одно, перехожу на другое... О чем это я рассказывал?

— О том, что среди собак бывают такие, с которыми

даже человеку не сравниться,— пошутил Есенжол.

— Да, вспомнил... И зверь, и человек походят на своих предков. Скажем, тягой к собакам Адиль точь-в-точь уродился в своего деда, покойного Амира...

— К тому же старый Мамай, о котором вы говорили, приходится мне нагаши,— сказал Казы.— Этого щенка я у него и взял, когда зимой в Баканас ездил. Он единственным родился, и Мамай, честно говоря, не хотел отдавать его. Мол, внук подрос, на охоту скоро выйдет, собака ему понадобится... Так я насел на него, чуть не силой отобрал: это, мол, в счет сорока коз[1], таков, мол, обычай... А щенок... На ваш взгляд, чего он стоит?

— Собак хороших я перевидел немало, а сам охотиться не пробовал. Какой из меня знаток?

— Все равно по сравнению с нами вы человек опытный. Адиль, опусти щенка... Скажите, аксакал, свое слово.

— Что сказать... Грудастый — значит, в беге выносливый. Шея короткая, морда скуластая — значит, зубастый, сильный. Задние лапы с приземистой голенью — верный признак быстроты. Не знаю, возьмет ли волка, но лисьими тымаками всех нас одарит, попомните мое слово...

— Да исполнится все, что вы сказали! Первый тымак — ваш!— воскликнул Казы.

— Не зря Мамай не хотел с ним расставаться,— заметил Есенжол.

Спустя немного времени к столу подоспело блюдо с мясом, поверх которого возвышалась жирная баранья голова с отвислыми ушами, разваренная до того, что местами обнажились кости черепа. Но Адиль и его белый щенок уже спали, прикорнув у стены, щека к щеке.

## 4

Наступили в жизни Лашына счастливые, безмятежные деньки...

Отец наказывал Адилю:

— Он любит побродить на свободе, дома ему не

[1] По обычаю племянник должен получить в подарок от своих родственников по материнской линии сорок коз или что-нибудь равноценное.

сидится. Недавно этот паршивец Бардасок, дворняга Есенжола, чуть его не задрал. Не случись меня, он бы загрыз беднягу. Пришлось уложить Лашына в кроватку, ту самую, где ты маленьким спал. Дней двадцать прошло, пока на ноги поднялся. Так что смотри не спускай с него глаз.

Адиль и без того не разлучался с Лашыном. Три дома среди безлюдной степи — вот и весь аул; детей здесь, кроме Адиля, нет, и единственное у него развлечение, не считая книг,— щенок. В первый же день нацепил он на конец длинного курука лисий хвост. Лашын хоть и ведать не ведал, что это такое, все же вознамерился куснуть его — так, на всякий случай. Адиль опустил кончик хвоста чуть ли не к самому его носу, разрешил понюхать, подразнил, а потом вдруг, стоя на месте, закружился, держа курук в вытянутой руке. Лашын бросился за хвостом, но тот летел по кругу, оставаясь недосягаемым. Вот он приспустился, стелется легкой волной, чуть касаясь кончиком щенячьей мордочки. Лашын прибавляет ходу, но хвост взмывает вверх. Щенок несется по кругу во весь опор. Сейчас наконец он будет у пса в зубах!.. Но неуловимый хвост взлетает снова и несется в обратную сторону. Щенок тоже поворачивает назад. Лапы у него наливаются тяжестью, бежит щенок все медленней. Но хвост, мягко струящийся по воздуху, не уходит от него слишком далеко. Чужой, но приятный запах, остающийся в воздухе, будоражит щенка, раздувает в душе пламя непонятной страсти. Впитавшийся с кровью предков азарт охоты вновь подстегивает его, и щенок с еще большим остервенением пускается вдогонку за лисьим хвостом.

Но вот пушистый кончик попадает ему в пасть! Щенок с наслаждением грызет и рвет его, волочит по земле хвост и долго, рыча, возится с ним. И вдруг хитрейший хвост снова выскальзывает из его зубов. Щенок пускается в погоню — и так много раз...

Дом Казы стоит в укрытом от ветра месте, у подножия холма, до самой вершины заросшего сизым ковылем и таволгой. Холм плавно переходит в низину, когда задувает ветер, густые травы на ней колышутся, будто катятся зеленые волны. Бойкий родничок журчит по дну рассекающего низину оврага, вдоль извилистого ложа шелестит-лопочет молодой тростник...

У Адиля главная забота — пригнать кобылу в по-

ложенное для дойки время, она пасется среди высоких, набирающих сок и силу трав. И щенок, у которого только голова мелькает белым пятнышком между зеленых стеблей, мчится вприпрыжку за Адилем. На обратном пути он вовсю заливается веселым лаем, преследуя кобылицу. Она пускается вскачь, Лашын отстает и, донельзя возбужденный, путается у Адиля в ногах.

— И зачем ты таскаешь за собой этого глупого щенка? — сердилась Камила. — Сколько повторять: нельзя перед дойкой тревожить кобылу, она теряет от этого молоко.

Но Адиль по-прежнему не расставался со щенком, а тот не упускал случая позабавиться с кобылой. Лишь после того, как мать, потеряв терпение, сгоряча влепила Адилю хороший подзатыльник со словами: «Смотрите какой — маленький, а упрямый!» — и огрела щенка подвернувшейся под руку палкой, мальчуган более внимательно отнесся к ее наставлениям. Отец смастерил красивый узорчатый ошейник, и теперь Адиль водил щенка с собой, сдерживая вовремя его боевой пыл. Однако щенок по привычке, едва завидев серую кобылу, принимался гавкать, а кобыла, то ли уступая ему, то ли жалея и боясь, чтобы от неистового лая он не разорвался на части, по-прежнему неслась в аул галопом. Так что, случалось, пока Казы, набив книгами свой коржун, доберется, потратив полдня, до аула, выехавшего на сенокос, да не меньше чем за день объедет отары, разбросанные по джайляу,— случалось, что за это время и Адилю, и Лашыну не раз достанется, и довольно крепко, от скорой на расправу Камилы.

За низиной, поодаль, тянется гряда сопок, разделенных невысокими перевалами. Здесь повсюду кудрявятся густые тальники; поблескивают в камышовых зарослях родники — прозрачные, чистые, со студеной водой; дикий щавель на просторных луговинах так высок, что укроет опустившегося на землю верблюда...

Когда лето перевалило за середину и небо накалилось, налилось тугим, неслабеющим зноем, а кончики трав начали подсыхать и желтеть, Адиль стал уходить во время своих прогулок все дальше от дома, в сопки. И Лашыну, для которого до сих пор границей был овраг, теперь открылся новый, незнакомый мир. Множество неизвестных запахов ударяли ему в ноздри.

Был среди них и резкий запах перепрелого, вывалянного в пыли кизяка, и пряный запах сочного луга, и тонкий, нежный запах алых, желтых, голубых цветов, и сыроватый запах прошитой корешками дерна почвы, и горький запах сгнившего дерева... Щенок, у которого кружилось в голове от слоистого аромата, пропитавшего воздух, весело тявкал от беспричинного ликования, валялся по траве, прыгал вокруг Адиля, бегал, повизгивая, взад и вперед, резвясь в полное свое удовольствие. И чем дальше от аула, тем чаще встречались запахи всевозможных живых существ. Тут — запах лошади, там — запах коровы, здесь проходил человек, ну а вот — запах того пушистого хвоста, который летел за куруком... Да, да, этот хвост побывал здесь, где разрыта земля, затем обогнул колючий кустарник и направился куда-то к холмам... Лашыну хотелось бежать по его следам, но позади раздавался голос Адиля, приказывающий вернуться, и ему волей-неволей приходилось поворачивать назад.

В небольших рощицах по склонам оврагов прохладно и даже влажновато. Земля здесь волглая, трава мягкая, шелковистая. Пахнет шиповником, бояркой, хмелем, но все эти запахи забивает запах черной смородины. Адиль без особых хлопот доверху наполняет свое небольшое ведерко крупными ягодами под сизой туманной пленкой. Потом, отыскав местечко, где повыше трава, укладывается, подложив под голову толстую корягу. Так он лежит на спине, под нависающими над самым лицом ветками смородины, и небо, просвечивая между разделенными на три зубца листьями, кажется отсюда пятнистым, разорванным на мелкие голубые клочья. Но оно все равно кажется прекрасным, и еще — не очень далеким, достаточно протянуть руку вверх, разгрести листву — и вот оно, у самых твоих пальцев... Ягод и без того великое множество, но когда смотришь снизу, их видно еще больше. Их уже не скрывают листья, и они, как черные блестящие бусинки, теснятся одна к одной, часто-часто. Адиль, заложив ногу за ногу, не спеша захватывает ягоды полными горстями и отправляет в рот. А если там, куда дотянется рука, ягода кончится, он, двигая локтями, меняет место. Но вскоре он ест ягоду уже не горстями, а лениво срывает по одной, словно нехотя раздавливая губами, цедя кисловатый сок. Потом, за-

ложив под затылок руки, долго лежит не двигаясь, глядя в голубое небо, блекнущее, когда по нему проплывают облака. Белый щенок, подражая хозяину, тоже распластывается по земле, привалясь грудью к влажной траве; здесь ему прохладно, и он, положив голову на вытянутые лапы, замирает, не издавая ни шороха. Его беспокоят лишь комары да мошки. А не будь их, так сладко можно было бы выспаться, столько увидеть приятных снов! Но после того как они со щенком так вот полежат, отдохнут в полном блаженстве, Адиль, будто внезапно вспомнив о чем-то, произносит «Хоп»! и вскакивает с места. Виляя хвостом, щенок вскакивает за ним и сильно, всем телом встряхивается. Перепрыгивая через родниковые струйки, поблескивающие среди потемневших, гнилых коряг и поваленных стволов, с треском обрывая цепкие нити хмеля, они выбираются из сплошных зарослей. В овраге знойно, душно. Солнце в зените печет, обжигает лоб. Адиль повязывает голову, обритую наголо, носовым платком, и вдвоем со щенком они бегут к перевалу. Здесь дует прохладный ветерок. За перевалом — аул...

Лашыну исполнилось шесть месяцев, он вытянулся, покрупнел и стал больше походить на взрослую собаку. К этому времени он постиг, что в жизни и обычаях его хозяев, да и не только хозяев, а вообще двуногих существ есть немало такого, что ему не под силу объяснить. Раньше все или почти все, с чем он сталкивался, казалось ему вполне понятным и разумным. Но теперь, как призадумаешься, то одно, то другое просто не укладывается в голове.

Скажем, та же лошадь. У нее четыре быстрые сильные ноги. Она никогда не спотыкается, не падает, подобно Адилю. А поскачет — и никакому человеку за ней не угнаться. Однажды серая кобыла рассердилась на что-то и давай брыкаться обеими задними ногами, так что изгородь не выдержала, повалилась на землю. А если бы под копыта ей попался человек?.. Что бы от него осталось?.. Но несмотря на все это, лошадь не выходит у него из повиновения, что ей человек ни прикажет — она все исполняет. Даже маленький Адиль — и тот над ней хозяин. Как это понять?..

Или, например, корова. На голове у нее торчат два рога — толстые, острые. Как-то Лашын крутился рядом с ее теленком, и вдруг она с ревом устремилась

на щенка. Не отскочи он в сторону, не пустись наутек, она бы все косточки ему раздробила. И что же?.. Корова тоже покорно служит человеку. А бедняга верблюд — уж на что страшилище, да еще и с двумя горбами,— он запросто поднимает груз, который и десяти двуногим не под силу, а ведь тоже день за днем смирнехонько выполняет за человека его работу. И ревет, прямо-таки исходит ревом, бедолага, но поперек человеку ни за что не пойдет.

Ну, а черный псина, который едва не загрыз его весной?.. Зубы коренные страшенные, кинься он на кого-нибудь — никто перед ним не устоит. Но ведь и он покорен человеку. Покорен и жалок даже — ему не позволяется, как Лашыну, например, входить в дом, дальше порога его не пускают. И главное в жизни — еда — тоже целиком во власти этих двуногих. Они поедают все самое сладкое, самое вкусное, причем едят сколько пожелают. Правда, Лашын в еде не испытывал недостатка, но судя по тому, как черный псина рыщет по дворам, что-то вынюхивая, Лашын, глядя на его запавшие бока, понимал, что тому не так уж часто доводится досыта набивать свое брюхо.

День ото дня все больше загадок возникало вокруг. Чего стоит хотя бы железная арба, на которой однажды приехали в аул какие-то люди! В нее не было впряжено ни лошади, ни верблюда, бежала она сама собой, к тому же издавая рычанье, похожее на рокот далекого грома. Другой раз в степи опустилась огромная птица. Вместе с аульчанами, оседлавшими коней, помчался к птице и Лашын. Что же он увидел? Обыкновенное железо, светлое на цвет. Из него вылезли люди, постояли немного, разговаривая с конниками, что-то у них выспрашивая, и снова вернулись внутрь железной птицы. Голос у нее оказался ужасающий, вдобавок птица, взлетая, подняла бурю. Если Лашын и остался жив, то потому, что опередил отступавших под жестокой струей ветра лошадей и успел отбежать в сторонку...

Чем таинственней казался ему человек, тем больше Лашын верил в его могущество. Вдобавок произошло событие, после которого Лашын и вовсе перестал удивляться тому, что все живое в мире покорно человеку, он и сам признал его полнейшее, безоговорочное превосходство...

А было так. После очередной вылазки за смородиной, они с Адилем возвращались в аул. И едва обогну-

ли высокие кусты ушката, которыми зарос пологий склон, как увидели перед собой Бардасока. В двух шагах, на расстоянии конского повода. Тощий пес, раскидав запасы семян и соломы, собранные полевыми мышами, в нетерпении разгребал лапами мягкую землю. Поскребет-поскребет когтями, сунется мордой в нору и нюхает, рыча от жадности. Потом снова принимается за работу и с каждым разом все больше распаляется, чует, наверное, близкую добычу... Адиль замер от удивления, застав собаку за таким странным занятием. Ну, а у Лашына при виде заклятого врага екнуло сердечко. Задрожал он — каждой косточкой, каждым суставчиком — и забился под ноги Адилю, ища защиты. Тогда вспомнилось Адилю, что рассказывал ему отец об этом черном разбойнике, чуть не растерзавшем его щеночка, его милого Лашына, когда тот был совсем еще маленьким...

Он пригнулся, пошарил рукой по земле. Заслышав шорох, пес выдернул морду из норы, но поздно. Едва он успел повернуть голову навстречу опасности, как острый, увесистый камень угодил ему в бок. Отчаянный визг эхом откликнулся в сопках, и пес пустился бежать, выгнув от боли спину горбом. Второй камень, чуть поменьше первого, последовал за Бардасоком, не попал и шмякнулся где-то в кустах таволги. «Черт!..» — с досадой хлопнул себя по бедрам Адиль. Только теперь Лашын, совершенно не ожидавший такого оборота событий, очнулся, очухался. И тут его обуяла ярость. Он загавкал тоненьким голоском и помчался за улепетывающим Бардасоком. Лишь проводив своего давнего врага на значительное расстояние, он против воли остановился, подчинившись Адилю, который бежал за ним, упрашивая вернуться. И долго еще не мог прийти в себя, оправиться от потрясения, которое перевернуло все его прежние представления о жизни, о собственном существовании, о сильных и слабых. Если Адиль — самый маленький среди ему известных двуногих — способен на такое, то на что способны остальные?..

«Откуда я пришел, кто я, куда иду?..» Нет, столь сложные философские вопросы, понятно, не рождались у щенка в голове. Но после описанных происшествий Лашын убедился, что есть на свете обладатель могущественных, всепобеждающих сил. Повелевая ими, он может все, чего захочет. Имя этому повелителю — человек.

## 5

Казы, сухо покашливая, с трудом отстегнул крючок на забухшей двери. Лашын опередил хозяина и стремглав выскочил наружу. Выскочил — и зажмурил глаза, ослепленные удивительным ярким светом. Все окрест, вчера еще грязно-серое, бурое, сегодня переменилось: и дальние холмы, и двор, и крыши сараев — все накрыто празднично-белым покрывалом. Лашын, слегка поеживаясь от свежего воздуха, сделал два-три шага вперед. Что-то слабо похрустывало под его лапами. Он обернулся: за ним четко пропечатались следы. А вот и хозяин — идет к сараю, и за ним тоже тянутся цепочкой отметины. Некоторое время Лашын постоял на месте, в недоумении от нового открытия, потом по примеру хозяина направился к сараю. И опять увидел следы, но похожие на его собственные, только поменьше. Ткнулся носом, принюхался — оказалось, что их оставил Бардасок. Судя по всему, он кружил здесь, выискивая что-нибудь съедобное.

Воздух был чист, свободен от чужих запахов, плотен от морозца,— с каждым вдохом Лашын чувствовал, что его грудь наливаетя силой. Взметывая сухой, искрящийся снег, он пробежался неколько раз вдоль двора. Ему захотелось помчаться к роднику,— и потом за перевал, похожий на изогнутую верблюжью шею, и еще — порезвиться в поле. Только опасенье, что где-то рядом бродит Бардасок, остановило его. К тому же, увидев, что хозяин вывел коня и привязывает к изгороди с наружной стороны, он решил, что тот куда-то собирается ехать и, возможно, прихватит его с собой.

Щенок, еще недавно голенастый, куцехвостый, тугобрюхий, уже превратился в почти взрослого борзого. Он окреп, раздался в костях, грудь развернулась вширь, брюхо подтянулось. Его голова, непропорционально большая в сравнении с телом, могла выдержать любые придирки знатоков: темя высокое, умное, уши крупные, в меру широкие, свисающие книзу мохнатыми кончиками. А зубы Лашына, ровные, белые, где положено — длинные и острые, где положено — короткие и крепкие, зубы, которыми невольно залюбуешься, когда он откроет пасть,— зубы эти способны, кажется, перегрызть и самую толстую верблюжью кость.

С тех пор как Адиль вернулся к себе в школу,

за подрастающим щенком ухаживал Казы. Не давая борзому пищу, от которой может завязаться жир, Казы дожидался первой пороши. Но, как назло, осень затянулась. Зарядили долгие моросящие дожди, задули тоскливые промозглые ветры. Между тем, если собаку не вывести на охоту до годовалого возраста, мышцы у нее на шее потеряют гибкость, затвердеют, и тогда уже не стать ей ловким, хватким псом. Это в особенности тревожило Казы. И когда, наконец, выпал первый снег, Казы, проворочавшись всю ночь в постели, поднялся затемно, наскоро заседлал коня, покормил Лашына жидкой похлебкой и, уложившись таким образом в короткое время, потребное для того, чтобы вскипятить молоко, выехал со двора.

Для охоты он избрал склоны Жауыртага. И каких только меток не увидел здесь на свежем снегу Лашын! И крупные, и мелкие следы, большей частью совершенно незнакомые по рисунку и запахам; и то переплетаются, то вытягиваются в цепочки, то расходятся в разные стороны. Он готов был мчаться по каждому следу, только приказ хозяина удерживал, смирял его нетерпение. Но вот обозначился след, похожий на оставленный возле сарая Бардасоком, только не такой крупный. Борзому почуялся длинный, пушистый хвост, за которым он гонялся летом... Опустив голову к земле, пес затрусил по каменистому склону. Однако хозяин за ним не последовал, напротив, понизив голос, позвал назад. Потом указал в противоположную сторону и сам повернул коня. Лашын сообразил, что ошибся. Вскоре он уже уверенно несся по следу, опередив хозяина.

Поблизости от плато, между невысоких сопок, поросших редким караганником, пушистый хвост неожиданно сбавил бег и пошел петлять, отыскивая добычу меж присыпанными снегом кустами. Кое-где встречались разрытые им мышиные норы; не успевшая смерзнуться земля перемешалась с рыхлым снегом. Пушистый хвост то поднимался на холм, то нырял в ложбину и подолгу петлял из стороны в сторону. Неопытному псу, который все время старательно держал след и раз десять, наверное, возвращался кругами к одному месту, наконец надоело гоняться за не то чересчур хитрым, не то попросту глупым зверем — и без всякого результата... Но когда хозяин приблизился к нему, азарт охоты вновь взыграл в Лашыне, и он, труся по

следу, теперь повернул вверх по склону. Едва он перевалил за холм, как заметил внизу, у подножия, метнувшегося в заросли караганника зверя, того самого, которого так долго и безуспешно искал. И хвост у него в самом деле оказался длинный и пушистый, а сам он в чем-то походил обликом на собаку. Но зверь был огненно-рыжий и напоминал раздуваемое ветром пламя... Невозможно было им не залюбоваться! Красным, жарким языком стелилось оно по белому снегу... На какой-то миг Лашын замер, но секундой позже, взметая сильными лапами снег, уже летел стрелой.

Расстояние стремительно сокращалось. Характерный лисий дух донесся до ноздрей борзого. Лашын отчетливо видел впереди спину зверя. «Я быстр!— ликовал молодой борзой.— О, как я быстр!» Хотя у лисы ноги короткие и на ходу она семенит, при всем том бежит она так, что запросто ее не нагонишь, Лашын был от нее уже на расстоянии аркана, но потом заметил, что промежуток между ними стал увеличиваться. Лисица тянула теперь поперек низины, уходя малопомалу в сторону сопок. Стоит ей добраться до каменистого склона, и она спасена... Но на беду ей впереди проступил темный силуэт хозяина собаки. Он, видно, решил перебить ей дорогу и скачет наперерез. Лисица тоже напрягла все силы, но человек, нахлестывая коня и крича во все горло, успел отрезать ей путь. Зверь свернул в сторону и побежал наискось. Удалось выиграть небольшое расстояние. Теперь была надежда, что, опередив всадника, ей удастся улизнуть по склону в безопасное место. И правда, через некоторое время всадник, скакавший вдоль подножия сопки, стал отставать. Борзой тоже не был сейчас для лисы опасен, и она, казалось, вот-вот перестанет быть для них досягаемой...

Но в это мгновение впереди открылась широкая впадина. И лисица увидела, что совершила гибельную ошибку. Вдоль впадины земля заросла высокой травой, пересохшей и жесткой, присыпанной тонким слоем снега. Летом здесь зеленел веселый луг, не ведавший серпа, и сочная, разросшаяся на приволье трава скрывала лошадь по самую голову. Теперь же этот луг, увядший и поблекший, представлял неодолимую преграду для лисицы с ее короткими лапами. Как быть?.. Не ведая иного выхода, она кинулась прямо на впадину, на крутом ее склоне трава была не так густа. Но ее сухие стебли кололи и царапали брюхо, и лиса бежала вприпрыж-

ку, всем телом вскидываясь вверх. Зато псу, долгоногому, юному, полному сил, ломкие стебли не могли служить препятствием, скорость его не уменьшалась. Расстояние, которое лисе удалось было выиграть, выжав из своих четырех лап все возможное, быстро сокращалось. «Настигну!— вновь ликовал борзой.— Еще немного... и я ее настигну!»

Лиса бежала из последних сил, ее хвост беспомощно обвис. Он уже не пушился, не раздувался на ветру, а волочился следом, вдобавок ко всему замедляя ее бег. «Сейчас!— торжествовал пес.— Сейчас я схвачу ее!» Зубы его лязгнули, предвкушая миг, когда конец огненно-рыжего хвоста окажется у него в пасти. Но тут крутой травянистый спуск оборвался, лапы лисицы коснулись твердой гладкой земли, светлой от укрывшего ее снега, с торчащими там и сям стрелками ковыля. Собрав последние силы, изнемогая от когтистого, впившегося в затылок страха, лиса рванулась вперед. Смерть, щелкая пастью, приотстала, но надолго ли?.. Расстояние между лисой и псом — не больше конского повода. К тому же столько сил ушло на то, чтобы одолеть крутой склон... Лапы, потяжелев, уже без прежней легкости отрывались от земли. Но предсмертный ужас гнал лисицу вперед.

Позади размеренно и все громче похрустывал снег, возвещая неуклонное приближение врага, и сдавленное, тяжелое сопенье, которое лиса отчетливо слышала, свидетельствовало, что зубы, острые и безжалостные, готовы вот-вот впиться в ее нежное тело. Ветер застилал ей глаза, бурый туман клубился вокруг. Не из надежды, что это избавит ее от опасности, а лишь по привычке, инстинктивно, лисица вскинула хвост — и он вырос на пути у собаки, последнее препятствие и единственная защита. Простодушен был молодой борзой! До сих пор гнался он за лисицей вовсе не ради того, чтобы схватить ее и разодрать в клочья. Чем-то вроде забавы было для него это преследование. Настичь и, слегка прихватив зубами, повалять на снегу, поиграть в перевертыши. Когда рыжий хвост расцвел у него перед глазами, он и это принял за новую игру и теперь вовсю стремился завладеть хвостом. Только порхнет у самой морды — и тут же метнется вбок. Борзой повернет морду, нацелится, вот-вот схватит — а хвост уже взмыл, упорхнул. Пес по инерции стремглав проносится мимо, а хитрый зверек опять в стороне,

на расстоянии курука. Пес в запале скачет за ним, преследует почти по пятам. Но рыжее пламя вспыхивает где-то слева, и потом справа, и снова слева,— борзой хватает пастью пустой воздух, крутит головой и видит, что лиса выиграла у него пространство, которое не одолеть и за три добрых прыжка.

Лашын обессилел от этой погони. А лисица, пока он, задыхаясь, взбирался по крутому склону, свернула неожиданно к зарослям таволги, обежала их кругом, вконец измотав борзого, и припустила вперед по прямой, все так же расстилая по воздуху свой пышный и лукавый хвост. Еще миг — и она исчезла из глаз, перескочив узкую седловинку между соседними холмиками.

Лашын остановился. Грудь его распирало, язык разбух и не умещался во рту. Ныли ноги, чужие, непослушные, в голове кружилось. Цепочка убегающих вверх следов, переплетенные ветки кустарника, холмы, белые от снега,— все покачивалось, куда-то плыло... Но внезапно борзой встрепенулся, хотя и не поверил себе в первое мгновенье. Та самая лисица, которую он, казалось, окончательно потерял из вида, вынырнула из-за уступа и теперь во весь опор неслась ему навстречу.

Должно быть, хитроумный зверек не подозревал, что пес, гнавшийся за ним, пока всего-навсего «кёкасык», то есть зеленый, не достигший зрелости, и способен в решающий момент оборвать преследование. Да, такого лиса не ожидала... Перескочив седловину, она метнулась вбок, огибая сопку по каменистому спуску, на котором не оставалось следов. Так рассчитывала она сбить с толку настигавшего ее пса. Но хитрость ее доконала: враг, которого удалось так ловко обмануть, нежданно-негаданно очутился перед нею, лицом к лицу.

Все было кончено, лисица почуяла, что попала в когти смерти. Она в отчаянии кинулась назад, однако Лашын, успевший немного передохнуть, отдышаться, настиг ее в два прыжка. Стелющийся по земле хвост уже был в его пасти. Лисица обернулась, куснула борзого в морду. И пес, у которого не было мысли причинять зло пушистому зверьку, разозлился, когда в него впились острые зубы. Лиса, высвободившись, вновь пустилась бежать, да где было ей спастись от нависшей над нею громадины! Прыжок — и пес опять

завладел ею, вцепился в бедро, ударил оземь, потом сдавил клыками, раз и еще раз, только хрустнули ребрышки...

Подоспел хозяин. Спрыгнув с лошади, он подбежал к собаке, тормошившей безжизненную лису: «Хватит, Лашын, хватит!» Он вырвал из пасти у борзого добычу, приподнял за хвост лисицу и ударил головой о землю.

— Счастливой охоты тебе и твоему потомству!..— улыбнулся он псу.

Лашын, разумеется, не понял, что кроется за словами хозяина, но уловил главное: тот благодарен ему и очень доволен.

Так борзой научился убивать и уяснил, что за это хвалят. Для него наступила жизнь, полная борьбы и собачьей доблести, кровавых схваток и неизменных побед.

## 6

Вскоре слава о борзом разнеслась по всей округе. И редкий мужчина среди живущих в ближних аулах не украсил в ту зиму голову новеньким лисьим тымаком. Все были довольны и хвалили Лашына. Особенно старый Омар. «Теперь я не мерзну, как раньше, в дрянной мерлушковой шапчонке,— говаривал он.— Теперь мне тепло, а все Адиль, воспитавший такую собаку, да процветет его потомство, да не переводятся у него пятерки, да будет он первым из сверстников!..» Чаще всего повторял он эти слова, когда заходил в дом Казы услышать свежие вести о своем любимце. Чабаны и сторожа с окрестных зимовок или сами заворачивали к Казы, или передавали привет через посланца, но так или иначе каждый разжился у него лисой. А Беккали, заведующий фермой, даже двумя лисьими тымаками обзавелся: один надевал в ауле, другой — когда ехал в колхозное правление или в район. И только продавец Есенжол остался без лисы. «Пускай сначала перестанет обсчитывать народ на своих счетах,— якобы сказал Казы.— Да пускай не обманывает и не ябедничает!»

Как-то раз, недолгое время спустя после первой охоты, Казы уехал из аула вместе с Беккали, который спешил в районный центр с годовым отчетом. Вернулись они домой недели через две. Вечером в тот день

жители четырех домов, именуемых в совокупности центральной усадьбой фермы, собрались у Казы. В отличие от обычного, посреди круглого стола выстроились три бутылки с прозрачной жидкостью. Но не было за дастарханом веселого оживления, от которого светом и радостью наполнился дом после приезда Адиля. Говорил большей частью Омар, остальные же — и толстый Беккали, у которого, несмотря на то что ему не исполнилось тридцати, выпирал живот и жирно лоснились тугие щеки, и увертливый, подобно рыжей лисице, рябой Есенжол, и картавящая на каждом слове Айсулу,— все они старательно заливали в себя прозрачную водичку. Даже Камила и жена Беккали отведали ее разок. Лашын заметил, как та и другая при этом сморщились, закрутили носами. Не очень-то, наверное, вкусна прозрачная водица, горчит... Но хозяин от нее не отказывался. И гостям подливал, уговаривал пить до самого донышка, и о себе не забывал. Закашляется, захрипит с присвистом — и тут же опрокинет в рот стаканчик. А потом и вовсе странно себя повел: гости еще не разошлись, а хозяин привалился к подушке и заснул, захрапел. Не похоже на него это... Нет, не похоже. Что-то случилось у него, какая-то перемена в жизни.

Казы часто выезжал на охоту, особенно если выпадала пороша, на которой зверь оставляет свежие, отчетливые следы. Спозаранок пускались они с Лашыном на поиски добычи, случался ли на ту пору, как называют казахи, «долгий сонар», когда снег прекращается к полуночи, или «кровавый сонар», когда валит до самого утра, или «короткий сонар», когда сыплется мелкий и ночь, и день; по снегу, как по странице в открытой книге, опытный глаз прочитает, давно ли проходил зверь и далеко ли успел уйти. А иной раз, не дожидаясь погоды, Казы целиком полагался на пса, на его нюх, сметку и скорость. И не зря: даже в самые неудачливые дни возвращались они по крайней мере с парой зайцев. Лашын окреп, тело у него стало упругим, налились мускулы, незнакомым людям его вид и размеры внушали невольную опаску. Правда, у себя в ауле он держался довольно робко, вспоминая, возможно, какого страха натерпелся в этих местах когда-то, в пасти черного пса...

Но однажды вечером, когда непрестанно кашляющий Казы, выпив горькой водицы, прилег и укрылся,

чтобы пропотеть, Лашын выскочил за дверь и замер у порога как прикованный: во дворе был Бардасок. Он остерегался обычно появляться во владениях Лашына, но сейчас нарушил запрет и с жадностью рылся в куче отбросов. Он тоже заметил борзого. Бардасок стоял к нему вполоборота и только повернул голову, оскалился и зарычал. Однако Лашыну послышалось в его рычанье больше боязни, чем угрозы. Несколько удивленный и успокоенный этим, Лашын пригляделся к псу, которого давненько не видел. Тот словно сделался меньше ростом и был какой-то потрепанный, жалкий на вид. Он, видимо, тоже сопоставил свои силы и силы борзого и понял, что потасовка не обещает ему ничего хорошего. Глухо рыча, он поджал хвост и пустился наутек по направлению к своему дому. На борзого внезапно нахлынула ярость. В несколько прыжков настиг черного кобеля и тем же способом, каким бросался на лисиц, ухватил его, вцепился зубами в пах, шмякнул о землю и навалился всем телом сверху. Но кобель оказался посильнее лисы. Истошно воя, он кусал борзого куда придется, и лишь когда острые клыки сомкнулись у него на горле, прекратил сопротивление. Хриплые звуки сдавленно клокотали у него в глотке, лапы конвульсивно дергались и скребли землю.

Кровь заливала борзому глаза. Ничего не видя перед собой, он продолжал душить Бардасока. Только неожиданный удар заставил его прийти в себя. На мгновение Лашыну показалось, что хребет у него треснул, переломился надвое — это изо всей мочи пнул его кованым сапогом Есенжол. И тут же замахнулся во второй раз. Лашын увернулся. Выпустив свою жертву, он отскочил в сторону, но не побежал — остановился напротив, оскалил зубы.

Казы, до которого донесся шум собачьей грызни, выскочил на улицу и, прихрамывая, кинулся к Есенжолу.

— Эй, ты чего мою собаку бьешь?— закричал он.

— Бью?.. Да я шкуру с нее сдеру!

— Шкуру?.. Да ты... Ты кто такой?..

— Ах, ты еще не знаешь?..— усмехнулся Есенжол.— Ну так узнаешь. Я тебя заставлю узнать. Отправишься следом за племянничком.

— До моего племянника тебе дела нет,— сказал Казы, внезапно притихнув.— А мне ты не грози. Люди говорят: правду согнешь, да не сломаешь. Я кровь

проливал. Это всем известно. Вот!— И Казы, чуть пригнувшись, хлопнул себя ладонью по деревянной ноге.

— Э, голубок, видали мы таких чистеньких! Ангелы с крылышками, да и только!— Голос у Есенжола взвился вверх и задрожал. Он чем дальше, тем больше взвинчивался, срывался на крик.— Думаешь, все ослепли, бдительность потеряли? Не все! И у нас есть глаза и уши!.. Ты у себя в Красной юрте какие книжки собираешь? А?.. Какие, говорю, книжки?..

— Как это — какие? Те самые, которые советские издательства выпускают.

— Их предатели выпускают, вроде твоего племянничка! Все вы одного поля ягода... Я, думаешь, не знаю, какие книжки у тебя летом сын Есенжана брал, студент?.. Все немецкие да американские. А нашим грамотеям ты что суешь? Старые книжки, старые! Которые о прошлом плачут, про них и в газетах писали! Спалить бы давно их надо, а ты припрятываешь. Может, ответишь — зачем? А?.. Молчишь? Ну, молчи. Зато честные люди молчать не будут!..

— Заткни свой поганый рот, бесстыжая тварь!— Казы ухватил Есенжола за ворот.

Их уже со всех сторон обступили соседи.

— Вот так, уважаемые! Смотрите!— сказал Есенжол, воздевая руки.— Смотрите... Его борзой моего пса задрал, а теперь он и меня хочет убить. Будьте свидетелями!..

— Мразь!— процедил Казы сквозь зубы.— Или тебе и вправду набить рожу!..

— А ты попробуй, попробуй...— Есенжол без усилия высвободил ворот из разжавшихся пальцев и резко оттолкнул Казы. Глядя на своего недруга, неуклюже осевшего в снег, бросил:— Пьянчуга несчастный!— и, брезгливо хмыкнув, пошел прочь.

Лашыну остались непонятны слова, произнесенные во время скандала. Но ясно было, что причиной ссоры послужила его схватка с Бардасоком. Когда Казы схватил Есенжола за ворот, у борзого дыбом поднялась шерсть на спине, он бы кинулся хозяину на помощь, не помешай ему подоспевшие люди. Тем не менее Лашын не сомневался, что хозяин одержит верх над щуплым и тщедушным продавцом. Но случилось иначе...

Обычно Лашын не придавал значения тому, как люди относятся друг к другу. Правда, двуногие бывают

разные. Камила, например, пользуясь тем, что она больше Адиля, наедине частенько его поколачивала, после чего мальчик уходил, чтобы пригнать кобылу, или отправлялся за водой. А однажды, когда Камила особенно наседала на Адиля, Казы запустил в нее сапогом, который в тот момент стаскивал с ноги... Но всему этому Лашын не придавал значения. Зато схватка, причиной который был он, убедила борзого, что люди, подобно всему живому, делятся на сильных и слабых... Впрочем, уважение к хозяину у Лашына не уменьшилось. Поняв, что в трудную минуту он готов за него заступиться, не полагаясь на собственное превосходство над врагом, Лашын полюбил его даже больше прежнего...

## 7

Бардасок, едва избежавший смерти, теперь и приблизиться не смел к дому Казы. Стоило ему издали завидеть Лашына, как он поспешно прятался. Что же до Казы, то хоть он и потерпел поражение в стычке с Есенжолом, однако в присутствии продавца ничуть не робел. Раз в два-три дня он заходил в магазин, доставал из кармана похрустывающую бумажку и вручал Есенжолу, а за пазуху заталкивал бутылку, наполненную горькой водичкой...

Борзому нравилось, когда они с хозяином направлялись в ту сторону, где стоял дом продавца, примыкающий к магазину. Бардасок, почуяв их приближение, терял покой. Он забегал в сени, выскакивал наружу и снова прятался, а когда у него исчезали последние сомнения, предпочитал убраться со двора. Казы, впрочем, не заглядывал к Есенжолу в дом, он открывал дверь тесной лавчонки, в которой и двоим не повернуться, и тут же, на пороге, запускал руку в карман...

Дорога в ту сторону борзому была по вкусу, а обратная — нет. Стило ему немного удалиться от дома продавца, следуя за торопливо ковыляющим хозяином, как Бардасок, взобравшись на кучу прелого навоза, разражался вдогонку хриплым от ярости лаем: «Испугались? Ну, то-то же! Проваливайте прочь, пока целы!» Остановится Лашын, оглянется — черный кобель сразу же смолкнет. Еще и в подворотню забьется, поджав хвост. Но едва борзой тронется за хозяином, тот опять

за свое. Поначалу это злило Лашына, хотелось кинуться, проучить хорошенько наглого труса, однако вскоре он перестал обращать на него внимание. Другое тревожило Лашына. Вернувшись домой, хозяин ударом ладони о дно бутылки вышибал из горлышка пробку, наливал до краев граненый стакан и выпивал залпом. После этого, чувствовал Лашын, что-то в нем изменялось... Нет, собаку он не обижал и Камилу не трогал,— она и без того на цыпочках, тише тени ходила по дому... Обхватив руками голову, хозяин подолгу сидел без движения. Но каким бы смирным ни казался он, Лашын в такие минуты его побаивался.

Все дома наперечет в ауле, расположенном рядом с фермой. В магазин, снабжающий жителей чаем, сахаром, разным продовольствием и одеждой, за целый день явится три-четыре покупателя. Но Есенжол неукоснительно высиживает за прилавком положенное время — с десяти утра и до шести вечера. Стучит костяшками на счетах, что-то подсчитывает, распаковывает, увязывает. Разве что в обед позволит себе часовой перерыв, не считая воскресного отдыха. Зато уж если, скажем, в выходной день приедут чабаны с отдаленных зимовок, то проси не проси, а замок с дверей не снимет. «Магазин опечатан, права не имею нарушать государственные порядки,— говорит он сухо.— У меня, дорогие, одна голова на плечах». И остается либо поворачивать восвояси, либо дожидаться завтрашнего дня. Люди, которые круглый год пасли скот, не зная выходных, привыкли к такому обхождению. Им и в голову не приходило возмущаться или жаловаться. И хотя поговаривали, что Есенжол продает товары по завышенной цене, да еще и обсчитывает покупателей, на это смотрели тоже сквозь пальцы. Мол, здесь, в степной глуши, и за такой магазин спасибо, а разживется Есенжол десятью — пятнадцатью копейками — тоже не беда... Широка душа у степняков, не привыкла мелочиться, считать обиды!

Как-то Казы вернулся домой без привычной бутылки. Кончилась горькая водичка, не поверил бы, да сам Есенжол показал ему пустой ящик. Что поделаешь, раздосадованный Казы, прихрамывая больше, чем всегда, заковылял к дому. Хозяин был хмур, зато Лашын весел. Хрустя затвердевшим после бурана снегом, он кругами носился возле хозяина, раза два или три вывалялся в сугробе. С неба сеялись редкие кру-

пинки. Значит, к вечеру пойдет снег, и завтра они не станут отсиживаться дома.

Казы словно угадал, на что надеется борзой. Он сводил коня на водопой к роднику, потом поставил на привязи у плетня, вынес охапку душистого сена; зайдя в сарай, привел в порядок седло с принадлежностями. И только когда багрово-красное солнце, слабо просвечивая низкие облака, скрылось за горизонтом, они с Лашыном вошли в дом.

В комнате было сумеречно. Казы сбросил сапог, поставил у входа, снял протез, по обыкновению, затолкнул под кровать. И прилег перед печкой, облокотясь о подушку, поверх сырмака, настланного на сложенное вдвое одеяло. Собака расположилось у хозяина в ногах. Окно все плотней затягивала ночная темь, ползущая в дом сквозь обындевевшие стекла. Лишь отблески огня, с треском и шипеньем пожиравшего кизяк под чугунной плитой, вспыхивали на стенах и низком потолке. Порывистый ветер, задувая в трубу, временами гнал пламя внутрь, и оно выбивалось острыми язычками из-за печной заслонки. Тогда на мгновение комната озарялась тревожно и резко. Борзой видел, как хозяин, по-прежнему мрачный, безмолвный, лежит, уставясь в угол тоскующими глазами.

Кизяк в печи мало-помалу выгорал, превращаясь в подернутые сероватым пеплом угольки, темнота вокруг становилась все гуще. Только раскаленная чугунная плита под чайником и побулькивающим казаном угрюмо светилась багряным жаром. В казане варилось мясо, Лашыну щекотал ноздри запах поспевающей конины, сладко дурманил голову... Но хозяин вдруг поднялся и, прыгая на одной ноге, скрылся в соседней комнате. Он вернулся с домброй в руках. Вновь усевшись возле печки, он посидел, помолчал — и начал наигрывать незнакомую, не слышанную Лашыном до сих пор мелодию.

Пальцы его не ударяли по струнам, а как бы осторожно, едва касаясь, пересчитывали их. Мурашки, неведомо отчего, побежали у собаки по телу. Грусть, странная, непонятная, заполнила душу,— грусть и словно бы ожидание чего-то. Лашыну представилось урочище с колышущейся зеленой травой, и вершины холмов, и желтая, опаленная солнцем степь. И будто бы пробираются они с хозяином по некошеному лугу, а потом переваливают гряду бесконечных, вдаль уходя-

щих сопок и устремляются в неоглядно широкую степь. Прохладой веет с ласково-синего неба, ровно и весело рысит конь. Мелкая пыль вьется кудрявой пряжей из-под копыт и тут же рассеивается, будто растворяется в воздухе. Следам снующего повсюду зверья нет числа. Но они едут все прямо и прямо, не обращая на них внимания. Ах, сколько запахов! Лашын водит носом, ловит запах полевых цветов, запах полыни, ковыля, запах знакомых и незнакомых тварей. Вон из-под куста в испуге метнулся заяц, а там, под густыми зарослями таволги, затаилась лисица... Но охотничий азарт заглох в борзом: он не кидается к лисице, не терзает клыками, не душит, придавив к земле. Нет. Одно-единственное чувство целиком захватило его, одна-единственная мечта... Что это за чувство, что за мечта — Лашын и сам не знает. Перевалы и сопки опять и опять сменяются новыми перевалами и сопками, нет края у желтой степи... А они с хозяином стремятся вперед и вперед...

И вдруг — всему конец. Не в силах перевести дыхание, хозяин зашелся, захлебнулся в кашле. Оборвалась песня домбры... Громыхнула дверь, и в окружении морозных клубов появилась Камила. Она, видно, продрогла, устраивая на ночь скотину, и еще дверь не успела закрыться, как послышалась ее воркотня. Казы удержал в груди кашель и, дыша с присвистом, помалкивал. Камила, по-прежнему ворча, скинула на ходу верхнюю одежду, присела на корточки, протянув руки к догорающей плите, немного согрелась, потом засветила десятилинейную лампу, пододвинула к Казы круглый стол, расстелила скатерку. Лампу она поставила на стол поближе к дверям, а сама, взяв большое, с полустертой росписью блюдо и дуршлаг, принялась вынимать из казана мясо.

Хозяин, разрезая конину, бросил борзому жирную мозговую кость. На ней уцелел кусочек мяса — размером с детский кулачок. Камила что-то неодобрительно буркнула. Казы и теперь промолчал, положив перед женой позвонок, обросший мясом на добрый палец. Камила, однако, не оценила этого и тут же сердито затараторила о чем-то. Ее маленький, с наперсток, румяный рот не закрывался, черные блестящие зрачки, казалось, рассыпают искры, миловидное лицо потемнело. Глядя на нее из своего угла, борзой и костью не мог насладиться в полное удовольствие. Что-то подо-

зрительное чуялось ему, страх зябким ветерком тронул его затылок... Он успокоился немного, лишь когда Камила сполна выговорилась и утихла. Хозяин и его жена принялись за еду, но были оба хмуры, озабочены. Лашын поймал на лету кость, брошенную ему...

Эх, даж то невеселое времечко в воспоминаниях будет казаться я Лашыну завидным...

## 8

Наутро, раным-рано, когда так и манило подремать до рассвета, они с хозяином поднялись и, едва забрезжило на востоке, отправились в путь. Снег, недолго падавший вчера вечером, сдуло порывами ветра в низкие места, и теперь на фоне застарелой, потемневшей корки, покрывающей из конца в конец всю степь, он выделялся белесыми пятнами. Пестрой и безрадостной выглядела равнина, словно сшитая из грязных лоскутьев. От предутренней стужи воздух сделался жестким и острым, как стальное лезвие. И подобно реке, скованной льдом в ветреный день, коченела в тяжелом безмолвии степь с глыбами приземистых сопок, изломанными гребнями холмов, и не было кругом ничего живого, радующего глаз, кроме чернеющих то здесь, то там редких кустов таволги. Но то ли от холода, то ли от предчувствия кровавых схваток все тело борзого, едва они вышли из дома, пронзила легкая дрожь.

Аул остался позади. Лашын постепенно пришел в себя, бег его стал живее, стремительней. Он продвигался впереди хозяина, на расстоянии аркана, уклоняясь то вправо, то влево, зорко посматривая по сторонам. Казы понимал, что нелегкое дело в такой день и на след напасть, и поймать лису, но тем не менее надеялся на удачу. Авось подфартит судьба, и случай, как говорится, подмаслит тороку седла...

Позади, отделив от горизонта длинное, похожее на ленту облако, показалось солнце. Оно было большое и круглое, как крышка у казана, и красное, как раскаленное в огне железо. Лучи его, разливаясь во все стороны, не согревали, казалось, небо и землю, а добавляли холода. И все же мир преобразился. Мертвая, оцепеневшая степь вздохнула и ожила. Если теневая сторона заснеженных гребней выглядела по-прежнему темной, зловещей, то солнечная заиграла, вспыхнула золотисто-розовыми блестками. Ну, а лощинки, где ско-

пился выпавший накануне снег, засверкали чистейшим серебром.

Еще через некоторое время, когда сумрачные долгие тени стали короче и посветлели, как бы подтаяли на белесом снегу, впереди метнулся заяц. До него было далеко, но у Лашына уже давно гудели лапы, и, хотя заяц, почуяв опасность, тут же помчался вверх по косогору, пес прямо с места рванулся за ним. В темпе, который он взял, ему понадобилось совсем немного, чтобы приблизиться к зайцу. Казы, пришпорив коня, не сомневался, что вот-вот перережет заячью глотку, разбрызгав по снегу алую кровь, и подцепит белую тушку задними лапами к своему седлу. Вероятно, и Лашыну мерещилось то же самое... Но случилось иначе. Заяц, слыша у себя за спиной нарастающее хрустенье снега, летел стрелой. Лашын выложился до конца, но расстояние между ними не сократилось. Оба выскочили на разглаженное в ровную площадку плато. Но как ни трамбовал его ветер, а снег здесь был все же рыхловат. Зайца-то он выдерживал, а собака в нем проваливалась то и дело. Лашын видел: заяц медленно, но верно удаляется от него...

Он успел на своем веку переловить столько лисиц и зайцев, что хорошо усвоил: звери бывают разные — и тихоходы, не способные к быстрому бегу, и резвые, словно ветер, а потому в конечном счете все решается не только тем, с близкого или дальнего расстояния началась погоня. Этот долгоногий беляк, уже начавший линять с хвоста — хвост был заметно темнее тела,— явно выделялся среди своих собратьев. Он то собирался в горсть, то расстилался над землей — и мчался так, что ни одной живой душе не угнаться. Но гордость пса, не знавшего поражений, ни за что не дала бы Лашыну признать себя побежденным. Где там! Рано или поздно, а он поймает и этого косого, схватит, распотрошит... Он старался бежать ровно, кровь бесчисленных предков придавала ему задора, он стремился только не упустить зайца из виду.

Подъем за подъемом, лощина за лощиной. Тяжестью налились ноги, но Лашын не сдавался. Наконец, когда пересекли заросшую кияком и засыпанную рыхлым снегом низину и стали вновь подниматься вверх по склону, Лашын заметил, что заяц от него всего на расстоянии аркана. И бежит уже не так сноровисто, как прежде. И длинные уши у него обвисли от уста-

лости... Пес напрягся, собрал последние силы и рванулся вперед. Но заяц, обезумев от страха, первым выскочил на перевал. Выскочил,— и ринулся вниз, туда, где чернели кусты караганника. Измотанный пес только зубами лязкнул, увидев, как беляк нырнул в чащу. Борзого хлестали по морде промерзшие ветки, он с трудом продирался сквозь них. Тем временем юркий заяц окончательно ускользнул от него и бесследно пропал. Бесследно — потому что внутри зарослей караганника, тянувшихся по склону сколько видел глаз, было множество заячьих троп, спутанных, петляющих, пересекающихся, отыскать среди них единственно верную было невозможно. Лашын, высунув язык, тяжело дыша, потерянно ткнулся в одну сторону, потом в другую, понял, что потерял длинноухого, и повернул назад.

Казы, в шубе с разлетающимися на ветру полами, гнал запаленную лошадь по следу Лашына. Увидев борзого, он спрыгнул с седла, неуклюже крутнув в воздухе деревяшкой. Первым делом он внимательно пригляделся к собаке, осмотрел морду, пасть, возбужденно дышавшую грудь. Но кровяных брызг на белой шерсти не заметил. Как же так?.. Он был не столько раздосадован, сколько удивлен. До сих пор Казы полагал, что не найдется зверя, которого упустит его собака. Наверное, вся беда в насте, покрывающем снег и ломающемся под тяжестью борзого...

Сезон, когда охотятся на зайцев, уже миновал. Но по приметам, в которые кто верит, кто нет, если на выезде из дома встретится заяц, его непременно надо затравить. Иначе охота в тот день выдастся неудачной и назавтра вряд ли что-нибудь путное подвернется... Ну да к чему дальше мешкать? Казы проверил у собаки лапы. Они были целые, только сам пес выглядел унылым и глаза смотрели виновато, пристыженно. Весь покрытый игольчатым инеем, он слегка дрожал. Скинув шубу из поярковых шкурок, Казы разостлал ее на снегу и укутал пса. Потом вынул откуда-то небольшой кусок желтого курдючного сала и вложил собаке в пасть.

Когда прошло время, достаточное для одной дойки, Казы оседлал коня и повернул его в сторону аула. Что делать, приходилось смириться с тем, что сегодня им не повезло... Но Лашыну, видно, думалось иначе. Силы у него восстановились, он успел передохнуть.

Борзой, по обыкновению, вырвался вперед и рыскал, сворачивая то вправо, то влево, дотошно выискивая след. Правда, без всякого успеха. Таким образом они двигались довольно долго, прежде чем добрались до широкого плоскогорья. Здесь паслись овцы. Затвердевшая на морозе корка тут и там была пробита острыми копытцами, зернистый снег перемешан с землей и мелкой ледяной крошкой. В нем тонули, пригревшись на солнце, темные овечьи катыши. Кое-где подрагивали, пригибаясь под ветром, редкие, чахлые былинки, уцелевшие от нашествия многочисленных отар.

На пастбище борзой, уже совсем, казалось, потерявший надежду отыскать след, сразу почуял присутствие незнакомого запаха. Запах был свежий, зверь, видно, только что здесь прошел. Лашын закружил на месте, принюхиваясь, и тут же напал на след. Обыкновенный собачий след, оставленный на снегу, взрыхленном овечьими копытцами... Но запах... Нет, конечно же, это не заяц. И не лиса. Слишком крупный отпечаток. Это враг. Да, враг... Пес возбудился; недавняя злость, связанная с потерей зайца, вновь заклокотала в нем. От кончиков ушей до хвоста по телу Лашына пробежала резкая дрожь, на спине шерсть поднялась дыбом: немного постояв, как бы успокаивая себя, борзой тронулся вперед.

Враг — а Лашын, не зная, кто это, уже совершенно отчетливо чувствовал, что это враг,— бежал вдогонку за отарой, которая разбрелась по пастбищу. Лашын трусил не торопясь, чтобы не потерять взятый след. Когда он поднялся на перевал, километрах в полутора показалась пестрая, из черных и белых пятен, рассыпанная по косогору отара. Здесь, на приволье, паслись овцы между темневшими кое-где кустами таволги и уже проступившими на снегу проталинами. И было видно, как чабан, сидя на противоположном склоне, от скуки забавляется тем, что складывает из камешков курган. Конь его, со спутанными ногами, пощипывал внизу прошлогоднюю травку...

Неожиданно прямо перед собой Лашын заметил рослого серого пса. Порысит-порысит — и остановится позади какого-нибудь выступа или холмика. Будто хоронясь... Боевой дух взыграл в борзом, лай — пронзительный, яростный — рассек стылое безмолвие. Раза два или три подал голос Лашын — такого никогда не случалось — и кубарем покатился вниз по склону.

Где-то за спиной раздался подбадривающий окрик хозяина.

Серый резко приостановился, едва почувствовал опасность, и тут же повернул в сторону высоких сопок. Его, вероятно, смутил не только человек, упорно скакавший следом, а и собака, грудастая, крупная,— часто оглядываясь на нее, он невольно замедлял бег. Ему не удалось уйти далеко, пес настиг его за первым же перевалом.

Голос хозяина подхлестывал борзого, и Лашын, чуя, что противник его боится, нагнав серого, по старой привычке, как лису, вцепился зубами ему в пах. И хотел вскинуть в воздух и с силой шмякнуть о землю. но серый оказался куда тяжелее, чем Лашын предполагал. И тело у него было мощное, крепкое, он сразу дал понять Лашыну, что его не так-то просто подмять под себя; только зад у него дернулся, когда Лашын ухватил зубами волчье тело.

И в тот же миг острые клыки щелкнули у самого уха Лашына. Но серый не рассчитал, оборачиваясь, и чуть-чуть не дотянулся, чтобы вцепиться борзому в морду. Когда он вторично, с красными, налитыми кровью глазами, наскочил на пса, сверкнув оскалом длинных белых зубов, Лашын успел увернуться. Серый глотнул пустой воздух, но зато сумел высвободиться из железной пасти борзого.

Раздался крик,— это кричал скакавший на коне Казы. Серый, оставляя позади кровавый след, пустился бежать. Лашын кинулся за ним, взбешенный тем, что не сумел в схватке одолеть и подмять волка. Но что на сей раз противник попался не из слабых — это он уже понял. И понял, что лишь быстрота и увертливость помогли ему самому остаться невредимым. Однако страха у него не было, напротив, ожесточение придавало ему силу и смелость.

После того как борзой чуть не до смерти закусал Бардасока, он стал охочим до драк. Не было от Лашына покоя собакам, которые сопровождали хозяев, приезжавших в аул с окрестных зимовок. Быстрый, ловкий, сноровистый, как и положено псу его породы, Лашын одерживал верх над сторожевыми собаками, не уступавшими ему в силе. Случалось и борзому отведать их клыков. Но из любой схватки в конечном счете он выходил победителем. А собака, хотя бы раз побывавшая

его жертвой, больше никогда не рисковала заглядывать в аул.

Помня о прежних победах над косматыми сторожевыми псами, Лашын решил применить испытанный прием. Следовало, улучив момент, вцепиться волку чуть пониже уха или в глотку. Волк, почуяв, что бегством ему не спастись, уже не надеялся на свои ноги. Он видел, что единственный шанс уцелеть — это осилить противника в кровавом поединке. Угрюмым, беспощадным огнем горели его глаза.

Волк и собака, следя за малейшим движением друг друга, бежали почти рядом, почти соприкасаясь мордами и стараясь улучить подходящий момент для нападения. Они порядком опередили Казы, который следовал за ними. Серый только того и дожидался: он внезапно прервал бег и стремительным скачком рванулся к Лашыну, по инерции продолжавшему двигаться вперед. И на этот раз увертливость спасла борзого — волк успел вцепиться ему в бок и вырвать кусок мяса меж ребер, но и только. Из раны хлестнула кровь...

Лашын, впрочем, не заметил этого в пылу схватки. Ему почудилось было, что бок опалило пламенем, но и это чувство тут же исчезло, растворясь в ярости, которая теперь бушевала в каждой его жилке.

И все же он пока не кидался на волка. Это волк, все с тем же угрюмым, беспощадным огнем в глазах, наскакивал на пса, напряженно замершего, неподвижного. И ни звука не издавали ни тот, ни другой — не было слышно ни лая, ни рычанья. Только учащенное дыханье вырывалось из волчьей пасти да зубы щелкали, хватая воздух.

Лашын выжидал. Ему достаточно было поймать волка на единственном неверном движении, чтобы сокрушающим броском закончить поединок. Все решала выдержка...

И он дождался своего. Волк, поверив, что он намного превосходит собаку в силе, утратил терпение и осторожность. Рывок...

Но Лашын ловко увернулся и в свою очередь кинулся на волка. Он целил в глотку. Но просчитался — вцепился в толстую волчью шею. Зато вцепился намертво. Зубы его глубоко вошли в волчье тело. Волк тоже попытался ухватить собаку за плечо, но зубы лишь содрали лоскут кожи, покрытый гладкой шерстью. Лашын продолжал все глубже вонзать клыки, намере-

ваясь вывернуть волку шею и свалить зверя на землю. Однако тот не поддавался. И мускулистая шея была крепка, клыки словно вросли в нее и затвердели. Но Лашын чувствовал, долго волку в таком положении не продержаться, и яростно рычал, пытаясь плотнее сомкнуть челюсти. Только бы не дать вырваться... Вдруг позади раздался конский топот и зычный голос хозяина. Волк, упершийся в землю всеми четырьмя лапами, чуть ослаб, подался, и Лашын, ощутив новый прилив сил, в один миг свернул зверю шею. Волк упал, неуклюже задрыгав лапами в воздухе. И все-таки он еще не сдался, еще пробовал подняться, столкнуть с себя борзого, и комья снега, перемешанного с землей, летели из-под его лап.

Но в это время, бормоча себе под нос «бог в помощь» или что-то в этом роде, с лошади скорее скатился, чем спрыгнул, Казы. Спотыкаясь и падая на бегу, он выхватил из-за голенища широкий охотничий нож и полоснул волка по брюху.

Пришлось вложить борзому в пасть конец рукоятки камчи, чтобы разжались сведенные намертво челюсти. На боку у Лашына была рана, довольно большая, но не опасная: на ребрах была содрана кожа, вырван клок мяса...

Заживет. А раны на груди, на лопатках — так, простые царапины, затянутся через пять-шесть дней. Казы был рад, что удалось остановить кровь, сочившуюся из тела собаки.

И в самом деле, Лашын вскоре поправился. Правда, рана на боку, размером в ладонь, довольно долго гноилась, но наконец и она заросла рубцом...

Зато Казы, которого на охоте прохватило холодным ветром, слег в постель.

## 9

Стаял снег, в степи зазеленело, и небо, поголубев, словно раздвинулось вглубь и вширь. Семья Казы погрузила на скрипучую, высохшую арбу старую войлочную юрту, которая долго хранилась в сарае и, пристроясь к цепочке верблюдов с такой же поклажей, направилась в сторону джайляу, на сенокос. Красная юрта перешла под начало жены Есенжола — картавой Айсулу. Казы это не огорчило. Чувствуя, что болезнь одолевает, он предпочел вести спокойную жизнь, не ере-

пениться попусту и пить свежий кумыс от собственной кобылицы.

Сенокосный аул — так называли пять-шесть юрт, где жили скотоводы, обязанные заготовить сено и корма для колхозных отар. А овцы, которых пасли они сами, на лето были розданы по соседним отарам. Поэтому у каждой семьи осталось две-три собаки, временно лишенных привычного занятия. Многие из них были простые дворовые кобели, но встречались редкие полукровки. Некоторые оказались знакомцами Лашына, не раз получавшими от него взбучку, с прочим — тем же порядком — познакомился он теперь.

Хозяева нередко вступались за покусанных собак, доходило до ссоры, но не до такого жестокого скандала, как тот, что случился зимой между Казы и Есенжолом.

Собаки — они и есть собаки, стоит ли из-за них оскорблять друг друга?.. После того как все обосновались и пообвыклись на джайляу, однажды в густеющих вечерних сумерках на тарахтящей, быстроходной арбе, которая двигалась сама собой, в аул прикатили трое незнакомцев, на взгляд Лашына — чрезвычайно странно одетых, и, не задерживаясь долго, увезли с собой Казы. Лашын, впрочем, не придал этому событию значения. Он был в расцвете сил, в поре зрелости, когда перед ним впервые приоткрылся неизведанный и влекущий мир чувств, о которых до того времени он не имел представления. И всему причиной была сука — полукровка по кличке Ушар. С того времени, как она вошла в период течки, все аульные кобели бегали за нею по пятам.

Вот когда закипели кровавые сражения!.. Лашын зачастую оставался в одиночестве, и не так-то просто ему бывало устоять против целой своры разъяренных собак! Шерсть взлетала клочьями, иные, ростом с годовалого теленка, лохматые псы лишались уха, иные бежали с поля битвы, истекая кровью, но и сам Лашын потом подолгу зализывал глубокие раны. И все же, одолев соперников, он остался единоличным обладателем красавицы Ушар. Прочие собаки, поглядывая, как они развлекаются, только кружили в отдалении, не рискуя им помешать.

Но не успел борзой в полной мере насладиться торжеством, как вместе с другими аульными ребятами приехал на летние каникулы Адиль. И первое, что он

сделал, это разогнал палкой остальных собак, взял за ошейник Лашына, привел к юрте и привязал к порогу на волосяной повод. Борзой хоть и радовался появлению маленького хозяина, но такой поступок не мог одобрить. Однако ни жалобное поскуливание, ни беспокойный лай не тронули Адиля. Он освободил пса только тогда, когда все собачьи страсти в ауле приутихли.

Адиль во многом изменился. Он, разумеется, за год подрос, отпустил на лоб челку, но главное — сделался не по возрасту серьезен. Говорил мало, во всем старался походить на взрослого. Игры с аульными детьми его не привлекали.

В юрте было с десяток толстых и тонких книг, ими-то и занялся Адиль, каждой по очереди. С одной же и вовсе не расставался — читал и про себя, и вслух, с выражением. И когда слышался в юрте звонкий голос Адиля, дверь широко распахивалась от легкого удара посоха и в юрту входил старый Омар, перебравшийся вместе с Казы на джайляу и здесь исполнявший обязанности точильщика кос.

Он располагался на торе, подвернув под себя по-турецки ноги, слушал мальчика и спрашивал:

— Про какого батыра ты читаешь — как его имя?

— Алпамыс.

— Умница, голубок... Одинокому, говорят, бог — опора. Он тоже у отца с матерью единственный был, как ты. В огне не горел, в воде не тонул, стрела его не брала и меч не рубил, в одиночку против многотысячного войска ходил, потому что храбрым батыром был, мужественным, страха не ведал. Нет уже батыров таких, перевелись... И силы такой нет в человеке. Зато знания есть, мудрые книги,— они дают человеку могущество, силу, крыльями награждают, львиное сердце дарят, зажигают звезду в груди. Учись, голубок. Улыбнется тебе судьба — станешь настоящим джигитом, достойным человеком. Готовься к этому дню и остерегайся прийти к нему ни с чем. Учись. Будешь хорошо учиться — добьешься всего, чего захочешь.

И оба молчат, задумавшись. Наконец Омар говорит:

— А теперь, Адильжан, уважь старика, читай дальше...

Так случается почти каждый день.

Иной раз Адиль, как и в прошлое лето, берет Лашына с собой и уходит с ним далеко от аула. Но уже

не прыгает через встречные ямы и кусты, не размахивает ивовым прутом на бегу, крича во все горло, не вслушивается в эхо, возвращающее голос, отраженный сопками, не валяется, резвясь, в сочной траве. Увидит какую-нибудь сопку повыше — взберется на нее, усядется на камень и сидит, в молчании глядя на извилистую дорогу, проложенную от степи колесами тряских телег, исчезающую на горизонте; дует ровный ветерок, шевелит на лбу коротенькую челку.

В такие минуты Лашын блаженствует, пристроившись рядом с Адилем, на каком-нибудь замшелом камне, подставив, как и мальчуган, грудь дыханию степного ветра и грея спину на солнце.

В пору, когда начали вянуть кончики трав, однажды после обеда вместе с Беккали, выезжавшим в райцентр, в аул возвратился Казы. Адиль читал старому Омару свою книгу и как раз дошел до того места в поэме о Ер-Таргыне, когда батыр, искалеченный, брошенный своими сородичами, лежит в горах Булгыр... Заслышав голоса, мальчик выбежал из юрты. Отец, только что спешившись, обнял его, и Адиль заплакал, зарывшись лицом в отцовскую грудь.

Вечером весь аул собрался в четырехкрылой юрте Казы. И все были веселы, особенно старый Омар. Он с великим трудом сохранял степенность, которая приличествует умудренному жизнью аксакалу. Но едва входил в юрту новый гость, как он поворачивался к Казы и громко, так, чтобы все слышали, говорил:

— Правда гнется, да не ломится... Нет, не зря сказаны эти слова!.. Если ты цел и невредим вернулся домой, избавился от напасти, значит, есть справедливость на свете. Видно, услышал аллах Адиля и его мать. Возблагодарим же создателя, всемилостивого, всемогущего!— И Омар то закладывал за губу комочек зеленоватого насыбая, то снова его вынимал, вспоминая при этом давние лишения, которые выпали на долю народа, а также совсем еще недавнюю страшную войну, и опять благодарил бога за то, что все эти беды остались позади.

Ну, а сам Казы говорил мало, больше молчал. И только прижимал Адиля к груди, только гладил его по голове, ворошил отросшую за лето челочку на лбу. Иногда Казы начинал душить кашель, и тогда на него становилось больно смотреть... Он очень изменился внешне, осунулся, побледнел. И отпустил черные

смоляные усы. Они шли ему, но, кажется, еще больше подчеркивали худобу лица.

Казы так и не удалось оправиться от болезни после возращения. Когда аул, меняя стоянку, перебрался к Суыкбулаку — Студеному ручью, он коснулся щекой подушки, с которой уже не суждено ему было подняться. Умер он посреди ночи. В те дни над Суыкбулаком лили дожди, работа в поле прекратилась, все взрослые мужчины были дома. Вблизи от стоянки, на которой расположился аул, на вершине пологого холма, что чуть ниже родника, вытекающего из ущелья, вырыли могилу глубиной в рост человека. Как положено обычаем, не мешкая долго справили жаназу[1] по покойному, а назавтра с рассветом предали мертвое тело земле. Не было человека, который бы не прослезился. У старого Омара дрожал и срывался голос, пока он читал заупокойную молитву. Только Адиль стоял безмолвный, бледный. Когда обернутое белым саваном тело опустили в могилу, глаза его увлажнились. Как подсказали ему старшие, он зачерпнул рукой горсть черной отсыревшей земли, кинул в могилу и, не дожидаясь конца похорон, ушел.

Когда хозяин, уснув с вечера в своей постели, утром так и не проснулся, это не очень встревожило Лашына. И когда его унесли и зарыли в землю, Лашын не почувствовал особого беспокойства. Мало ли непонятного в людской жизни? Хозяин проспится хорошенько и очнется, пробудится от сна, вернется домой. Ведь и раньше он, бывало, уезжал, но всегда возвращался. А на этот раз он и вовсе ушел далеко. Лежит прямо за аулом. И не сегодня-завтра поднимется...

Однако чем чаще навещал борзой могильный холмик, тем тоскливей делалось у него на душе. Что-то смутное начинало его тяготить. Что-то похожее на боязнь — а вдруг хозяин залежится надолго, вдруг будет пустовать без него дом, как это случилось летом, когда пропадал он целых три месяца... Вспоминая то время, Лашын чувствовал себя одиноким, заброшенным. И когда Омар, посадив на запряженную быком арбу пять или шесть ребятишек, отправлявшихся в школу, выехал из аула, борзой увязался за ними. Как ни пытался отогнать его Адиль, пес не отставал. И только

---

1 Жаназа — молитва по умершему.

тогда повернул назад, когда тот, соскочив с арбы, запустил в него камнем.

Лашын был обижен, и обижен без всякой вины... Это он чувствовал. А понять, что чувствовал Адиль, уезжавший на тряской арбе из аула,— это было ему, разумеется, недоступно.

## 10

Казы по-прежнему спал на вершине сопки. Спал не просыпаясь. Не пытаясь хотя бы разок заглянуть домой. Между тем листья пожухли, помрачнело небо, сенокосный аул рассеялся — люди разъехались по своим зимовкам. Камила с Лашыном тоже вернулись к себе на ферму. А Казы как лежал в земле, так и остался лежать поблизости от старого становища.

Пустота была в доме, в каждой из трех его комнатенок. Бежать без оглядки хотелось отсюда, от жутковатой этой пустоты.

Но и в степи было безрадостно. Зарядили дожди. Впрочем, и дождем-то это не назовешь. Так, моросит и моросит с утра до вечера, ни на минуту не перестанет. Хоть бы ливень пролился, что ли, или в небе прояснело, а то сыплет мелкими капельками, всю даль сплошным туманом затянуло — ни то ни се. А прервется ненадолго дождь — задувает ветер, промозглый, пронизывающий до самых костей...

Холодно. Тоскливо.

Да к тому же и голодно, если правду сказать. Не наедается теперь Лашын досыта, как бывало. Порой Камила и вовсе забудет, существует на свете он или нет. Как-то раз, когда борзой, чтобы напомнить о себе, стал путаться у нее в ногах, она даже пнула его, чего прежде никогда не случалось. Пнула, прогнала от себя, словно какого-нибудь попрошайку... Что ж, Лашын больше не надоедал ей. Он укладывался, свернувшись, в углу, за печкой, и терпеливо ждал хозяина. Стоило отвориться двери, как тут же вскинется с лап его голова, но в дом входит чужой человек. Послышатся снаружи мужские голоса — Лашын вскочит, распахнет дверь толчком, вылетит во двор... Но не видно хозяина среди беседующих.

Терпел, но не мог притерпеться, привыкнуть к такой жизни Лашын. Единственной надеждой для него было, что все-таки вернется хозяин.

Как-то в сумерках вошел в дом Есенжол. Камила, давно уже неулыбчивая, хмурая, повеселела. В казане булькало, варилось мясо. Есенжол, переступая порог, что-то сказал, смеясь, и как ни в чем не бывало расположился на торе. Камила торопливо накрыла стол и принялась выкладывать баранину на блюдо. Есенжол вынул из-за пазухи бутылку с прозрачной водицей, поставил на скатерку. Когда он смеялся, его рябое личико сморщивалось, сжималось в горстку. Едва перед Есенжолом оказалось блюдо, исходящее сладким паром, как он первым делом накидал перед Лашыном целую груду костей. Да каких — мозговых, с кусочками не срезанного ножом мяса! Впервые с тех пор, как вернулись они с джайляу, пес мог вдоволь насытиться. И злая давнишняя обида, жившая у Лашына в сердце, исчезла, улетучилась, он был благодарен гостю за его доброту. От вкусной еды, наполнившей пустой желудок, Лашын всем телом расслабился и, умиротворенный, довольный, начал подремывать. Веки его будто склеились, он заснул.

Неизвестно, сколько он проспал, перед тем как очнуться от странного стона. Лампа была не потушена. Стол не убран. Блюдо с остатками мяса по-прежнему стояло посреди стола, и рядом — опустевшая бутылка.

Лашын снова начал погружаться в дремоту, но послышались те же звуки. Он понял — это голос Камилы. Стон доносился из соседней комнаты. Казалось, кто-то душит женщину, она задыхается...

Сон пропал в одно мгновение, и собака, прыгнув через стол, кинулась на помощь. При свете лампы, падавшем через открытую дверь, он увидел, что Есенжол подмял под себя Камилу на постели. Борзой устремился к нему, рванул одеяло. Вслед за тем острые клыки по самые десны ушли в голый жирный зад.

Отчаянный вопль разнесся по дому. Оба в страшной суматохе соскочили с постели. Но когда собака вновь ринулась на Есенжола, Камила, в чем мать родила, вместо того чтобы помочь, набросилась на самого Лашына. В руках у нее в тот момент ничего не было, а пес, рычащий, с налитыми кровью глазами, не думал отступать. Наконец Камила схватила палку Казы, обычно стоявшую в ногах у кровати, и выгнала борзого на улицу. Первый раз в жизни Лашыну пришлось заночевать во дворе, а не у себя в доме, под крышей, в тепле...

С того дня совсем скверно жилось Лашыну. Миска его постоянно была пуста. Оставалось пробавляться отбросами на мусорной свалке, а иногда и голодать по два-три дня. Но в самые голодные дни не рыскал он, подобно Бардасоку, по дворам, не вынюхивал что-нибудь съедобное в вонючих помоях. Уж лучше промышлять мышами, чтобы не подохнуть с голоду. Однажды поблизости от аула ему посчастливилось даже поймать зайца.

Куда труднее оказалось переносить осеннюю непогодь. Борзой искал прибежища, зарываясь в солому, сложенную кучей за сараем. Но плохо согревала она пса, выросшего в четырех стенах. Особенно под утро, когда белела от инея трава и еще злее задувал пронизывающий ветер, борзой, не зная, куда деваться, дрожал всем телом. Ну, а в дождливые ночи ему приходилось и совсем туго. Лашын усаживался под стенкой сарая с подветренной стороны и так встречал рассвет. Не пытаясь ни скулить, ни просить Камилу отворить дверь, зная, что все равно она не смягчится.

Один-единственный человек в ауле сочувственно относился к борзому. Старый Омар, заметив как-то, что пес ночует на улице, под открытым небом, пришел за Лашыном и увел к себе домой. И велел хорошенько покормить его. Надеялся Омар, что борзой переспит у него, но не тут-то было. Пес, похоже, только и дожидался, пока откроется дверь, чтобы вылететь опрометью на улицу. А затем вернуться на свое прежнее место, к сараю.

Не раз и не два Омар возобновлял свои попытки, но собака так и не прижилась у аксакала. Поест — и снова восвояси. Как можно — вдруг хозяин вернется?.. Лашын готов был теперь не отступаться от него ни на шаг. Бегать за ним повсюду, куда б тот ни направился. Только бы не потерять вновь... Но так и не появлялся хозяин. Случалось, иногда через день, иногда через два-три дня, после полуночи или в предрассветных потемках, кто-то осторожно постукивал в оконное стекло, и Камила открывала. В первый раз борзой, уверенный в том, что явившийся в столь неурочный час человек и есть его хозяин, тут же вскочил с места и побежал было к нему, но увидел всего-навсего проскальзывающего в дом Есенжола. Вскоре негромкое постукивание в оконце и ответный скрип двери стали для Лашына привычными. Он оставался у себя на сене

и не двигался. Душа к Есенжолу у него никогда не лежала, но все же, чувствуя, что его вмешательство здесь неуместно, пес, незлобивый по природе, затаил свое недовольство глубоко внутри.

Однажды среди ночи хлопьями повалил снег. Ночь выдалась безветренная и была теплее обычного. Отощавший пес провел ее в полудреме, зарывшись в солому. И раскрыл глаза, лишь когда стих снегопад. Все вокруг было белым-бело. В очищенном, прозрачном воздухе удивительно четко проступали очертания холмов, как бы отступивших за ночь от аула в далекую даль. Борзой потянулся, расправляя занемевшее тело, и шумно встряхнулся. Потом, вдохнув полной грудью свежий, бодрящий воздух, прыгнул на месте раз, другой... Что-то давнее проснулось в нем, и смутно захотелось прижаться, приласкаться к кому-то... Он обежал двор. Кто-то заходил в дом и не сразу, а спустя некоторое время вышел. Следы, которые вели к двери, успел припушить снег; те же, что тянулись со двора, отпечатались ясно, даже узоры на подошвах сапог были заметны. Это Есенжол. А от хозяина, видно, по-прежнему нет вестей...

Лашын постоял немного, вглядываясь в контуры отдаленной гряды сопок, затем неохотно, как бы против воли, медленным шагом двинулся из аула. На окраине задержался, опять постоял. И уже решительно, не оглядываясь, затрусил прямиком в сторону Суыкбулака.

## 11

Поверхность выпавшего за ночь снега успели испещрить следы множества зверей. Здесь все как на ладони. Кто пришел, когда, куда держит путь — Лашыну с первого взгляда понятно. Вот прорысила на трех лапках желтая ласка. Следы ее исчезают неподалеку, под кустом таволги, чтобы шагов через десять-пятнадцать снова обнаружиться на снегу... И в самом деле, они тут как тут. Теперь ласка повернула направо. Но Лашыну она ни к чему. Маленький зверек, какая ему цена?.. Ну, а тот след, что идет наперерез,— это хорек. Хоть и невелик, а силен и увертлив, и отчаянный — страсть! Любил его хозяин. Бывало, идут они по следу лисицы, а встретится хорек — непременно свернут за ним. Но сейчас Лашын торопится. Как-нибудь после, вместе с хозяином, будет случай сходить на хорька... Лисий

след. Наверное, резво бежала, хвостом помахивала, пушистым, игривым... Тоже прошла стороной, и незачем ее преследовать. А это лисенок. Ну да бог с ним, пускай себе прыгает. И снова лиса. След свежий, недавно пробежала. По следу легко догадаться — самец. Эх, и стелется же сейчас где-то по снегу, сверкает на солнце рыжим огнистым языком... Где-то близко, один-два холма их разделяют. Жаль!

Но нет, не выдержала душа. И только пустился Лашын по следу, только взобрался на первый же гребень и вгляделся в даль, хоронясь за выступом, как увидел, что лисица и вправду бродит среди кустов караганника в низине.

Пес тут же устремился к ней, наискосок срезая пологий склон. И прежде чем лиса, застигнутая врасплох, услышала шорох и пустилась наутек, Лашын был от нее уже на расстоянии брошенного аркана. Он не дал ей далеко уйти и подмял под себя.

Но вот что странно. Не было у пса прежнего азарта. Зачем он погнался за лисой? Зачем поймал ее — для кого? Что за надобность была убивать огнехвостую. Он не знал. Неподвижная, вытянувшись во всю длину, лежала перед ним лисица. Капелька крови скатилась у нее из носа в снег. Борзой огляделся по сторонам — нет ли кого поблизости? Нет . Никого. Хотя что значит никого? А хозяин? Ведь он-то совсем рядом... Лашын, вспомнив, зачем покинул дом, даже не взглянул больше на свою добычу и помчался веселыми длинными скачками к Суыкбулаку. Ему была известна кратчайшая дорога. Оставалось обогнуть, двигаясь узкой лощиной, крутой отрог, заросший колючим шиповником и ушкатом.

Уже в лощине борзому почудилось, что кто-то со стороны следит за ним. Лашын обернулся назад, но никого не увидел. И не заметил ничего настораживающего, подозрительного. Не задерживаясь дальше, он побежал вперед. Но неприятное, тревожное ощущение возникло снова. Лашын передернулся всем телом, боязливо огляделся вокруг. Нет, ничего такого, что могло бы насторожить внимание... И все-таки словно таинственный обладатель какой-то непонятной, сверхъестественной силы все туже сжимал его в холодных, чудовищного размера тисках. Они охватывали Лашына со всех сторон — жестокие, невидимые... Борзой ускорил бег. Уже и отрог, покрытый кустарником, позади,

теперь надо подняться к седловинке между холмами, а там уже неподалеку лежит хозяин... И вдруг Лашын замер на месте, остолбенел от неожиданности. Прямо напротив, облокотясь на серый валун, кто-то стоял. Кто-то, расплывчатый, с пятном вместо лица, и контуры тела его были тоже размыты, неопределенны. Но это был Казы — на голове лисий тымак, на плечи наброшена хорьковая шуба. Кажется, смотрит на Лашына и улыбается. И зовет к себе — без единого слова или звука, но Лашыну все понятно... Радостный лай рванулся из собачьей пасти, борзой, одним скачком одолев пространство, прыгнул к хозяину. Но что-то лязгнуло. И Казы исчез. А то непонятное, сжимавшее Лашына со всех сторон чудовищными тисками, внезапно вонзило зубы в его переднюю правую лапу, в то место, откуда вырастает локтевая кость.

Кто-то из чабанов, задержавшихся до холодов на кузеу[1], наверное, поставил капкан на волка, да так и забыл о нем...

## 12

Лашыном овладело смятение. Он отчаянно вскинулся кверху — железные тиски не выпустили, не разжались. Он прыгнул еще раз — но только выдернул из-под снега чугунное зубчатое колесо, скрепленное с капканом длинной железной цепью. Тяжелый груз рванул его лапу к земле, и борзой, перекувырнувшись, грохнулся на прикрытые снегом камни. Локтевая кость хрустнула, переломилась. Кровь ударила в глаза Лашыну, он привстал и кинулся на капкан. Сероватая сталь, слегка порыжевшая от ржавчины, заскрежетала у него под зубами. Но собачьи клыки оказались бессильны, не им было разомкнуть железные челюсти... Борзой в исступлении кусал бесчувственный металл. Вскоре и капкан, и снег были залиты кровью. Тиски не разжимались — напротив, они сомкнулись как будто еще крепче. Выбившись из сил, борзой повалился на снег. И так лежал долго, ничего не слыша, не видя.

Наконец от открыл глаза. Прежние страх и смятение покинули его. Теперь он смотрел на капкан, вцепившийся намертво в его лапу, как на одно из опасных творений человеческих рук. Вспомнилось, что такой же

[1] К у з е у — осеннее пастбище.

капкан — только старый, поломанный — валялся и у них дворе. Это взбодрило пса, внушило надежду.

Придя в себя, Лашын ощутил помимо боли сильнейший голод. Последние дни ему не перепало ни кусочка. Он подумал о пойманной лисе и, хотя ни разу в жизни не отведывал лисьего мяса, пожалел сейчас, что не распотрошил свою добычу, не насытился ею. Случайно глаза его скользнули по пятнам крови, засохшим корочкой на снегу. Не только рядом с капканом, но и на расстоянии в два-три шага все вокруг было в крови. Тогда Лашын, приподнявшись, принялся глотать застывшую на морозе кровь. Спустя несколько минут на снегу не осталось ни единого пятнышка.

Голод чуть приутих, притупился, и борзой почувствовал себя бодрее. Он понял, что самостоятельно из железных тисков ему не вырваться, вызволить его мог только хозяин. И вызволит, лишь бы до него добраться. Лишь бы добраться...

Зубчатое колесо, прикрепленное к капкану в качестве волока, оказалось неимоверно тяжелым. Лашыну со страшным трудом давался каждый шаг. Сломанные кости терлись друг о друга и похрустывали. Все упростилось бы, возможно, если бы зажатая капканом стопа так и осталась бы в железных зубьях. Но она не хотела расставаться с телом и прочно держалась на крепких сухожилиях и мышцах. При каждом шаге, когда Лашын припадал на правую переднюю лапу, в глазах у борзого кружились красные и зеленые всполохи и тонули в сером тумане. Тем не менее вершок за вершком Лашын продвигался вперед. Тяжеловесный волок то цеплялся за камни, то застревал в кустах. В такие минуты Лашыну казалось, что он уже не стронется с места. Но, порядком помучась, он продолжал путь. Один раз волок защемило между стволами, его никак не удавалось высвободить. За время, которое ушло на тщетные попытки, в казане поспевает мясо... И все-таки борзой догадался оттянуть колесо назад, чтобы кое-как вытащить его и вырваться из чащи. Наученный опытом, он уже старался пробираться там, где не встречалось ни кустов, ни камней.

Но капкан становился с каждым шагом тяжелее. Каким ни казалось ровным место, по которому пес прокладывал себе дорогу, но под предательски гладким снежным покровом то и дело обнаруживались неожиданные препятствия. Еще сложнее было взобрать-

ся на вершину сопки, где лежал хозяин. Раньше борзой в несколько прыжков одолевал эту невысокую сопочку, но теперь она словно выросла, превратилась в крутую гору. Одно хорошо — раненая лапа застыла к этому времени, превратилась в ледышку. И, не причиняя боли, висела — чужая, безжизненная. Собрав остаток сил, борзой тащился вперед. Солнце клонилось к закату, когда наконец он добрался до заветного холмика...

## 13

Долго выл борзой. Выл с короткими паузами, с жалобным всхлипом. Так воет аруана, потеряв своего верблюжонка,— с протяжным, надрывающим душу стоном. Эхом вторили ему окрестные сопки. Как было не выть, не рыдать Лашыну, когда ему открылась ужаснейшая из тайн... Человек, повелитель всего живого на земле, вдыхающий жизнь в бесчувственное железо и уподобляющий его то быстроногому коню, то птице, взмывающей выше сокола; человек — всемогущий и всемилостивый — он тоже умирает! Вот почему столько дней и ночей лежит на вершине холма хозяин. И нет в целом мире никого, кто помог бы Лашыну, истекающему кровью, ослабевшему, доживающему последние часы... Выл борзой, оплакивал хозяина. Выл, сам уже чуя собственную близкую смерть. Выл, прощаясь с белым светом, с простором земным и небесным...

А наступила смерть еще скорее, чем думалось, и не такая, как он ожидал. Голодная волчица с тремя волчатами кружившая долгое время возле зимовок, вдыхая запахи дыма, жилья и сытной пищи, заслышав тоскующий собачий вой, тут же помчалась на голос. Вой безошибочно привел ее к цели. Еще издали, выбрав укрытие, она поняла, что поблизости нет людей и что перед нею — одинокий, заплутавшийся в степи пес. Из опасения, как бы жертва, сама шедшая им в лапы, не причинила своим бегством излишних хлопот, все четверо, по безмолвному сговору, крадучись, ползком, окружили холм с четырех сторон и только после этого, с горящими огнем голодными глазами, обнажив в хищном оскале белые, длинные зубы, накинулись на борзого.

В тот день на долю Лашына выпало столько бед,

и такая ужасная тайна, не оставлявшая надежд, открылась ему, и он уже так истомился от страданий и боли, что ничему не удивлялся и ничего не страшился. Собственное существование утратило для него всякий смысл. Но он был еще жив, а у жизни свои законы. И борзой не сдался, не подставил покорно голову судьбе в ожидании смертельного удара...

Первое нападение волков, посчитавших одинокого пса легкой добычей, окончилось безрезультатно. Только волчица сумела, изловчась, рвануть Лашына за бедра. Клыки борзого, грозно клацая, с молниеносной быстротой мелькали в воздухе, не давая молодым хищникам даже коснуться его тела. Волки отступили, но тут же с удвоенной яростью устремились на свою жертву.

Он был один — их четверо. Он был скован в движениях капканом — им ничто не мешало атаковать пса, наращивая бешеный натиск. Чаши весов были неравны. Волчица, понаторевшая в жестоких схватках, уже не сомневалась, что напьется вдоволь теплой крови, наестся свежего мяса. Осторожность покинула ее. Все смешалось, слилось в один яростно хрипящий, лязгающий ком, барахтающийся в облаке снежной пыли. Подмятый волками борзой был в самом низу. Но, упреждая мгновение, когда волки разорвут, растерзают его на части, неуловимым движением он успел вспороть волчице брюхо.

Свою мать, неистово кружившую на снегу, пытаясь ухватить себя за бок, дотянуться до брюха с вываливающимися кишками, молодые волки заметили только тогда, когда с борзым было покончено и кости наспех обглоданы. Пес оказался не в меру истощавшим, наспех желудки так и не насытились. Напротив, терзавший их голод лишь увеличился, аппетит раздразнился. И едва волки увидели кровь, хлеставшую из страшной раны, как немедленно набросились на волчицу.

Прошло совсем немного времени, и от волчицы, которая родила их, вскормила своим молоком, взрастила сильными и беспощадными, остался лишь кончик короткого хвоста и четыре затвердевшие, жесткие подошвы.

14

На вершине косо срезанной, похожей на тюбетейку сопки, стоящей над одним из глубоких оврагов, изрезавших предгорья Жауыртага, насыпан невысокий земляной холмик. Всякий раз, когда поблизости разбивает стоянку аул, кочующий по зеленому джайляу, аксакал, опираясь на крепкий сучковатый посох, ведет к этому холмику мальчика-подростка и, преклонив колени, читает гортанным голосом молитву. И оглаживает холмик ладонью, чтя память покойного. А в те дни, когда мальчику перепадает от матери, он приходит сюда и долго сидит в одиночестве, молча, вздрагивая иногда всем телом. Этот холмик — могила Казы, хотя бы и единственной ногой, но ступавшего по этой земле. А подросток — его сын Адиль.

Здесь, у самой могилы, пролилась кровь борзого пса по имени Лашын. Правда, об этом никто не знает. Все, что осталось от борзого,— это лисьи тымаки на головах у аульных мужчин. Но и они давно поизносились. Их сменили простые мерлушковые шапки, дешевые малахаи... Ведь последним в этих краях псом из чистопородных борзых был Лашын.

*1969 г.*

## СУДЬБА СКАКУНА

И снова табун рассыпался по степному раздолью — и снова не довелось лошадям вволю попастись, всласть пощипать сочной, хрустящей на зубах травы. Не считая нескольких коней, которые держались наособицу, остальные, словно покорные какой-то неодолимой силе, сбились плотной массой и, на ходу растягиваясь вереницей, двинулись за скакуном редкостной масти — серо-голубым, с красно-рыжим отливом... Так было и вчера. И позавчера. Так повторилось и сегодня. Скакун шел, припадая на одну ногу, и табун следовал за ним, как на невидимом поводу. Лошади жались к своему вожаку, теснились вокруг, будто кто-то гнал их к нему, стегая камчой. Но когда иные пытались поравняться со скакуном, он рывком опережал их.

Если его нагоняли, он готов был пуститься вскачь.

«А если остальные тоже поскачут?— думал, наблю-

дая за вожаком, старый табунщик.— Угонится ли он за ними, на трех-то ногах? Да ведь угнаться — этого ему мало, ему надо всех обогнать, выйти вперед. Только на это сил у него не хватит. Как тогда он переживет свой позор?.. Не выдержит, умрет со стыда... Не зря говорят: благородному человеку лишиться чести все равно, что лишиться жизни. А чем Наркызыл[1] хуже человека?..»

— Апыр-ай!— перебил мысли старика молодой табунщик.— Этот окаянный и нынче принялся за свое!

— Заезжай вперед и попридержи его,— сказал старик и подхлестнул своего коня, чтобы не отстать от табуна.

— Как же, его придержишь! Он, собака, тут же опять примется за свое. Если так и дальше пойдет, мы уже через пару дней в Семее будем...

— Не горячись, парень. С завтрашнего дня попробуем пасти не на ходу, а на стоянках. Утром трогаться в путь будем попозже, вечером на ночевку становиться пораньше.

— Пасти на стоянках...— сердито проворчал молодой табунщик— Если бы так, то еще бы ладно... Иначе наши кони не то что нового жира не нагуляют — и прежний-то спустят...

Старик промолчал. Вприщурку любуясь вереницей устремившихся за серо-голубым скакуном коней, он расположился в седле поудобней, переместив тяжесть всего тела на одно бедро.

— Может, вести его дальше на поводу? За ним и другие кони утихомирятся.

— Кого — на поводу?— спросил старик.

— Кого, кого... Охота вам наперекор председателю колхоза идти... А мне с какой радости на этом гореть? Для того я, что ли, бросил дома жену с ребятишками мал мала меньше и с вами увязался...

— Не трогай жануара[2],— сказал старик.— Сам подумай, много ли ему осталось?.. Пускай себе напоследок походит вольно, без узды. Помнишь, что случилось третьего дня? Не будь меня, плакали бы уже по тебе и жена, и дети...

---

[1] Нар — одногорбый верблюд, символ мощи. Кызыл — красный.

[2] Жануар — благородный конь.

А случилось три дня назад вот что. Молодой табунщик накинулся на изводившего его скакуна. С истошными воплями колотил он Наркызыла длинным соилом, гонял вокруг табуна, не давая передохнуть. Старик едва настиг вконец потерявшего голову табунщика, схватил его коня за повод, насилу остановил. К лицу старика прилила кровь, оно потемнело от гнева. «Бог тебя накажет!— процедил он сквозь зубы.— Кие[1] тулпара тебя покарает!» Молодой табунщик и вообще-то не очень верил в кие, а уж в кие четырехногой скотины — тем более, но старика он испугался. И притих. А вечером, перед сном, у него вдруг закололо в боку, да как!.. Словно копьем его кололи под ребра, словно раскаленные иглы вталкивали в тело при каждом вздохе. Все нутро — легкие, сердце, печень — пылало огнем. И когда на минуту боль отпустила, когда он вздохнул полной грудью и решил, что на этом все кончилось, тут же показалось: кто-то начал загонять ему под мышку железный гвоздь. С языка у него несколько раз сорвалось давно позабытое имя аллаха. «Глупец!..— прикрикнул на табунщика старик.— Какое дело тебе до аллаха, а ему до тебя? Молись кие коня! Скажи: «Наркызыл! Наркызыл!..» И молодой табунщик, решив: мол, поможет не поможет, а хуже не станет,— принялся твердить вместо имени аллаха кличку серо-голубого скакуна с красно-рыжим отливом: «Наркызыл! Наркызыл! Нар... Ох... кы... кызыл!» И удивительное дело — немного погодя то ли болезнь сама собой пошла на убыль, то ли и вправду смягчился дух — покровитель оскорбленного коня, но колики прекратились. Что же до старого табунщика, то он дал проглотить своему помощнику один за другим несколько жирных кусков хорошо провяленного и сваренного в черном котле мяса, дал выпить горячей сорпы[2], укутал в бараний тулуп и уложил спать. Наутро табунщик проснулся здоровехонек. Наркызыл же и раньше прихрамывал, а теперь — возможно, соил ударил его по больному месту — хромота стала сильнее. Впрочем, он и сейчас никому не уступал своего первенства в табуне...

Вспомнив недавнее происшествие, молодой табунщик осекся. Но разве не унизительно, согласитесь,

---

[1] К и е — дух-покровитель.

[2] С о р п а — бульон.

да еще для того, кто немало строптивых коней заставлял послушно гарцевать под собой,— разве не унизительно для такого человека признать, что конь, а тем более какой-то кие имеет над ним власть?

— Не сочиняйте сказок, аксакал... Осень подошла, холодно... Долго ли простыть в открытой степи?

— А на день раньше почему не заболел?.. А в прошлую осень?..— Старик усмехнулся.— Смотри не оплошай опять... Эх, Наркызыл!— вздохнул он.— Видно, все мы перед тобой виноваты... Видел ты, как он скакал, пока был здоровым?— обратился он к своему напарнику.— За шесть десятков лет, что я топчу землю, мне доводилось знать многих быстроногих тулпаров. Но если сравнивать их с Наркызылом, то бег их покажется жалкой трусцой. Тулпар... Понимаешь ли ты, что это значит — настоящий тулпар? Это лучший из лучших, ни на кого не похожий... Благородное, чистых кровей существо. У него все особенное, и характер тоже. Пока Наркызыл участвовал в байге, нашелся хоть один конь у нас в Булгыртау, или по соседству в Шагане, в Нарыне, или дальше — в Актогае, в Каркаралах, да что там — во всей Арке,— нашелся ли, спрашиваю, конь, который догнал бы его и пошел стремя в стремя?.. И шел бы вровень с ним — пускай бы хоть миг, потребный для того, чтобы единожды моргнуть глазом?.. Никого не пропускал вперед, всегда был первым! Летел быстрее ветра! И разве другие скакуны слабаками были? Нет, не в том дело. Просто этот — не такой, как они, как все, особенный, таким уж уродился, понимаешь?.. А ты хочешь, чтобы он плелся в хвосте у этого сборища толстобрюхих, ленивых кляч, которые еле-еле переступают ногами... Правда, он уже не прежний Наркызыл, и нет уже в нем того, что делало его с головы до ног истинным тулпаром... Все равно — не изменит он свой характер, свой норов, и не требуй этого...

— Все-таки попробую заехать спереди, авось поспокойней станет...— проговорил молодой табунщик.

Старик вздохнул, нехотя кивнул головой.

## 1

— Не давай, чтобы другие скакали у тебя с наветренной стороны,— наставительно говорил Мамай сидевшему на коне шабандоз-бала — мальчику-наезднику.—

Держись от остальных в сторонке, не к чему твоему коню пыль глотать. Старайся быть впереди тех, кто посередке, но не горячись. Пускай перед тобой четырепять лошадей скачут, а ты следом. Только посматривай на переднего скакуна, чтобы не оторваться от него больше, чем нужно. И еще...— Старый атбеги[1] перевел дух, смирил одышку, мешавшую ему говорить.— И еще — следи за Каскыркулаком— Волчьим Ухом и берегись Елика — Косули! На Елике скачет мальчуган постарше тебя, не подпускай его близко. Изловчится, да и подцепит поводьями за надхвостник твоего коня, будешь его тянуть за собой, из сил выбиваться. Ну, а если случится такое... Ни на что не смотри, огрей его камчой покрепче!..— Мальчик, внимательно слушавший старика или старательно притворявшийся, что слушает, при этих словах с усмешкой покосился на камчу в своей руке. Она была с голой, ничем не покрытой рукоятью из таволги, длинная, из тонких ремешков, заплетенных в косичку. Головку рукояти в несколько слоев обтягивала марля, которой во время скачки вытирают коню пот, чтоб не заливал глаза.— Трусит тот, у кого нечистые помыслы,— продолжал Мамай, стараясь передать мальчику собственную убежденность.— А тебе бояться нечего, будь смелым. И еще... Не давай, чтобы твоему коню пот слепил глаза. Время от времени вытирай ему надбровья. Камчу вдвое сложи, подтянись вперед, наклонись осторожно... И только на безопасных местах, сам понимаешь... И еще...— Наставлений у Мамая было в запасе немало, но до начала байги времени оставалось в обрез. То здесь, то там кони — участники скачек, гарцуя, уже отделялись от возбужденно шумящей толпы.— За дорогой следи,— торопливо продолжал Мамай.— По дну лощины не скачи, там ямы, промоины, а за густой травой сразу их не приметишь. Станешь на холм подниматься — круто не бери, коня не мучай. Найди, где склон положе, хотя бы и немного в объезд...— Все, о чем он говорил, вплоть до мелочей, было хорошо известно мальчику. И Мамай это знал, но считал долгом каждый раз повторять заново. Не столько для того, чтобы

[1] Атбеги — человек, владеющий искусством ухода за скаковыми конями.

закрепить в памяти Есена, сколько для того, чтобы успокоить свою душу.— Да, чуть не забыл...— Мамай огляделся по сторонам: новый баскарма — председатель колхоза — стоял поодаль в компании трех-четырех молодых, примерно его возраста, джигитов и, жестикулируя о чем-то, беседовал с ними.— Послушай меня, Есен, дорогой, если все пойдет как следует, не призывай аруахов — духов предков. Но если будешь среди первых, а до каракшы[1] останется совсем немного, тогда призови на помощь нашего пращура-бия...

— В прошлом году нас за это учитель ругал.— Есен заерзал в седле и поудобней перехватил поводья, это значило, что он готовится ехать.— Вы уже школьники, говорит, и не должны верить в бога и в аруахов. В них верят отсталые люди, которые никогда не учились...

Мамай смутился, замолк. Но ненадолго.

— Он сам отсталый,— твердо произнес Мамай.— Аруахи — наши предки. Он сам бы откуда на свет появился, с неба упал бы, что ли, не будь у него предков? Если человек говорит, что аруахов нет, значит...— Он оборвал, не договорил свою мысль до конца.— Ну, ладно, пускай будет, как он велит. И все-таки... Если повезет и будешь между тех, кто вперед вырвался... Молись про себя духу пращура-бия, пока до каракшы не доскачешь.— Он погладил по лбу коня, начинавшего проявлять нетерпение.— Пускай светится твой лоб, пускай сопутствует тебе удача!.. Счастливо тебе!— повернулся он лицом к мальчику. Тот отпустил поводья, скакун рванул рысью вперед, и Мамай сделал было два-три шага за ним... Есен подъехал к группе наездников, среди которых выделялся старик погонщик лет шестидесяти, важно восседавший на гнедом жеребце. Конь под ним был крупный, хорошо упитанный, широкогрудый. Погонщик должен был сопровождать наездников до установленной далеко в степи стартовой площадки и там, соблюдая все правила, дать старт скакунам. Вскоре участники байги — сплошь ребята в возрасте от восьми до двенадцати лет, с повязками из цветастого ситца на головах, все в сапогах, в удобной, легкой, облегающей тело одежде,— натянув поводья нервно-возбужденных, украшенных перьями филина скакунов, тронулись с места. Народ, залюбовавшись

[1] Каракшы — финиш.

конями, на минуту притих. Распорядители игр принялись усаживать зрителей, образуя большой круг, пустой посредине.

— Как дела, ата?[1] — обратился к Мамаю баскарма.

Он совсем недавно приехал из города в колхоз «Жана даурь», что означает «Новая эпоха», звали его Кадыржан. Будучи младшим по возрасту и старшим по положению, он, обращаясь к Мамаю, обычно почтительно именовал его аксакалом, но при этом голос его оставался начальственно-холодным и достигал ушей Мамая, как бы слетая с некоей высоты. Однако сейчас Кадыржан словно склонился к старику, словно сделался ниже ростом, назвав его ата. И у Мамая потеплело на сердце.— Наш конь... Ваш Кубас — Голый Череп которым придет?.. Как полагаете?..

На Кадыржана, который в городе бывал на ипподроме и наблюдал за разного рода конными состязаниями, но казахской байги никогда не видел, хотя и читал о ней,— на Кадыржана произвели впечатление степные скакуны, легкой рысью взлетевшие на бугор и пропавшие за ним. Зрелище его захватило. По мнению, сложившемуся у молодого председателя, который издали, но все-таки присматривался к тому, как Мамай ухаживает за колхозными скакунами, и урывками, но слышал разговоры аульчан о Голом Черепе,— знанием коней старик был подобен прославленному в легендах Толыбаю. Кадыржан подозревал, что Мамаю все известно заранее, вплоть до того, какой конь какую способен покрыть дистанцию при тех или иных обстоятельствах, которым по счету окажется при этом. Впрочем, Кадыржан, безусловно веря в это, не считал подобные способности присущими одному Мамаю. Он родился и вырос в городе, в семье служащего, занимавшего высокую должность, и, знакомый не только с прошлой, но и с нынешней жизнью казахов лишь по книгам, предполагал, что любой аульный аксакал обладает качествами, которые утрачены новыми поколениями. При подготовке к весенней байге он присматривался к Мамаю, приглядывался к Голому Черепу. Вникал во все, что касалось коня, допытывался и того, и этого, иной раз такого, чего никто не знал. И, задавая бесчисленные вопросы, походил на малого ребенка, с

[1] А т а — отец.

любопытством постигающего мир. Впрочем, так случалось, когда он оказывался рядом с конем. В конторе или на улице, даже при встрече с Мамаем, он бывал весьма важен. Чувствовалось, что ему хочется выглядеть если не пожилым, то, во всяком случае, порядком пожившим и многое повидавшим человеком...

Зная нрав и характер председателя, Мамай не удивился, услышав его вопрос.

— Здесь есть один конь... Красный конь...— проговорил он, не отвечая на его слова, а произнося те, которые с утра вертелись у него в голове, не давая покоя.

— Красный?.. Как это — красный?.. Разве такое бывает — красный конь?..

— Ну, не то чтобы совсем красный... Так его люди называют. Не красный, а серо-голубой, с красным отливом. Казахи говорят про такого коня — красный.

— Значит, Голый Череп вторым придет?

Мамай улыбнулся:

— Это решит удача, дорого мой. Удача, везение... Как повезет. Может, вторым, а то и третьим, четвертым... Заранее кто скажет...

— Как же, вы ведь сами сказали — первым придет красный конь.

— Я этого не говорил. Мог бы прийти первым — что верно, то верно... Люди толкуют: «Не конь скачет, а тот, кто за ним ухаживает». Так-то, мой друг. Только за конем породы джабе, который нужен по хозяйству, сколько ни ухаживай, все равно ему с рожденным от казаната аргамаком не сравниться. А этот красный конь — чистопородный казанат, скакун...

— Чей он, какого колхоза?

— Из соседнего, «Балкыбека». Но, кажется, не колхозу принадлежит, а хозяину. Какому-то молодому многодетному джигиту... — Мамай разгорячился, голос его сделался тонким от волнения. — Дорогой мой, не зря сказано: «Имя джигита прославит конь». Купи этого красного коня! В любой байге первенство твоим будет. Люди тебя станут почитать! Старики благословят твое имя!..

— Если бы он продал...— вздохнул председатель.— Да разве продаст казах скакуна, взявшего первый приз в байге...

— Продаст!.. Если только выйдет конь из байги живым...

Мамай, и без того полный сомнений и беспокойства, после этого разговора не мог найти себе места. Даже охота полюбоваться исчезнувшим было, полузабытым зрелищем, сызнова воскресшим после горестей минувшей войны, после связанных с нею мук и страданий, когда народ, подобно опаленному молнией дубу, вновь начинает обрастать молодыми зелеными ветвями,— даже охота полюбоваться возрожденным старинным зрелищем у Мамая пропала. Он сидел, углубившись в себя, с безразличным к происходившему вокруг, отрешенным лицом. Потом поднялся и, словно через силу, двинулся к стоявшим в сторонке коням. Они были связаны по-калмыцки, то есть парами, поводья одного затянуты узлом на луке седла другого. Мамай подошел поближе к лошадям, которые начали появляться теперь в большом количестве и считались ценной породой. Взгляд его скользил по кожаным седлам, по городской выделки сбруе, по прямым коленям, развернутой груди, пологим хребтам, по сплющенным бокам, коротким туловищам на длинных ногах... Кони были сплошь рыжей масти. Старый атбеги старался распознать их свойства. Наверняка плохо выносят холод, не терпят зноя. Да и как иначе, если выросли они в других краях... Однако будь за ними надлежащий уход... Он пытался отвлечь себя от угрюмых мыслей — и не мог. Между тем закончились состязания силачей, объявили конные игры. Как давно не загорался в его душе азарт конной борьбы, при которой удальцы джигиты стараются сбросить друг друга с седла, как давно не следил он, затаив дыхание, когда на всем скаку лихой наездник поднимает с земли монету, как давно, вспоминая молодость, не веселился, следя за озорной, будоражащей кровь игрой кыз-куу, когда гонятся за юной красавицей джигиты на резвых конях, чтобы сорвать с румяных губ ее поцелуй, а кому не достанется поцелуя — не менее жгучий удар камчи!.. О всевышний, все проходит, меняется в мире, жизнь течет как река, но пока живет народ, пока у матерей родятся дети,— не умрут и добрые обычаи, идущие от дедов и прадедов!.. Однако, хотя Мамай и наблюдал за происходящим из глубины густой толпы, сердце его не поддавалось общему возбуждению. Глаза смотрели — душа спала. И в то самое время, когда лучшие джигиты, радея о чести своего аула, напрягаясь до последней жилки, в чем, надо сказать, не уступали им надежные их сотоварищи — все, как

один, истые джабе: приземистые, с короткими, толстыми, похожими на бычьи шеями, с жирными холками, с прогнувшимися поясницами, с плоским крупом, с густыми гривами и хвостами, с длинным туловищем на крепких ногах,— в то самое время, когда джигиты, упершись в готовые разломиться пополам стремена, усердно старались перетянуть друг друга, Мамай, отчетливо сознавая, что еще рано, все чаще посматривал в ту сторону, куда отогнали скакунов. Перед глазами у него была не млеющая в лучах поднявшегося к зениту весеннего солнца, подернутая курящимся маревом степь, а давешний, с короткой гривой кулана, с шелковистым хвостом, высокий, стройный красный конь... Его круглые, как опрокинутые чаши, копыта, словно отлитые из бронзы, и узкий, аккуратный перехват над ними... И сухие, жилистые, как у верблюдицы, голени, и благородный постав задних ног, и львиная грудь с опущенной низко грудиной, и глубокие подмышки... И широкие трепещущие ноздри по сторонам приподнятой тонкой переносицы... И продолговатая, костистая, без единого лишнего грамма мышц голова, туго обтянутая гладкой кожей... Наверное, опасаясь, как бы у скакуна не замлела спина, его хозяин осадил мальчика-наездника позади себя, а красавца красного коня вел в поводу. Среди множества людей, направлявшихся на просторную пустошь за окраиной райцентра Сартерека, туда, где проводились игры, среди шумных толп, между пеших и конных, между мчащихся взад-вперед грузовых машин, подсаживающих тех, кто двигался бесконечными вереницами, и отъезжающих, и возвращающихся с пустыми, громыхающими кузовами,— в этой толчее, и шуме, и гаме старый Мамай мог бы не заметить красного коня. Но, должно быть, тот попался ему на глаза именно потому, что шел свободным, без седока. Под своим простым, каждодневным деревянным седлом, с толстым подседельником, он, казалось, не идет на поводу, а сам ведет за собой своего хозяина, то и дело перегоняя лошадь, на которой сидел тот с шабандоз-бала позади. Мамай понимал: нрав у коня не строптивый, скорее кроткий, поскольку норовистость вообще не в характере скакуна. И дело не в нетерпении, как у иных коней, которым перед большой байгой «жжет подошвы». Просто красный конь не может идти с кем-то вровень. Только впереди. Хотя бы на полкорпуса, но — впереди. Вот и сам Мамай незаметно приблизился к

нему и поехал рядом. Тут же красный конь насторожил уши, на шее заиграли тугие валики мускулов; повернув голову, он покосился на Мамая ключим большим глазом и устремился вперед. Сердце старого атбеги дрогнуло. Натянув поводья, Мамай придержал своего коня...

В то время, когда народ собрался на пустоши и руководители района проводили митинг перед началом весеннего праздника, Мамай, уже пешим, осмотрел серо-голубого красавца, обошел его, оценивая, и спереди, и сзади. Нет, он не ошибся. Только... не выгнали из него пот — горький, застойный. Мол, тридцать пять километров — немалое расстояние, конь успеет разгорячиться, выправить бег... Видно, хозяин — Мамай успел порасспросить людей и узнал, что работает он в колхозе шофером,— видно, хозяин скакуна не скупился на корм зимой, конь был упитанным, даже жирным... Правда, выезжен в общем-то неплохо, и шофер уверен, что всех обгонит в байге, недаром лицо у него такое довольное. Рад, что Мамай похаживает возле коня — значит, неспроста. Наверняка слышал раньше о Мамае... Но ничего не сказал старику, только горделиво улыбнулся. Что же до самого Мамая, то у него чуть не вырвалось: «Не пускай в байгу своего коня!..» Он едва сдержался. Мало ли способов ухода за конем... Что тут скажешь наверняка? Может и он, Мамай, ошибиться... Но что ни говорил он себе, как ни пытался успокоить душу, не мог он совладать с собой. И, кружа возле красного коня, уже болел за него, как за собственного...

Нет, он не ошибся. Когда после полудня на склоне холма, отстоящего на три-четыре километра, замелькали кони, опередившие в байге остальных, скакунов светлой масти среди них не оказалось. Вначале словно из-под земли вырос конь темной окраски, бежавший особняком. За ним появились еще два — тоже темных, потом возник еще один... Дальше кони, перевалив через холм, спускались по одному, по два, вытягиваясь цепочкой. Бег их не был стремителен. Похоже, все они порядком ослабли. Словно не привычные тридцать пять километров пришлось им одолеть, а все пятьдесят. Впрочем, было заметно, что, завидев людей, даже самые уставшие ожибились, ускорили бег. Четверо передних — все темной масти — хотя и растянулись, держась на значительном расстоянии друг от друга, тем не менее далеко обогнали других. По мере прибли-

жения к финишу дистанция между этими четырьмя начала сокращаться. Вначале второй стал настигать первого, вскоре он почти «кусал» его за хвост. Конь, бежавший четвертым, вышел на третье место. Скакуны, сжимаясь в одну сплошную линию, близились к финишу. Уже можно было распознать скакунов. Впереди бежал Елик — Косуля из колхоза «Саркамыс», за ним Кубас — Голый Череп из колхоза «Новая эпоха«. Третьим был скакун по кличке Каскыркулак — Волчье Ухо, четвертым — Актабан — Белая Подошва. Когда до финиша оставалось примерно с полкилометра, Голый Череп, поравнявшийся с Еликом и с минуту бежавший с ним стремя в стремя, начал выходить вперед. Немного спустя обогнал Елика и Волчье Ухо. В это время возник переполох. Конные милиционеры, теснившие рвущихся на беговую дорожку людей, сами оказались оттесненными в сторону. Несколько человек из «Саркамыса» поскакали на «кутерме», то есть «на подхват», так называют недозволенный прием, когда конные зрители — болельщики тянут и толкают «своего» коня, помогая ему достичь финиша. Следом за первыми нарушителями порядка, колотя пятками по бокам лошадей, с гиканьем и криками устремились к «своим» скакунам остальные болельщики. Что же до старого Мамая, то, поверивший клятвенным обещаниям организаторов игр, что кутерме ни в коем случае не допустят, а потому и застигнутый врасплох происходящим, не подготовивший к нему и своих лошадей, горячась, негодуя, молясь духу прадеда-бия и духу пращура-батыра, он замер на своем коне, втянув тонкую, жилистую, иссеченную морщинами шею, наблюдая за концом байги.

Голый Череп, опередив соперника всего лишь на расстояние, как говорится, от порога до тора[1], то сть на четыре-пять метров, пришел к финишу первым. Косуля был вторым — с обеих сторон его тянули за стремена два джигита, спереди третий тащил за повод. Белую Подошву кто-то нахлестывал сзади камчой, кто-то тянул к заповедной черте, Волчье Ухо никто не тащил и не тянул, зато его хлестали по взмыленному крупу изо всей мочи сразу две камчи; оба коня пришли к финишу стремя в стремя. Было приготовлено семь призов —

[1] Тор — почетное место для гостя в глубине комнаты.

для семи первых мест. Почти все лошади, метившие в семерку, достигли финиша с помощью кутерме. Оставшиеся в хвосте хотя и не надеялись на приз, но не желали, тем не менее, быть последними и стремились обогнать по крайней мере того коня, который бежал впереди; обливаясь потом, напрягая остатки сил, скакуны приходили к финишу, оторвавшись на разное расстояние друг от друга.

Маленький Есен, которого сопровождали — по одну руку довольный, улыбающийся, не пытающийся скрыть своей радости молодой баскарма, по другую — несмотря на то, что конь его пришел в байге первым, чем-то встревоженный, то и дело посматривающий на еще дымящуюся пылью беговую дорожку старик атбеги,— маленький Есен, стянув с остриженной наголо головы пропитанный потом, покрытый темными пятнами от насевшей пыли голубой платок, с оттопыренными ушами, с придающими его лицу младенческое выражение редко расставленными зубами, ехал быстрым шагом и, пока конь остывал после скачки, рассказывал о том, что довелось ему пережить во время аламан-байги, то есть большой байги, как называют бега на длинные дистанции. Ему исполнилось только восемь лет, но он уже участвовал в нескольких скачках, уже кое-что повидал, однако такая тяжелая байга была в жизни Есена первой. Хитроумная тактика, предусмотренная заранее, оказалась непригодной. Вначале вперед вышел красный конь «Балкыбека», рассказывал он. Конь-ушкур, с таким не потягаешься на коротких дистанциях! Сразу рванул и умчался на полкилометра вперед. Но другие шабандоз-бала решили не отставать и понеслись, помчались за ним! Кони скакали как бешеные. А после старались не отставать уже от Елика, который появился на полдороге со свежими силами... И Мамай, и молодой баскарма, каждый занятый собственными мыслями, пропустили мимо ушей слова «со свежими силами», хотя они и выглядели в рассказе мальчика довольно странно... Кто галопом, кто рысью, к финишу подходили последние кони. Байга завершалась. Не пришел единственный ее участник — красный конь.

Во время распределения призов возник спор. Руководитель района, Басшы[1], прибывший в Булгыртау лишь в прошлую каракшу, то есть в преддверии зимы,

[1] Басшы — буквально: главный.

жения к финишу дистанция между этими четырьмя начала сокращаться. Вначале второй стал настигать первого, вскоре он почти «кусал» его за хвост. Конь, бежавший четвертым, вышел на третье место. Скакуны, сжимаясь в одну сплошную линию, близились к финишу. Уже можно было распознать скакунов. Впереди бежал Елик — Косуля из колхоза «Саркамыс», за ним Кубас — Голый Череп из колхоза «Новая эпоха«. Третьим был скакун по кличке Каскыркулак — Волчье Ухо, четвертым — Актабан — Белая Подошва. Когда до финиша оставалось примерно с полкилометра, Голый Череп, поравнявшийся с Еликом и с минуту бежавший с ним стремя в стремя, начал выходить вперед. Немного спустя обогнал Елика и Волчье Ухо. В это время возник переполох. Конные милиционеры, теснившие рвущихся на беговую дорожку людей, сами оказались оттесненными в сторону. Несколько человек из «Саркамыса» поскакали на «кутерме», то есть «на подхват», так называют недозволенный прием, когда конные зрители — болельщики тянут и толкают «своего» коня, помогая ему достичь финиша. Следом за первыми нарушителями порядка, колотя пятками по бокам лошадей, с гиканьем и криками устремились к «своим» скакунам остальные болельщики. Что же до старого Мамая, то, поверивший клятвенным обещаниям организаторов игр, что кутерме ни в коем случае не допустят, а потому и застигнутый врасплох происходящим, не подготовивший к нему и своих лошадей, горячась, негодуя, молясь духу прадеда-бия и духу пращура-батыра, он замер на своем коне, втянув тонкую, жилистую, иссеченную морщинами шею, наблюдая за концом байги.

Голый Череп, опередив соперника всего лишь на расстояние, как говорится, от порога до тора[1], то сть на четыре-пять метров, пришел к финишу первым. Косуля был вторым — с обеих сторон его тянули за стремена два джигита, спереди третий тащил за повод. Белую Подошву кто-то нахлестывал сзади камчой, кто-то тянул к заповедной черте, Волчье Ухо никто не тащил и не тянул, зато его хлестали по взмыленному крупу изо всей мочи сразу две камчи; оба коня пришли к финишу стремя в стремя. Было приготовлено семь призов —

[1] Тор — почетное место для гостя в глубине комнаты.

для семи первых мест. Почти все лошади, метившие в семерку, достигли финиша с помощью кутерме. Оставшиеся в хвосте хотя и не надеялись на приз, но не желали, тем не менее, быть последними и стремились обогнать по крайней мере того коня, который бежал впереди; обливаясь потом, напрягая остатки сил, скакуны приходили к финишу, оторвавшись на разное расстояние друг от друга.

Маленький Есен, которого сопровождали — по одну руку довольный, улыбающийся, не пытающийся скрыть своей радости молодой баскарма, по другую — несмотря на то, что конь его пришел в байге первым, чем-то встревоженный, то и дело посматривающий на еще дымящуюся пылью беговую дорожку старик атбеги,— маленький Есен, стянув с остриженной наголо головы пропитанный потом, покрытый темными пятнами от насевшей пыли голубой платок, с оттопыренными ушами, с придающими его лицу младенческое выражение редко расставленными зубами, ехал быстрым шагом и, пока конь остывал после скачки, рассказывал о том, что довелось ему пережить во время аламан-байги, то есть большой байги, как называют бега на длинные дистанции. Ему исполнилось только восемь лет, но он уже участвовал в нескольких скачках, уже кое-что повидал, однако такая тяжелая байга была в жизни Есена первой. Хитроумная тактика, предусмотренная заранее, оказалась непригодной. Вначале вперед вышел красный конь «Балкыбека», рассказывал он. Конь-ушкур, с таким не потягаешься на коротких дистанциях! Сразу рванул и умчался на полкилометра вперед. Но другие шабандоз-бала решили не отставать и понеслись, помчались за ним! Кони скакали как бешеные. А после старались не отставать уже от Елика, который появился на полдороге со свежими силами... И Мамай, и молодой баскарма, каждый занятый собственными мыслями, пропустили мимо ушей слова «со свежими силами», хотя они и выглядели в рассказе мальчика довольно странно... Кто галопом, кто рысью, к финишу подходили последние кони. Байга завершалась. Не пришел единственный ее участник — красный конь.

Во время распределения призов возник спор. Руководитель района, Басшы[1], прибывший в Булгыртау лишь в прошлую каракшу, то есть в преддверии зимы,

[1] Басшы — буквально: главный.

среди многосложных дел уделил особое внимание подготовке к этому весеннему празднику. Он был не на шутку рассержен и поначалу предложил всех замешанных в кутерме исключить из числа призеров. Но это оказалось невозможным. Добрый десяток пришедших после Голого Черепа коней, на большем или меньшем расстоянии до финиша, все до единого не обошлись без кутерме. Тех, кто был виновен в нарушении правил байги, будь то колхозные активисты или атбеги, бапкер-аксакалы или бапкер-карасакалы, Басшы в сердцах распек самым строгим образом. Но разгоряченные спором о байге люди во всем виноватили друг друга и препирались даже с Басшы, которого в обычное время побаивались. Взаимные упреки не иссякали, резкие препирательства не кончались. В них уже участвовали и посторонние люди, и особенно крикливые болельщики. Они-то и положили начало новому спору. Теперь уже в связи с Еликом — Косулей. Будто бы Елик не участвовал в старте, а вступил в байгу на полдороге, появившись из-за укрытия. До предела взвинченный Басшы обратился к главным свидетелям происходившего — шабандоз-бала. «Правильно,— сказало большинство ребят,— Елик присоединился к ним по дороге». Как и где именно — никто не видел, но с Еликом получилось не по-честному, это уж точно!.. Впереди всех, едва различимый глазом, бежал один-единственный конь. И вдруг, когда миновали косогор, коней оказалось двое... Что же это был за конь — первый? Чей?.. «Это конь Балкыбека»,— отвечали ребята. «Красный конь, ушкур... Когда половина пути оставалась позади, он не выдержал, начал сдавать»,— сказал один из мальчиков. «Скакал-скакал, и вдруг — словно кто ударил его по макушке — остановился как вкопанный»,— сказал другой мальчик. «Верно, запалился»,— сказал третий. «Околел»,— сказал четвертый. Случись такое, вообще-то никто бы особенно не удивился: бывает, что на аламан-байге кони падают замертво... Басшы продолжал допытываться, как получилось с Еликом... Но к сказанному ребята ничего добавить не смогли. Погонщик, ответственный за старт, лишь теперь подскакал галопом к спорившим. Он быстро схватил суть спора и объявил, что ни к чему на Елика возводить напраслину, он был на старте. Басшы, у которого голова уже шла кругом, объявил окончательное решение. Первый приз неоспорим — он принадле-

жал Голому Черепу. Волчье Ухо бежал вторым, но кутерме все испортило. Пускай даже кто-то нарушил порядок, другие должны были соблюдать спокойствие... Второй приз полагается Елику. Хозяин Елика, председатель колхоза Бекен, прозванный за то, что любил показать, как много он знает, Всезнайкой, а за то, что много говорил, Болтунишкой, никак не мог поверить во второе место и бурно ликовал — пока не принял из рук Басшы ковер. Тут он сразу сделался серьезным.

— Товарищи!— произнес он во всю немалую силу своих легких. — Наш прямой долг — улучшить породу скота! Наш прямой долг — сделать ее еще более ценной! Наш прямой долг — добиться новых достижений по всем отраслям хозяйства!..— И так далее — про прямой долг и новые достижения. — На этот раз первое место занял не конь, а его атбеги!.. Настоящего скакуна определит следующая байга! — Этими словами он закончил.

И Мамай, и Есен, и председатель Кадыржан — все были удостоены справедливых и заслуженных похвал. Но старый атбеги, казалось, пропустил их мимо ушей. Не выразил он и сочувствия хозяевам Вольчего Уха и Белой Подошвы, хотя был уверен, что те лишились положенной им награды. Ничто не интересовало его сейчас, кроме единственного: Мамай в нетерпении ждал, чтобы закончили раздавать призы и он остался с председателем с глазу на глаз. Улучив удобную минуту, он спросил у погонщика, что произошло с красным конем... И тот ответил, что пока он еще не испустил дух, но, должно быть, околеет... Мамай сказал баскарме, что хочет взглянуть на коня, если он жив...

Да, он был жив, хотя само по себе это слово сейчас мало о чем говорило... Не обращая никакого внимания ни на рычание мотора легковой машины, остановившейся рядом и примявшей колесами блекло-зеленую полынь, ни на двух людей, подошедших к нему, старика и молодого, конь продолжал стоять, опустив понуро голову, с ввалившимися, полузакрытыми глазами. Весь он, до самых копыт, был в поту. Хребет, холку, бока и грудь— все его тело покрывала как бы короста, местами похожая на застывшую пену, местами — на запеченную корку из смеси пыли и песка. День был теплый, но скакун дрожал от озноба.

— Не умеешь ухаживать — зачем берешься за бегового коня?— сказал Мамай, готовый сгоряча обру-

щиться на хозяина коня с упреками, накипевшими на сердце, но тут его взгляд упал на джигита, стоявшего перед ним. Левой рукой тот прижимал к себе мальчика-наездника, в правой держал повод. Голова у него была опущена так же понуро, как и у его коня. По щекам бежали слезы. Он почернел от горя, словно стоял у изголовья покойника, могилы близкого человека — единственной отрады в жизни, единственной надежды на будущее счастье. Он приоткрыл было рот, намереваясь ответить, а может — сказать что-то свое, но подбородок у него задрожал...

Мамай смягчился. Однако и утешать джигита не посчитал нужным.

— Что будем делать, аксакал?— проговорил председатель, нарушая неловкое молчание. Он жалел уже, что поддался уговорам старика и приехал сюда. Тем более что районное руководство могло его хватиться и не найти...

— За сколько ты его продашь?— спросил Мамай напрямик.

— Он околеет?— спросил джигит.

— Может околеть,— сказал Мамай. — А может и живым остаться...

— Если живым останется...

— Если живым останется, то бегать уже не сумеет,— сказал Мамай, подступая почти вплотную к хозяину коня, в глазах которого мелькнула надежда. — Нужно лечить, нужно ухаживать. Ветеринарный врач тут не поможет, в институтах другому учат... Конь твой, смотри сам. Если он тебе дорог, отдай его мне. Ради его же счастья. Говорят: «Происхождение тулпара не забывается». И еще: «Крылатый скакун — общая радость...»

Хозяин коня, который попеременно посматривал то на старика атбеги, то на председателя, своего ровесника по годам, но с лицом важным, холодным и, казалось, ко всему безучастным, наконец кое-как совладал с собой. Он достал из кармана платок, вытер взмокший от пота лоб, провел по щекам, по шее в горячей испарине. Затем не спеша, аккуратно сложил платок вчетверо и снова засунул в карман. Потом он обнял коня, обхватил его за шею, словно давая понять, что ни за что не расстанется с ним. Конь, стоявший до того неподвижно, как если бы каждая из четырех его ног была прибита к земле гвоздем, покачнулся.

— Если он околеет...— сказал Мамай. — Если он околеет, грех на мне будет. Продай. Куда тебе на коне ездить? У тебя государственная машина. Разве твоим детишкам не нужно айрана, молока?.. Вот и держи корову. Или кобылу, чтобы доилась... Ну, решай, пока скакун еще жив. Что выберешь — корову с теленком и бычка для убоя в придачу или кобылку с жеребенком?

— Говори быстрей,— вмешался председатель.— Выбирай — и конец, и считай, что сделка... что обмен произведен. А если он тем временем вздумает околеть...

— Если он околеет, расплачиваться будет не колхозный скот, а моя единственная кобыла,— сказал Мамай.— Поторапливайся, милый, или не видишь, что коню уже невмоготу.

— У меня единственный сын,— сказал джигит.— Ему на днях только пять лет исполнилось. Я седло ему заказал, детское...— У него вновь задрожал подбородок.— Он до того коней любит... И жеребят, и верблюжат...

И без того не слишком горевший желанием выторговать коня председатель — к тому же плаксивый джигит порядком действовал ему на нервы — потерял последнее терпение. Глянув раз-два на готового вот-вот рухнуть скакуна, он решил уйти. Мамая тоже, казалось, оставила всякая надежда договориться.

— Тогда бери верблюда!— взорвался напоследок председатель. В его словах слышалась насмешка.— Бери верблюдицу с верблюжонком! С верблюжонком пускай играет твой сын, а на верблюдице жена ездит в магазин!..

Неожиданно хозяин коня сдался:

— Ладно,— сказал он.

Мамай не знал, то ли радоваться завершению сделки, то ли жалеть ничего не смышляющего в хозяйстве джигита. Но разве не корова — нынче самый нужный в доме скот? Подумал бы, чем станет кормить свою кучу детей!.. Однако сейчас ему было не до того, чтобы кого-то жалеть, давать советы.

Мамай пощупал рукой взмокший от пота конский бок. Лицо старика посветлело. Он боялся, что ребра скакуна заросли жиром. Тогда жировой слой толщиной с большой палец должен был расплавиться — и конец коню, его бы уже ничто не спасло. К счастью, конь оказался средней упитанности. Похоже, лишь перед самой байгой хозяин закармливал скакуна ячменем и овсом.

Думал, видно, что это поможет коню одолеть длинную дистанцию, полагая, что он самой природой предназначен для коротких... Ясное дело, джигит куда больше кумекал в моторе своей машины, чем в уходе за конем, и не избавил его от застойного пота, не натренировал как следует, чтобы он был в надлежащей форме... И вот результат.

Мамай сбросил с себя просторный чапан и накинул на скакуна. Председатель, достав из машины коврик, которым обычно застилал сиденье, хотел, чтобы старик, во избежание простуды, вернул чапан себе на плечи, а коня накрыл ковриком, но атбеги тут же набросил коврик на скакуна поверх чапана. Отвязав шылбыры — длинные поводья, употребляемые для привязи лошади на стоянке,— Мамай накрепко перетянул ими туловище коня, старательно укутав спину и бока. После этого он взял коня под уздцы и потянул за собой, но обессиливший скакун не сделал и шага. Свесив голову, он смотрел на Мамая тусклыми, равнодушными глазами, в которых едва-едва теплилась жизнь, и не трогался с места.

— Лучше я быстренько съезжу и подошлю машину, чтобы его погрузить и отвезти,— предложил председатель.

— Не надо,— сказал Мамай.— Кровь ему в ноги опустилась, и если он хотя бы часок не походит — ему не выжить. Ты лучше сзади его толкай. И ты, милый,— обратился он к джигиту-шоферу,— ты тоже подсоби. Толкайте вдвоем.

Однако несмотря на то, что спереди, натужась изо всех сил, его тянул старый атбеги, а сзади толкали еще два человека — правда, председатель Кадыржан побаивался, как бы конь его не лягнул, и лишь слегка касался его концами расставленных пальцев, зато хозяин скакуна сначала толкал его обеими руками, а потом, упершись ногами в землю, приналег даже плечом,— несмотря ни на что, вяло сникнув, конь так и не сдвинулся с места. Наоборот, колени у него подгибались, суставы ослабли, он готов был каждую минуту повалиться на землю.

— Эх, ему бы сейчас кусочек курдючного жира...— вздохнул Мамай, которым впервые, казалось, начало овладевать сомнение.

— Курдючного жира?..— удивился председатель.— А жир с тазовой кости сгодится?..— спросил он, не до-

жидаясь ответа на первый вопрос.— Эй, мальчик!— окликнул он шабандоз-бала, который прежде играл сам по себе, гоняясь за кузнечиками, а потом, когда взрослые попытались тронуть коня с места, подошел поближе и с любопытством наблюдал за их безуспешными стараниями.— У меня в машине, между сиденьями, лежит мешочек. Тащи его сюда!..

Из мешочка одновременно с початой поллитровкой и двумя гранеными стаканами был извлечен завернутый в плотную бумагу внушительных размеров кусок бараньего мяса. В толще его скрывалась тазовая кость. Мамай вынул из кармана складной нож и срезал с нее три тонких ломтика жира. Потом он раздвинул судорожно сведенные челюсти коня, вынул изо рта у него удила и, приговаривая «Мох... Мох!..», что значит «Ешь... Ешь!..», принялся заталкивать в угол рта, из которого сочилась густая слюна, ломтик сала. Вначале конь, стиснув зубы и вскидывая головой, сопротивлялся, но в конце концов, наверное, жир растаял между языком и нёбом и, когда конь сделал глотательное движение, проскользнул в пищевод. Следующие два ломтика проскочили внутрь уже почти без усилий. Старый атбеги не мешкая нагнулся — но не для того, чтобы вновь притронуться к мясу или салу. Руки его с сочным хрустом рвали только-только начавшую покрываться мелкими веточками белую полынь. Он мял и растирал ее листья между ладоней, выдавливая зеленый сок. Затем подносил свои ладони к морде коня. Он прижимал его голову к груди и, не давая разжать челюсти, заставлял нюхать, вдыхать горький, терпкий аромат.

Так он повторял снова и снова.

— Теперь посмотрим,— сказал он после этого.

Красный конь, мало-помалу поддаваясь двум джигитам, толкавшим его сзади, неуверенно сделал два-три шага. Словно почувствовав головокружение и желая передохнуть, он постоял немного и затем, понурый, с низко опущенной головой и безжизненно обвисшим хвостом, поплелся за Мамаем.

## 2

Запаленный в байге, доставленный на центральную усадьбу Байкошкар колхоза «Новая эпоха» в кузове машины, красный конь не околел, как того ожидали многие. Старый атбеги боялся задержки мочи у коня, но, массируя ему пах, добился, хотя и не без труда, своего. В течение четырех дней, предварительно растерев коню голени в нижней части, он попеременно из всех четырех ног спускал кровь, очищал их от застоя. Потом он надел на ноги коню торбы из плотой мешковины, наполненные холодной и вязкой глиной. После десяти дней заботливого ухода конь начал оживать. Мамай кормил его травой — по стебелечку, поил водой — по тостагану[1] зараз. Конь сильно потерял в весе, отощал. Ребра торчали наружу, бока запали, копчик выпирал бугром. Похоже было, жизнь едва-едва теплилась в нем. Аксакалы — белобородые, карасакалы — чернобородые, хорошо разбиравшиеся в конях, говорили, что его надо отпустить в табун, дать вволю попастись, нагулять жир. Соглашался с ними и председатель Кадыржан, уже сожалевший о невыгодном обмене и опасавшийся насмешек со стороны находящихся под его началом людей и коллег из соседних колхозов. Но Мамай был непреклонен. Он поселился подальше от аула, поближе к тугаям, которыми заросли берега реки, на излучине, в укромном, укрытом от ветров и посторонних взоров месте. Рядом со своей юртой велел поставить вторую. Помимо собственной кобылы попросил доставить еще одну — колхозную. Председатель ни в чем не перечил атбеги, и тот получил все, что хотел.

И вот, едва на горизонте, бывало, покажется солнце, старый Мамай, накинув на шею скакуну волосяной аркан, выводит его на богатый ковылем косогор. Можно бы здесь привязать коня к накрепко вросшему в землю кусту таволги и уйти. Но Мамай этого себе не позволит. Зажав конец длинного аркана в кулаке, он не отстает от скакуна, послушный его воле. Иногда конь, вдыхая полной грудью свежий воздух, движется против ветра. Иногда кружит по десять раз на одном месте. Все равно: тяжело ступая старыми, плохо гнущимися ногами, Мамай следует за конем. Лишь изредка, если веревка не натянута до предела, он с хрустом в коленях опустит-

[1] Тостаган — небольшая деревянная чаша.

ся на корточки или присядет на бугорок — отдохнуть. Похоже, не человек пасет коня, а конь — человека. По истечении времени, за которое, как говорится, можно дважды подоить кобылу, то есть часа через три, намотав аркан на руку, атбеги возвращается к себе. Он разрешает скакуну немного попить прозрачной речной воды и заводит в юрту со снятой дверью и открытым куполом, собранную из оголенных четырехстворчатых кереге. Оставив коня внутри, он не привязывает его, лишь поперек выхода на уровне груди натягивает веревку — в два-три ряда. Во второй половине дня, когда зной спадает, но почва еще разогрета и трава налита соком, он снова выводит коня погулять и дает всласть повалять-ся — то на зеленом лугу, то на мелком речном песочке. Потом он пасет его на молодой траве. Чтобы не раздуло живот, он не позволяет скакуну есть много. А спустя недели полторы начинает прикармливать овсом, хорошо просушенным на солнце, с добавкой сахара. Начинает с горсти, постепенно увеличивая порцию. Однажды Мамай не давал коню воды целый день, а вечером поставил перед ним полное ведро свеженадоенного кобыльего молока. Красный конь пофыркал и пить не стал. Мамай целую ночь томил его жаждой, но и на другой день конь не прикоснулся губами к молоку. Тогда старый атбеги его перехитрил: он поднес ему ко рту полведра воды, и когда скакун принялся тянуть воду губами — как обычно, сколько бы не сушила ему рот жажда, он не набрасывался на питье с жадностью, а бывал сдержан,— в этот момент Мамай стал вливать в ведро кобылье молоко из носика чайника тоненькой, слабо журчащей струйкой. Может быть, попросту не обращая на это внимания из-за сильной жажды, а может быть, потому, что свежее молоко пришлось ему по вкусу, конь не отдернул головы от воды, в которой вихрились белые, как пушистые облака в небе, клубочки. Мамай несколько раз повторял эту процедуру, пока в дело не пошло чистое, неразбавленное молоко. Спустя месяц хребет красного коня округлился, ребра заросли жиром. Но Мамаю это было мало. Он намеревался довести коня до состояния, которое называется,— «саркобен», то есть состояние вышесредней упитанности.

Своими планами он поделился с баскармой Кадыржаном, который как-то заехал к нему напомнить, что во второй половине лета намечено широко отпраздновать День чабана, и узнать, как живет-поживает красный

конь... Старик сказал, что думает лишь об осенних скачках — только к тому времени конь созреет для байги.

— Тогда подготовьте ко Дню чабана другого коня... Голый Череп тоже сгодится, ведь он пришел прошлый раз первым!— предложил председатель Кадыржан, которому понравилось быть победителем.

Мамай помолчал.

— Нет,— сказал он затем,— Голый Череп оказался первым только благодаря красному коню да еще Елику, вступившему в байгу на полдороге: ну и благодаря, конечно, своим крепким голеням — они у него сильные... Но Голый Череп уже староват для таких скачек. Пускай прежняя слава останется при нем, и ему в самый раз сойти с беговой дорожки. Отпусти его в табун. Пускай поживет на воле остаток дней своих. Ну, а что до этого красного коня... Тебе, верно, доводилось слышать про таких скакунов, как Таскок — Голубой-Каменный, или Коктайрак — Голубой-Ретивый или Коксандал — Голубой-в-Яблоках, или Коксерке — Голубой-Горный-Козел... Хотя, впрочем, откуда же тебе слышать, если даже те, кто родился и вырос в здешних краях — и они стали забывать про них... Но были такие скакуны, прославленные из конца в конец степи! Правда, в прежние времена, очень давно. А иные и, пожалуй, совсем недавно!.. Наш конь из той же благородной породы. Судьба у скакуна особая, сынок. Бурная у него жизнь, полная борьбы и огня, а конец — мучительный и жестокий. Я назвал тебе кое-кого из прославленных Голубых — все до единого умирали тяжко. Наш же Голубой — не чисто-голубой и не серо-голубой, он еще и рыже-красный... Пускай жизнь у него будет, как у тех коней, зато смерть — другая... Хочу дать ему кличку — Наркызыл — Красный Верблюд. Мы обменяли его на верблюдицу с верблюжонком, а он стоит не одного, а сотни верблюдов, наш Наркызыл!... Осенью полюбуешься им на аламан-байге. Если все будет благополучно. Ну, а Голого Черепа не тревожь зря...

Председатель посчитал советы аксакала вполне резонными, но искушение было велико, и Кадыржан, решив, что позорно не участвовать в байге на впервые проводимом в районе празднике, распорядился доставить Голого Черепа из табуна на джайляу[1]. Ухаживать за ним он поручил одному аксакалу, понимающему толк в

[1] Джайляу — летнее пастбище.

скакунах. Кроме того, побеседовав с заведующим конефермой и с другими знатоками, он отобрал и велел готовить к байге еще двух-трех коней, отличившихся в кокпаре или на простых бегах — кара-жарыс, то есть в пробежках наперегонки, которые случаются чуть не каждый день — потехи, спора или развлечения ради.

С праздника и председатель «Новой эпохи», и его колхозники вернулись порядком пригорюнясь. Первый приз получил скакун по кличке Ортеке — Горный Козел из колхоза «Шакпак» соседнего, Шаганского района. Голый Череп пропустил вперед всех своих прежних соперников и сам едва-едва зацепился за седьмое место. Кони, которые участвовали в скачках впервые, быстро выдохлись и остались далеко позади. Но еще позорней было то, что всем сорока пяти коням, выставленным булгыртауцами, пришлось, как говорится, «подбирать кизяк» за опередившим их единственным скакуном шаганцев. Когда Мамай увидел пасмурное лицо Кадыржана, который, будучи, в общем-то, городским жителем, гораздо острее, чем его аульные сверстники, переживал все связанное с обычаями и традициями,— старый атбеги почувствовал себя так неловко, словно молодой председатель по его вине лишился чего-то бесконечно ему дорогого. Во всяком случае, тут была затронута общая честь. И не только председатель, но и старый Мамай с нетерпением ожидал следующей байги.

Как и предлагалось, на осенние состязания собрали самых знаменитых, претендующих на призовые места коней Булгыртау.

Из аула Кюль-тюбе был доставлен прославленный скакун Шимойын — Тонкая Шея, не умевший принять участие ни в весенней, ни в летней байге. Это был высокий карий конь, с легкими тонкими ногами, козлиной головой и узкой, по-гусиному длинной шеей. Изящно сложенный и хрупкий на вид, он брал последние десять лет большинство главных призов. Скакун был еще далеко не стар, но затемно терял прежнюю лихость, так что его вводили в скачки лишь раз в году. Шимойын имел уверенную осанку, глаза его смотрели весело, он словно предчувствовал, что придет к финишу первым, и Мамай, любуясь им, засомневался в своем воспитаннике...

Аул Коктал выставил Волчье Ухо. Трудно было отвести взгляд от вороного, с блестящей бархатистой шерстью коня с настороженными острыми ушами. Его

широкая грудь и сильная, под стать лосю, шея казались литыми. Бока округлые, туловище длинное, перехваты над копытами жилистые — он был в превосходной форме, конь-красавец, до того стройный, что мог бы, как говорится, проскочить сквозь отверстие в кольце. Он был весь возбужден, взбудоражен, удила хрустели у него на зубах...

Резвый Шантимес — Пылинка-Сесть-Не-Успеет прибыл из аула Балкыбек. Нрава он был нервного, пугливого, капризного. Может, кто-то обидел его, когда он бегал по степи долгоногим жеребенком, или с ним слишком жестоко обошлись, обучая тому, что должен уметь хороший скакун,— как бы там ни было, был он привередлив, словно молодая красавица, и надменен, как положено всеобщему любимцу. Все у него решало настроение. Когда три года назад никому не известный низкорослый чалый конь-пятилетка неожиданно пришел первым, люди заговорили, что солнце для Тонкой Шеи и Волчьего Уха закатилось, отныне конец их безраздельному господству... Но на следующей байге Пылинка-Сесть-Не-Успеет остался позади... С тех пор он то включался в число призеров, то позорно проигрывал — тут ничего нельзя было предугадать. И однако Мамай больше прочих побаивался именно Шантимеса, звезда которого, думалось ему, еще загорится.

Прославить аул Бесоба должен был конь Актабан — Белая Подошва — задние ноги в белых чулках, грива густая, хвост пышный, шея короткая, ляжки круглые, задний постав широкий, врастопырку... Вроде бы самый обычный саврасый конь с белой полоской на лбу. И перья филина, заправленные в челку, и красная лента, разделяющая на пряди хвост, ничуть не украшали его, напротив, скорее придавали его фигуре нелепый вид. Полукровка — карабаир от казаната — отца и джабы — матери, Белая Подошва никогда не приходил к финишу первым.

Он два или три раза в год участвовал в байге, и каждый раз занимал третье или четвертое место. Иногда отодвигался на пятое, на шестое. Но чтобы он вовсе не получил приза — такого не случалось. Кое-кто поговаривал, что Актабан — конь с загадкой, он еще покажет себя. Когда-то ему не повезло. Впервые участвуя в скачках, он столкнулся с одним из зачинщиков кутерме, кинувшихся ему наперерез, и после этого взял в привычку пропускать вперед соперника. Другие толковали, что

он из тех скакунов, которые распаляются постепенно и предпочитают большие дистанции — которые не позволяют им по-настоящему развернуться. Третьи твердили, что Белой Подошве необходим особый уход, особая выездка... На самом же деле и сила, и слабость скакуна заключались в его природе. Смещение кровей наградило его выносливостью, но поубавило скорости... Впрочем, как и в жизни, в байге многое решает счастье, удача. Коли кому суждено прийти первым — тут окажется, что и в уходе и выездке не было изъяна, и прочие статьи — хоть куда!.. По своему обыкновению, Белая Подошва не гарцевал, не вставал на дыбы, красуясь перед другими конями,— подогнув заднюю, в белом чулочке ногу, он стоял, упершись в землю кончиком копыта, отдыхая и подремывая. Будет он участвовать в байге или так и останется стоять, не меняя позы, до самого вечера — ему, казалось, все равно.

Аул Саркамыс рискнул направить на состязание еще не стяжавших громкой известности четырех рыжих коней, на которых немало людей возлагало свои надежды. В частности, председатель Бекен-Всезнайка, поскольку кони эти — из породы, только-только начинавшей осваиваться в здешних краях,— не имели равных себе ни когда бежали рысью, ни когда скакали галопом: все как один высокого роста, с коротким туловищем, с налитыми горячим огнем карими глазами... Совсем недавно привезли их с конного завода, немало уплатив за каждого. Все они оказались некастрированными, охочими до кобыл жеребцами.

Из аула Шакпак соседнего района Шаган доставили буланого коня с белой звездочкой на лбу, с пышной гривой, густыми щетками на ногах, с обросшими шерстью скулами. Перед круто поднят вверх, зад приспущен. Тело плотное, верткое. Видом похож на породистую борзую, готовую кинуться на волка. Даже неопытный взгляд признал бы в нем скакуна, которому нет соперников на дистанции в тридцать или сорок километров. «Это Горный Козел!» — зашумели было те, кто участвовал в летнем празднике чабанов, но хозяева коня стояли на своем. Горный Козел — на празднике в райцентре, а это — младший брат того Горного Козла, по кличке Керкиик — Буланый Сайгак,— говорили они. Что же до старого Мамая, то статью конь был ему по душе, в глазах же у скакуна он уловил усталость, и веки моргали как-то лениво, и брови были насуплены чересчур...

Мамай не сомневался в том, что это и есть Горный Козел, которого привели под выдуманным именем, чтобы в случае чего не испортить репутации прославленного скакуна, не отпугнуть от него счастья. Лишь в том случае, если добьется он победы в байге, будет названа его подлинная кличка. Но вряд ли дойдет сегодня до этого. После летнего праздника к скакуну еще не вернулась надежная форма.

И ценители, действительно понимающие толк в лошадях, и бапкеры, то есть те, кто ухаживает за конями, готовят их к скачкам, и попросту охочие до острых зрелищ вроде байги столпились вокруг скакунов с заботливо расчесанными гривами и хвостами, со связанными в пучок челками, и беседовали о своих давнишних знакомцах, не раз состязавшихся друг с другом и попеременно обгонявших друг друга скакунах, и рассуждали о пока еще никому не известных претендентах, которым вполне могла улыбнуться удача, и разбирали в подробностях отличительные особенности каждого, то затевая горячий спор, то поддакивая один другому,— короче, здесь всем было о чем потолковать.

И никто не задерживал взгляда на не проявлявшем никакого нетерпения, подобно иным хорошо выезженным, рвущимся на беговую дорожку скакунам, Красном Верблюде, который спокойно прогуливался на некотором расстоянии от толпы. Он ходил взад-вперед, плавно переступая ногами, и в каждом его шаге, в том, как выносил он перед собой и как ставил ногу, заключалась ни с чем не сравнимая величавая грация... Только старики атбеги, будучи в курсе всех перипетий на весенней байге, изредка посматривали в его сторону. Да и то разве лишь для того, чтобы запомнить масть коня, который в тот раз вырвался далеко вперед во время первой половины байги. «Е-е, он может без передышки скакать пятнадцать — двадцать километров»,— говорили они и, не останавливаясь, проходили дальше. Это были самые лестные слова, которые отпускали в его адрес накануне первой байги, ожидавшей Красного Верблюда после того, как он попал в руки Мамая.

Мамай же, после того как он осмотрел всех скакунов-соперников и услышал, какими словами обменивались знатоки по поводу его коня,— старый Мамай про себя возблагодарил бога. Хотя он и не придерживался поста — оразы, не читал намаз пять раз в день и вообще не отличался набожностью, но побаивался худого языка

и дурного глаза. Преклонялся он только перед духами предков. И был уверен, что у каждого выдающегося человека есть свой пирь — святой дух, а у знаменитых скакунов — кие, то есть тоже своего рода дух-покровитель. Старый атбеги не сомневался, что желаемого можно добиться трудом и талантом, но при этом не забывал и о фортуне — маленьком счастье, которое даруется свыше... Всю жизнь он избегал зазнайства и богохульства. А внуку своему, который учился теперь в большом городе, Алма-Ате, не уставал повторять: «Не старайся в каждодневной суете быть на виду, только в большой байге, когда испытываются честь и совесть джигита, вступай в битву!..» Вот и сейчас учил он сына своего родича, маленького Есена: «Держи повод натянутым! Не увлекайся безрассудно! Не задавайся — мол, я наверняка приду первым во что бы то ни стало!» — И еще: «Не слишком вырывайся вперед! Самое лучшее — держись от остальных на длину аркана (то есть на пятьдесят — шестьдесят метров). Только в последний момент, перед самым финишем, вложи себя всего, без остатка!..»

Сидевший на Красном Верблюде, на маленьком складном седле с тонким подседельником, щупленький, с оттопыренными ушами, большеротый мальчуган молчал, и было не понять, слушает ли он, о чем говорил атбеги. Но старый Мамай знал, что ни одного его слова шабандоз-бала не пропустит мимо ушей. Мальчуган разбирался в лошадях не меньше иного знатока-аксакала, усвоил до мельчайших деталей тактику и стиль аламан-байги. Но ведь и сегодняшнее состязание, и конь, на котором он сидел,— все совсем не похоже на привычное, прежнее... Этого-то и опасался Мамай.

И вот послышался возглас, обращенный к участникам байги. Скакуны, разом отделясь от остальной массы людей, пешей и конной, устремились к старту.

В правилах нынешней байги кое-что было изменено — в отступление от принятого.

Басшы, хотя он, как уже говорилось, прибыл в район лишь в прошлом году и сам едва достиг середины между тридцати- и сорокалетним возрастом, показал себя за короткий срок не только умелым руководителем, но и способным на решительные поступки человеком. После скандальной весенней байги он настоял-таки на своем и докопался до сути дела. А докопавшись, то есть установив, что Елик действительно присоединился к скач-

кам где-то посредине, он председателю «Саркамыса», который числился по ряду хозяйственных отраслей в первых рядах, объявил выговор — за то, что тот опорочил добрые традиции старинной игры и поставил жюри в ложное положение. Чтобы предотвратить подобное в будущем и не оставить даже лазеек для таких бесчестных дел, а также чтобы весь народ мог воочию следить от начала и до конца за волнующим зрелищем, Басшы предложил перейти на уже принятую в некоторых местах круговую байгу. Сразу за райцентром, в степи, трактор взрыхлил плугами сухую землю, описав два гигантских эллипса, один внутри другого. Длина дорожки между ними составляла ровно семь километров. Состязание иноходцев-двухлеток укладывалось, таким образом, в один круг, аламан-байга — в пять кругов, составлявших положенные тридцать пять километров. Все с редким единодушием одобрили эти новшества. Кроме того, всем пришлось по душе, что был наложен категорический запрет на кутерме. Чтобы никто не нарушал порядок, зрители должны были наблюдать за байгой, сойдя с коней.

Участники байги — счетом сорок семь — выстроились на старте в одну линию, Наркызыл располагался в середине.

Резкий взмах сигнального флажка на длинной рукояти, громкий возглас: «Лап!..» то есть «Марш!» — и словно гул прошел вдруг по земле, топот сотен копыт наполнил грозным рокотом воздух — и спустя миг стал удаляться, ослабевать, пока не затих вдалеке. Через некоторое время скакуны, обогнув суженную дугу эллипса, вновь начали приближаться к зрителям. Впереди, выгнувшись в струну, бежал серо-голубой конь. Он опередил прочих, скакавших за ним скученной группой, метров на двести. Зрители зашумели, особенно те, кто был из «Новой эпохи»: «Молодец, Наркызыл!.. Нажимай!..» Председатель Кадыржан подошел к старому атбеги и свойски похлопал его по спине. Мамай, у которого сердце неистово колотилось в груди, а суставы как бы размякли от накатившей слабости, даже не повернул к нему голову. Дальнозоркие глаза Мамая заметили, что Есен не в силах совладать с конем. У старика перехватило дыхание. Или ему это показалось?.. Нет, чем больше проходило времени, тем неудержимей росло расстояние между Наркызылом и остальными конями. Вот на противоположной стороне

беговой дорожки четко проступают на фоне неба силуэты лошадей, участвующих в скачке. Наркызыл, вырвавшись далеко вперед, несется во весь опор. Словно для него это не просто байга, и он бежит, спасается от чего-то что есть мочи. Кони, следующие за ним, вытянулись теперь в прерывистую цепочку. Но цель у них, похоже, не обогнать, а хотя бы не отстать еще больше. И до чего неуклюжим, тяжелым выглядит их бег в сравнении с легким, летящим силуэтом Красного Верблюда!..

Не сбившись с темпа, Наркызыл завершил начальный круг аламан-байги первым. Группу коней, бежавших за ним, возглавлял Горный Козел. Возбужденные, подогреваемые криками и гиканьем зрителей скакуны, у которых только-только стала проступать испарина за ушами, ускорили бег, натягивая с силой удила. Те из них, которые, вроде Волчьего Уха или Тонкой Шеи, распалялись в ходе борьбы, лишь теперь достигли привычной для себя скорости. Пережившие на своем веку не один успех, в совершенстве владея своей необычной профессией, лошади, которым азартная атмосфера байги давно вошла в плоть и кровь и у которых приобретенные благодаря воспитанию навыки успели превратиться в черты характера, преобразились и бежали, размашисто взбрасывая ноги. И лишь на Белую Подошву ничто не действовало. Конь плелся где-то в хвосте байги, движения его были неслаженными, развинченными.

«Еще не разошелся как следует»,— говорили знакомые с его нравом. Хотя вообще-то Белая Подошва обычно держался всю байгу одного неизвестного ритма. От старта до финиша не изменял он своего бега, лишенного стремительности и боевого напора. Продолжая тот же равномерный бег, он уже во втором круге должен был перегнать десять — пятнадцать коней, скачущих впереди. Старик бапкер, хорошо знавший своего Актабана, ничуть не сомневался в нем. И ничуть не сомневался, что скакавший во главе байги, почти на полкилометра обогнавший передних Красный Верблюд в том же втором круге окажется между тех, кто скачет посередине, а затем... Затем не сможет угнаться за Белой Подошвой. Такого мнения придерживались и знатоки, приехавшие из других аулов.

И однако их ожидания были напрасны. Так же, как и в первом круге, Красный Верблюд бежал впереди.

Промежуток между ним и идущими следом не сократился ни на вершок. Только вторым теперь стал Шантимес — Пылинка-Сесть-Не-Успеет, а третьим — Волчье Ухо. Шимойын — Тонкая Шея бежал внутри основной группы. Актабан — Белая Подошва обошел всего семерых-восьмерых коней. Последними были двое из четверки рыжих коней «Саркамыса». И оба дышали тяжело, словно горячий пар бил у них из ноздрей. Впрочем, не только у них — у многих коней начало рваться дыхание. Темп, взятый байгой, на этот раз был выше обычного. Приотставшие от Наркызыла кони старались не дать ему слишком уйти вперед. Казалось, если не отступаться от него, Красный Верблюд скорее сдаст. У зрителей в памяти была весенняя байга, на которой серо-голубой конь, далеко обойдя передних за первую половину пути, вдруг словно переменился... Шабандоз-бала, участники многих скачек, чувствовали себя так, словно впервые взялись за гриву коня. Красный Верблюд не сбивался с бега — ровного, легкого, стремительного. Есен только теперь, казалось Мамаю, ощутил уверенность. Когда, оторвавшись от остальных, он заметил, что Наркызыл скачет уже не рывками, а взял спокойный, ровный темп, мальчик позволил себе расслабиться и, склонясь к шее коня, поудобней устроился в седле. Он не торопил, не подгонял. Только время от времени оборачивался назад, строго наблюдая, чтобы расстояние до других коней оставалось прежним.

Третий круг в свою очередь ничего не изменил. Правда, поменялись местами несколько лошадей в основной группе. Да еще Актабан — Белая Подошва, оставив позади еще десять — пятнадцать коней, бежал теперь посредине байги.

Надежды многих были связаны теперь с четвертым кругом, когда — это казалось всем неизбежным — Наркызыл выдохнется и останется позади, а другие скакуны, достойно заслужившие в прошлом свою славу, займут положенные места. И в самом деле, четвертый круг был трудным испытанием. Запаленные, «с обожженными» легкими, сошли с дистанции все четыре рыжих скакуна, выставленные «Саркамысом». Актабан — Белая Подошва нагонял первую десятку, во главе которой, опередив Шантимеса — Пылинку-Сесть-Не-Успеет на длину курука, то есть на три-четыре метра, под крики и вопли подстегивающей скакунов толпы бежал Волчье Ухо. Но первым по-прежнему был Наркызыл — Крас-

ный Верблюд. Он опережал Волчье Ухо не на расстояние от порога до тора, то есть на пять-шесть метров, и не на длину аркана, то есть на пятьдесят — шестьдесят метров, и не на расстояние полета стрелы, то есть на пятьсот метров. Между ними было не меньше километра. И Наркызыл, отделившись от всех, скакал далеко впереди один-единственный.

Вероятно, коню, который на протяжении четырех кругов, составляющих двадцать восемь километров, не дал поравняться с собой почти полусотне скакунов, отобранных из многих тысяч лошадей района,— вероятно, коню этому зрители должны были единодушно отдать свои симпатии. Должны были поддержать его, желая ему победы. Даже те, кто всей душой болел за своих коней, и те по справедливости должны были бы признать редкими его силу, выносливость и боевой задор. Но этого не случилось. Напротив. Вокруг толковали, что он вот-вот сдаст. Что ему сейчас перехватит дыхание. Что до финиша он наверняка не дотянет. Люди же, которые пришли посмотреть на байгу из райцентра и, не выставляя своих лошадей, должны были сохранять полную беспристрастность в оценках, люди эти, вместо того, чтобы любоваться величавым, как у сайгака, бегом, когда, вытянувшись в струнку, Наркызыл стремительно делает скачок за скачком, и вместо того, чтобы радоваться появлению коня, превосходящего всех прежних скакунов, истинного тулпара,— люди эти начали вдруг дотошно к нему придираться, ревновать, завидовать... «Откуда взялся такой?.. И как это мог он обогнать Шимойына — Тонкую Шею, перебить ему дорогу?.. И где нашел он силы схватиться с Волчьим Ухом?.. А одолеть Белую Подошву?.. Вот еще выискался! Да как он смеет! Нельзя допустить, чтобы он всех обошел! Нельзя, нельзя!..» — шумели они. Хотя никто их них, вообще говоря, не таил в душе никаких злобных мыслей. И никто не желал дурного ни старому атбеги Мамаю, ни аулу, который выставил скакуна. Единственной причиной всему был сам конь — его исключительная натура, необыкновенный характер. В голове не укладывалось, как это возможно — без всякой борьбы, без того, чтобы помериться силой с прочими скакунами, стрелой вылететь вперед... Это ведь все равно что взять да и сыпануть в глаза песком!.. Установившийся порядок нерушим и должен сохраниться. Дерзкий, самонадеянный новичок займет положенное ему место — в конце... И

незачем было ему всех баламутить, портить байгу, лишать игру прелести!.. Как тут не возмутиться!.. Но что оставалось делать?.. Надо набраться терпения и ждать завершения скачек...

Однако надежды зрителей не осуществились... Лишь в ту минуту, когда Наркызылу предстояло ступить на прямую дорожку, ведущую к финишу, могло показаться, что промежуток между ним и конями, бежавшими позади, резко сократился. Это кони, обогнув последний раз суженную дугу эллипса, припустили по внутреннему краю дорожки, напрямик. Но все равно не догнали. Красный Верблюд, по-прежнему далеко обходя остальных, пришел к финишу первым. Второй приз получил весь покрытый потом, сделавшийся из карего багрово-коричневым Шимойын — Тонкая Шея. Третьим оказался Шантимес — Пылинка-Сесть-Не-Успеет. Четвертым — Волчье Ухо, до самого конца не убавлявший темпа, достигший финиша «кусая за хвост» бежавшего впереди коня. На пятом месте был Актабан — Белая Подошва.

При определении мест не возникло никаких споров и недоразумений. Но все, кроме Мамая, остались недовольны доставшимися призами.

Старый атбеги Дожан из Кюль-тюбе, через силу набросив на Тонкую Шею красно-белый ковер, обхватил своего скакуна за голову и замер в горестном молчании. Все, кто был вокруг,— и болевшие сердцем за своего коня аульчане, и родственники Дожана, и просто зрители, не раз любовавшиеся бегом Шимойына — Тонкой Шеи, были взволнованы и растроганы. Никто, в том числе и награжденный главным призом Мамай, не могли найти слов, чтобы утешить старого атбеги. Дело в том, что то была последняя байга его любимца — Шимойына. Дожан всплакнул. Другие открыто выражали ему сочувствие. Многие сожалели о случившемся. Если бы добавить еще полкруга, Волчье Ухо пришел бы первым, говорили одни. Э, нет, Тонкая Шея опередил бы его, утверждали другие. Совсем не Тонкая Шея и не Волчье Ухо, а Белая Подошва был бы победителем, если бы еще круг!..— возражали третьи. Что же до Наркызыла, то, послушать людей, ему вообще ничего не оставалось, как подбирать кизяк за прочими скакунами. Но о чем бы ни толковал народ, какому бы коню ни прочили главный приз, мысли у всех стекались в одно русло: Красный Верблюд не мог и не должен был пере-

гнать остальных. Поскольку и тот конь, и этот, и третий, и четвертый имели право рассчитывать на первое место, были его достойны. А Наркызыл — нет. А значит... Значит... Это простое везение. Случай. Почему — случай?.. Потому что... Потому что...

Мамай ловил краем уха и недовольное ворчание, и злые насмешки, но не придавал им значения. Он мало слышал о страданиях, которые выпадают в жизни на долю тех, кто богато одарен от рождения, наделен исключительным талантом; он никогда не задумывался о том, что у людей, которых потомки называют великими, при жизни бывает много недоброжелателей и прямых врагов, и потому они не только не получают должного признания — их зачастую не причисляют даже к серой посредственности, никто не знает о них, никто о них не слышит... Мамай не мог узнать о судьбах подобных людей из книг. Что же до коней, то о них он знал гораздо больше, чем о людях. И ему было известно, что Наркызыл не «шоктык-сегерей» — «длинные ноги — высокая холка», то есть конь, пускающийся вскачь что есть духу на пятнадцать — двадцать километров. И не «тыкыр-бакай — тармыкын» — «гладколапый, узкий в паху», то есть бегущий, набирая скорость, на дистанцию в двадцать — двадцать пять километров. И не «бос-белбеу — бота тирсек» — «свободный бег с коленями как у верблюжонка», пролетающий тридцать — тридцать пять километров. И не «емен-желке — кок айыл» — «с дубовой шеей, не ведающий устали», преодолевающий от сорока до пятидесяти километров. Для Наркызыла, знал он, в равной мере доступны любые дистанции, он окажется первым на каждой из них. Таково свойство истинного тулпара. На нем от рожденья нет ни грамма лишнего жира. И передние, и задние ноги одинаково сильны. Ляжки сплетены из одних сухожилий, а сухожилия — точно стальные пружины. Расстояние, на которое у других коней тратится три шага, он одолевает за два скачка. И такая мощь заключена в его спине, что сколько бы ни пробегал он, усталость ему не знакома. Однако свойства Красного Верблюда связаны не просто с выносливостью, скоростью, силой. У него особый характер. Мамай снова отметил это после двух кругов. Коню важно не только быть впереди, он стремится к тому, чтобы его ушей не достигал даже топот скакунов, которые следуют за ним. Быть не просто первым — быть первым, ушедшим далеко!.. Драгоценное качество. Но

на радость ли оно или на муку?.. Старому Мамаю невольно вспомнился внук, находящийся в городе на учебе. Написал он, что ездил в какой-то — о аллах!— лишь по сказкам известный Мамаю город, не то в Самарканд, не то в Бухару, и там завоевал первый приз. По стрельбе, как уже было зимой?.. Нет, по учебе. Вот как. Не успел начать учиться в своем унби... нет — берситете... как уже открыл что-то, нашел что-то... Короче, там, где собрались студенты разных племен и народов, он всех обогнал и вышел первым. Обрадовало это Мамая? Не обрадовало. Чему тут радоваться?.. Видывал он немало на своем веку тех, что вырывались вперед... И столько раз ведь твердил ему: «Не старайся опередить! Не обгоняй!..» Да, но то — человек. А конь... Конь должен приходить первым. Должен перегнать — и так, чтобы даже пыли из-под его копыт не увидели отставшие...

Однако старый Мамай, в тот момент еще весь во власти байги, не подумал о том, что судьба у тех, кто далеко обогнал остальных, частью одинакова, будь то конь, будь то человек... У казахов одним словом называют тех и других: «жуйрик», что значит — скакун...

## 3

А новой весной опять случилось нечто из ряда вон выходящее, поразившее весь район. Наркызыл, все пять кругов бежавший по-прежнему далеко впереди, снова пришел первым. И летом, на празднике чабанов, повторилось то же самое. В летнюю пору, говорят, мозговые кости побеждают... Весной тем более. Красный Верблюд, подобно другим скакунам, всю зиму находился в табуне, и, обжигаемый ледяным ветром, разрывал копытами снежный наст в поисках корма, но начиная с апреля его уже холили заботливые руки Мамая, и корма было вдоволь, и выезжать Наркызыла стали только после того, как он доведен был до состояния вышесредней упитанности, так что форма у него в самом деле была отличная. К немалому, надо сказать, огорчению тех, кто привел своих коней на весеннюю байгу без такой подготовки... На празднике чабанов — стояло самое жаркое время лета, шильде,— люди опять искали причины, из-за которых Наркызылу повезло, а других постигли неудачи. А осенью... Осенью Красный Верблюд, у которого по мере приближения к финишу ноги словно станови-

лись легче, а дыхание глубже и ровнее, без труда одолел сорок своих соперников и опять занял первое место.

И на следующий год — то же самое. И на третий год — все повторилось в третий раз. В домах у старого атбеги и Есена не было пустого угла — всюду ковры, дорогие вещи, напоминавшие о победах в байге. Мамай, вчера еще живший в неказистой лачужке, мог теперь запросто подарить один из своих призов приехавшему из столицы певцу, который во время концерта назвал в песне его имя... Что говорить про атбеги, про бапкеров, про завзятых болельщиков и любителей скачек,— во всем районе, пожалуй, не осталось человека, оставшегося равнодушным к происходящему. Многие были взвинчены до предела. Не бесконечные призы, которые сыпались на Мамая и его шабандоз-бала, не ковры с бархатистым, переливающимся ворсом бесили людей, а сам Красный Верблюд. Его бег, стремительный и грациозный, его странный норов, не допускавший других скакунов ближе полета стрелы, его постоянная удачливость — когда бы и с кем бы ни состязался, Наркызыл всегда приходил первым... С тех пор, как появился Красный Верблюд, скачки лишились прежнего интереса. Да и какой интерес там, где нет азартного ожидания, полного надежд и сомнений, восторгов и отчаяния... Басшы, видя это, задумал однажды провести байгу без Красного Верблюда. То есть он решил наградить Наркызыла призом за первое место — без участия в скачках. И не только потому так хотел сделать Басшы, что был уверен в неизменной победе скакуна,— нет. Сын табунщика, к тому же ветеринарный врач по образованию, понимающий в конях толк, он чувствовал, что другим коням трудно соперничать с Красным Верблюдом. Уже подросший, набравшийся опыта шабандоз-бала не мчался, как спервоначала, вперед, не летел стремглав — он вел себя уверенно, расчетливо. Скакал, выдерживая постоянную дистанцию в двести-триста метров. При этом и конь не тратит напрасно силы, и тот, кто вознамерился бы с ним поравняться, срезав поворот, не выиграет слишком много. Но остальные шабандоз-бала, в запале нахлестывая своих скакунов, устремляются за Наркызылом, по-прежнему мечтая — еще чуточку, вот-вот — и обогнать его... Большинство коней достигали финиша совершенно выбившимися из сил. Иные, не в состоянии продолжать борьбу, покидали соперников на полдороге. И однако все участники состязания

выступили против того, чтобы вручить Красному Верблюду первый приз без скачек. В других случаях без спора соглашаясь с мнением Басшы, сейчас они не скрывали своего недовольства. Как это так?.. Значит, можно вообще ни во что не ставить остальных?.. Мамаю — слава, другим — позор?.. Однако не только в самолюбии было дело. Каждый верил, что именно на сей раз Красный Верблюд останется позади, что или его конь обгонит Наркызыла, или чей-нибудь еще, или, на худой конец, пускай даже какой-нибудь скакун из соседнего района — из Шагана на севере, к примеру, или из Нарына, что на востоке, или Актогая, Каркаралов, лежащих на западе,— откуда угодно, лишь бы отыскался, наконец, такой конь!.. Но что поделаешь, Красный Верблюд — да ниспошлет ему аллах тысячу бед — снова пришел первым!

В те времена, о которых у нас идет речь, большие празднества с учетом национальных традиций проводили уже не только в районных масштабах. Спустя три года, в течение которых Наркызыл заставил стонать от зависти и плакать кровавыми слезами весь Булгыртау, Красный Верблюд вместе с другими лучшими скакунами района отправился в областной центр — Семей. Старый Мамай, как ни был уверен в своем коне, не мог заглушить тревоги, возникшей после разговора с председателем Кадыржаном. Как проводят байгу в городе?— спросил Мамай. И услышал в ответ, что кони там скачут самое большее на дистанцию в пять-шесть километров, то есть подходящую лишь для коней-двухлеток. И что на скакунов садятся не малые ребята, а взрослые джигиты — жокеи, и призом награждают не коня, а жокея, поскольку победа считается его достижением... Услышав это, Мамай вначале только посмеялся. Но ему и раньше доводилось слышать, якобы у некоторых народов имеются по-особенному выхоженные аргамаки ценной породы, их бегу ведут счет минуты, секунды, и правила байги там совсем другие... Вот отчего Мамай встревожился, почувствовал в душе сомнение. Он опасался, что его конь может покалечиться, если станет прыгать через стену, или перескакивать ров, или собьется с каких-нибудь правил — и тогда прощай, счастливая звезда...

Но все случилось иначе. Вернее, не иначе, а именно так, как бывало в районе. Только вместо раздольной степи были центр города и ограда вокруг. И люди не

стояли, а сидели на скамейках, наподобие лестницы выраставших одна над другой. И беговая дорожка была короче — пять километров по окружности. Что же до коней, собранных со всей области, то это были тоже вполне обыкновенные кони. Не считая нескольких, все принадлежали к степной казахской породе. А что до прочего, то и здесь была та же самая круговая аульная байга, только расстояние, которое надлежало пробежать коням, было поменьше. Зато правила... По этим правилам кони, получалось, должны скакать не слева направо, а справа налево, в обратную сторону. Не один Мамай — и старики, приехавшие из других районов, недовольно ворчали по этому поводу, но кто станет их слушать?.. «Правило,— объяснили им.— Существует такое правило...» И еще: выяснилось, что земля, по которой проложена беговая дорожка, песчаная. Коням, привыкшим скакать по степи, по холмистым склонам, она была в новинку. Кто знает, вдруг у них копыта перегреются и на ногах будет мокрица?.. Чтобы копыта были повыше и не скользили на поворотах в сыпучем песке, Мамай набил своему скакуну на все четыре ноги зимние подковы с опущенным, придающим устойчивость краем.

Он попросил молодого парня, который распоряжался на старте, чтобы его Наркызыла поставили в первом ряду. Но тому, видно, все равно было, что Красный Верблюд, что Красная Корова,— он спросил Мамая, какой у коня номер. Девяносто восемь?.. Ну, так ему и стоять в третьем ряду — там, где он стоит. Но вид у аульного аксакала был такой обескураженный, что парень, жалеючи его, рассмеялся. «Товарищ, у скачек дорога длинная — двадцать пять километров, что для вашего коня эти семь-восемь метров?» Опасавшийся, как бы в первый же миг после старта Красный Верблюд, привыкнув быть впереди, не столкнулся с каким-нибудь конем, старый атбеги, досадуя, что этому недотепе трудно втолковать самые простые вещи, повернул назад и сел на свое место. Сердце у него билось и замирало в груди точь-в-точь как в тот раз, когда он впервые привел на байгу своего Наркызыла. Он принялся рассматривать со стороны выстроенных стартом в три ряда скакунов, которых не мог обойти запросто, как у себя в районе, чтобы взвесить силу и слабость каждого. В конце третьего ряда стояли готовые впервые принять участие в такой большой байге кони из далекого Булгыртау.

Волчье ухо, Пылинка-Сесть-Не-Успеет, несколько молодых скакунов, которых приметил Мамай на недавних скачках,— все знаменитости района, кроме Белой Подошвы. Старый атбеги, желая им вместе и каждому в отдельности не уронить честь родного Булгыртау, снял с головы шапку и помахал ею — чего, надо сказать, прежде за ним не водилось. Однако никто из мальчиков, сидевших на своих скакунах с такими хмурыми, насупленными лицами, словно им предстояло не принять участие в байге, а, по степному обычаю, мчаться, нахлестывая коня, к дому покойника,— никто из них этого не заметил. Впрочем, не только в лицах, в позах ребят,— даже в том, как вели себя кони, ощущалось непривычное беспокойство. И внезапно таким родным показался Мамаю стоявший крайним в первом ряду конь с ляжками, как у горного козла, со спиной, похожей на заячью, буланый, с белым пятном на лбу. Он снова и снова нарушал строй. Когда поводья натягивались, он сердито выгибал шею, колотил копытами о землю, пятился назад, неохотно занимая свое место. И через минуту снова тянул шею вперед. Ортеке — Горный Козел... Или же... Нет. Рядом стоит еще один буланый, и тоже с белой отметиной на лбу. Гибкое, легкое, как у стрекозы, тело. Что за скакун? Буланый Сайгак или... Мамай только теперь понял, что прежде двух разных коней принимал за одного. Когда-то, в той байге, в которой Наркызыл впервые перегнал всех, среди обойденных им скакунов был Буланый Сайгак. Что же до Горного Козла, то лишь на этот раз они поскачут седло к седлу. Хотя который из двух стоящих рядом коней Горный Козел и который Буланый Сайгак — угадать невозможно. Оба вышли из одной утробы, оба одной масти, оба с пятном на лбу, только выездка разная, и у Горного Козла скорость, которой не выдерживают копыта других лошадей, на прошлогодней, впервые проводившейся областной байге занял он первое место... Который же из двоих?.. Мамай спросил об этом у сидевших возле него таких же, как он, атбеги. Оказалось, что все-таки крайний...

Впрочем, сейчас Мамаю было не до того, чтобы предаваться размышлениям по поводу различно сложившихся судеб двух скакунов, рожденных одной матерью. Пробежав торопливым взглядом по другим коням, он вернулся к Наркызылу. Тот стоял смирно, хотя по сравнению с тем, как он вел себя обычно, было заметно, что и Красный Верблюд чем-то встревожен. То и дело

уши у него заострялись, вставали торчком, голова настороженно вскидывалась вверх... «Жануар,— говорил себе старый Мамай.— Обидно ему, что поставили его позади... Сейчас, сейчас,— обращался он, растроганный, к скакуну.— Еще немного... Дыши ровно, спокойно, мой дорогой...»

Когда вместо привычного «Лап!» раздался выстрел из пистолета, часть коней в испуге шарахнулась куда-то в сторону, другие сбились в кучу и топтались на месте, все смешалось... Но минуты две или три спустя, вскочив со своего места и вытянув шею вслед мчащимся уже на значительном расстоянии коням, старый атбеги увидел, что впереди всех скачет Красный Верблюд. Между ним и первыми среди остальных было столько же, сколько от порога до тора, то есть не больше четырех-пяти метров, но ведь это было только начало... «Аруах! Аруах!..» — Мамай и сам не заметил, как выкрикнул эти слова. Но, казалось, на них ушли его последние силы. Ноги больше не держали его. Он плюхнулся на скамью и до самого конца байги просидел молча, собрав свое старое тело в комок, лишенный движения и жизни.

Наркызыл, проскакавший впереди четыре круга, на пятом набрал и вовсе изумившую зрителей скорость. Не снижая ее, он пришел к финишу, далеко оторвавшись от соперников.

Нельзя сказать, чтобы многие из коней — участников байги особенно устали и выдохлись. Но бег в обратную, против привычной, сторону, крутые повороты — все это не осталось без последствий. Волчье Ухо занял призовое место, но вышел из скачек охромевший. И получилось так, что эта байга оказалась последней для еще крепкого, в самой поре, поджарого вороного скакуна, в свое время главного конкурента Тонкой Шеи, а впоследствии — самого опасного противника Наркызыла в борьбе за первенство. Говорили, Буланого Сайгака постигла та же участь.

Радости Басшы Булгыртауского района, чей конь оставил позади тринадцать остальных районов области, не было предела. Он крепко обнял и поцеловал в морщинистую щеку старого атбеги. А спустя несколько дней специально приехал к нему домой и сам прочел Мамаю вслух напечатанную в областной газете статью. В ней хвалили Наркызыла. Быстрый, как ветер, брал он каждый круг за столько-то минут и столько-то секунд, писа-

ли там. И в результате — так там писали — опередил следовавшего за ним Горного Козла примерно на семьсот метров. Но в самом конце было сказано: «К сожалению, дистанция, определенная для байги, не дала возможности полностью испытать силы скакунов. Что произошло бы, окажись перед участниками скачек еще один круг, кто оказался бы главным призером — Горный Козел или Красный Верблюд, это для многочисленных зрителей осталось неясным». Слова эти оставляли в душе у Мамая неприятный осадок. «Глупая голова»,— в сердцах произнес он, в тот момент забыв о своем молодом, но почетном госте. Раньше он не придавал значения словам вроде этих, но последнее время они все больше раздражали его. Хотя, честно говоря, старый атбеги вынужден был признаться себе, что не только журналист, автор статьи в газете, но и немалое число зрителей, присутствовавших на байге, разошлись по домам с теми же сомнениями. «Еще один круг...» «Будь впереди еще один круг...»

Ну что ж, тем людям, которые толковали об этом круге, довелось его увидеть. На следующий год байга, проведенная на том же ипподроме, протянулась на тридцать километров. Но что делать — Красный Верблюд снова обогнал всех! А Горный Козел опять оказался вторым. Думая, что теперь споры затихнут, Мамай посматривал по сторонам, скользил прищуренным взглядом по знакомым с прошлогодней байги лицам банкеров, атбеги... И слышал снова и снова: «Эх, еще бы круг!.. Еще бы один!..» Мамай ни слова не произнес. Только насупился, отвернулся.

Ладно, здесь, на ипподроме, были чужие люди, они могли так говорить из ревности, зависти... Но соседи, сородичи, живущие с ним в одном ауле? Они-то?.. Или, может быть, долю, принадлежавшую их детям, съедает этот Красный Верблюд? Или, случись что с Наркызылом, они думают, что какой-нибудь их конь придет первым в байге?.. И ведь что станешь делать — болеют они всей душой даже не за скакуна из ближнего аула — за коня из другого района, за Горного Козла. «Эх, еще бы круг... Еще бы один круг — и Горный Козел...»

Поднявшийся на вершину восьмидесяти лет, Мамай, на исходе жизни которого снова вспыхнула звезда счастья, вместо того, чтобы по мере побед Наркызыла становиться все уверенней в себе, все покладистей и

благодушней к людям, наоборот, чем дальше, тем больше мрачнел и замыкался. Он начал сторониться своих друзей, стариков атбеги, знакомых еще с той поры, когда и он, и они, были юными джигитами, соперничавшими между собой, но за тридцать — сорок, а то и пятьдесят лет сделавшимися товарищами, закадычными приятелями, не всегда жившими бок о бок, но пережившими вместе немало перипетий. Даже с Дожаном, который почитал Мамая как старшего брата, разговаривал он холодно, хотя с того времени, когда Дожан разлучился с Тонкой Шеей, он больше не имел дела с конями. Однажды на проводимом в районе празднике Мамай сам предложил Басшы добавить еще круг. «Аксакал, вы прямо как малый ребенок!» — сказал Басшы. Сказал беззлобно, с ясным улыбающимся лицом, но, сам того не желая, больно задел старика. Разве для казахов байга исстари не была испытанием, когда на чашу весов ложилась честь — не одного коня, не одного человека, даже не одного аула, а — случалось — всего народа?.. Честь и гордость, достоинство и благородство, мужество и стойкость духа — вот чем была для степи во все времена байга! И спустя год наступил такой день, когда это понял и зажегся неудержимым азартом хотя еще и молодой, но уже достаточно опытный в работе и в жизни, уже привыкший подчинять свои чувства выдержке и рассудку Басшы, когда сердце его вспыхнуло — и наступил великий спор «кто кого», то есть день истинной аламан-байги.

## 4

Старый атбеги сильнее всех желал этого праздника — объединенного праздника чабанов трех соседних районов, который предполагалось провести в конце шильде, то есть в конце июля, но он знал, что на сей раз даже для Наркызыла выдержать большую байгу будет нелегко. Красного Верблюда после весенних скачек отправили дней на пятнадцать в табун. После того, как он вволю нагулялся, досыта пощипал сочной зеленой травы, атбеги принялся за него сам. Он кормил скакуна сухим овсом, поил свеженадоенным кобыльим молоком. За полтора месяца Наркызыл вошел в состояние выше-средней упитанности, когда костный мозг становится белым, а на ребрах нарастает жир. Только теперь пришло время начать выездку.

Не ограничивая коня в питье, Мамай урезал количество корма. Вдобавок к сухому ковылю подмешивал молодые, еще не раскрывшиеся почки таволги. Ранним утром, едва забрезжит рассвет, по холодку, тщательно укрепив у коня на спине устойчивое казахское седло, с трудом перемогая ломоту в старых костях, он взбирался на Красного Верблюда, направлял его вдоль реки быстрым шагом и заставлял подниматься на крутые холмы, чтобы проветрился под свежим ветерком, так они проезжали пять-шесть километров. А вечером, перед закатом солнца, повторялось то же самое. С каждым днем атбеги прибавлял по километру, чтобы конь наращивал мускулы. Шаг сменился рысцой. С рысцы он переключился на галоп. Две недели спустя Наркызыл стал проходить по двадцать — двадцать пять километров в день. За ушами у него выступал пот, грудь покрывалась испариной; каждые четыре-пять дней коня на ночь ставили на голодный отстой. В конце третьей недели Мамай, которому трудно давалась теперь даже легкая езда, решил посадить в седло внука, закончившего университет и отдыхавшего в ауле, перед тем как начать одолевать новую, еще более важную учебу, а пока с утра до ночи занятого чтением мудреных книг. Но Наркызыл, будучи по природе кроткого нрава, не выражавший беспокойства даже в том случае, если посторонний человек пройдет у него между ног, тут вдруг заартачился, не давал на себя сесть. Мамай едва успокоил своего сникшего от неудачи ученого внука, который то ли обиделся при этом на коня, то ли обнаружил в себе самом какой-то досадный недостаток. Старый Мамай в утешение объяснил ему, что за скакунами водится такая привередливость в характере, а Красный Верблюд высокомерен и горд, как ни один другой конь, и сейчас чуждается всех, кроме своего шабандоз-бала и его самого, атбеги, даже председателю Кадыржану, которого хорошо знает в лицо, на днях не позволил коснуться спины, когда тот хотел было сесть на него на минутку. Ничего не поделаешь, пришлось вызвать раньше положенного Есена, который на джайляу вместе со своими сверстниками целыми днями безмятежно плескался в реке, играл в альчики, грыз корешки лопуха и дикой морковки и лакомился ягодами. Вот кого Наркызыл встретил радостным ржанием — недаром были они неразлучны на любой байге целых пять лет! Все такой же маленький, щупленький, несмотря на исполнившие-

ся тринадцать лет, с по-прежнему оттопыренными ушами, Есен в первый же день заставил Красного Верблюда, нагруженного переметной сумой, полной тяжелого песка, пробежать километров десять — пятнадцать по холмистой равнине, поросшей ковылем, по приречной лощине, покрытой рогозом, то и дело поворачивая вправо-влево. Затем старый атбеги поставил скакуна на привязь, на голодный ночной отдых. Утром он велел завести коня в реку, туда, где поглубже, дать напиться чистой воды и поплавать. Мало того — наказал вычистить его, вымыть с мылом, чтобы шерсть заблестела, как червонное золото, как белое серебро. А через пять дней, по вечерней прохладе, дал коню пробежаться — километров на двадцать. После чего, смочив палец капавшим с коня потом, старый Мамай попробовал его на язык. Пот был вяжущим на вкус, но соли в нем недоставало. Мамай завел Наркызыла в специально для него установленную юрту и снова поставил на голодную ночную выстойку. Назавтра купание повторилось. После этого, не считая легкой прогулки, чтобы остудить ноги, он уже не трогал коня, давая ему хорошенько отдохнуть. И лишь когда до байги оставалось пять дней, он снова, уже в третий раз, отправил коня на пробежку в пятнадцать километров. Едва стали разогреваться копыта, Есен натянул поводья, и Наркызыл, который, задрав морду и дернув уздцы, намеревался было метнуться в сторону, подчинился воле мальчика. Он остановился у стены дома, расставил ноги и, расслабив поясницу, выпустил из себя упругую струю. Затем с видимым усилием, втягивая живот, сбросил несколько дымящихся катышков. Мамай нагнулся, подобрал два из них: кизяк был твердый, словно сушился полдня на солнцепеке. Только после этого старый атбеги поднял взгляд на Красного Верблюда. Под мышками и за ушами у коня было мокро, но грудь и бока лишь слегка увлажнились. Зная все наперед, Мамай скорее по привычке, чем из желания проверить себя, попробовал на вкус пот скакуна: пот был соленый, как сама соль. Хоть искусство обращения с конем досталось ему по наследству от дедов и прадедов, и уже не столько искусство то было, сколько навык, Мамай всякий раз, будь то сотый или тысячный в его жизни, чувствовал, как томит его страх, словно брался он за неведомое дело впервые. И, удостоверясь, что и теперь не промахнулся, что его скакун доведен до наилучшего для скачек состояния

акжилик — «белая кость», старик радовался и гордился в душе. «Тауба! Тауба!..» — бормотал он обращенные к богу благодарственные слова.

На другой день Мамай распорядился, чтобы Наркызылу, чисто вымытому, лоснящемуся на солнце, воплощавшему собой, казалось, всю конскую силу, красоту и доблесть, связали челку в пучок, украсили перьями филина. И чтоб расчесали хорошенько гриву. И чтоб затянули хвост узлом, вплетая красную шелковую ленту. И вот он стоял — в совершенстве выезженный, с подтянутыми, крепкими боками, словно выточенный рукой великого мастера, словно не конь, а ожившая вдруг скульптура, прекрасный, порывистый, готовый к новой борьбе и радостно предвкушающий свою победу, и невозможно было оторвать от него глаз. Мамай, взяв все необходимое, сам усевшись на одного коня и посадив Есена на другого, ведя на поводу Красного Верблюда, покрытого бархатной небесного цвета попоной с богатым орнаментом, отправился в путь на раздольное джайляу в самом центре Шаганского района — Каракорым, где было намечено провести праздник. Неторопливо шагая, заночевав дважды в степи, они доехали до места к полудню третьего дня.

В широком ущелье, окруженном высокими горами с черно-синими скалами, с громоздящимися друг на друга остроконечными вершинами, расположились, заняв довольно значительную площадь, юрты. На мгновение ослабив поводья, Мамай прикинул, сколько их здесь, белоснежных юрт,— получилось около пятидесяти. А народ, видно, только начал прибывать, юрты только начали устанавливать! Если даже из каждого аула всех трех районов привезут по одной, и то получится под сотню... Ему вспомнилось, как он когда-то давным-давно, впервые выехав из родного аула и будучи таким, как Есен, который с удивлением и восторгом засмотрелся сейчас на не виданную прежде картину, а может быть, даже в те времена, когда он, Мамай, был и моложе Есена,— как бы там ни было, давным-давно поехал он на большой ас, то есть на большие поминки — тризну, проводимую спустя год после смерти, и оказался у подножья Каркаралов... Ему вспомнились нарядные белые юрты на склоне голубоватых, поросших соснами и елями гор, упиравшихся в широкую равнину. Как ликовали тогда его родичи-аульчане, видя, что Акылак — Белый Козленок, на котором он сидел на скачках, пришел пя-

тым, сам же он, жалея, что не поскакал на Голубом-Каменном, опередившем остальных, горько плакал... У старого атбеги и теперь в горле застрял комок, на глаза навернулись слезы. Но Красный Верблюд рвался вперед и дергал поводья, пришлось уступить ему и подхлестнуть коня, на котором Мамай сидел. Машина, принадлежавшая «Новой эпохе», выехала позже, чем они, а на место прибыла раньше, но разгрузили ее пока только наполовину. Завидев еще издали Наркызыла, к ним обрадованно бросились молодые джигиты, которые устанавливали юрты, и нарядные девушки в платьях с оборками на подоле, в расшитых узорами камзолах. Одни, поддерживая аксакала под руки, помогли ему сойти с седла, другие, весело смеясь, в охапку сграбастали Есена и, стянув с коня, поставили на землю, ну а третьи, среди которых были и те, кому предстояло участвовать в завтрашних играх «кыз-куу» — «погоне за девушкой» — и конной борьбе, окружили Красного Верблюда. Погомонили, пошумели — и вернулись к оставленной работе, тем более что для приехавших следовало поставить не одну, а две юрты. Мамай тоже не был расположен долго рассиживаться на зеленой поляне с порядком уже примятой, притоптанной травой. Выпив, как было ему под силу, одну пиалу желтоватого, хорошо перемешанного во время машинной тряски кумыса, густого, с кружочками жира сверху, он дал попить мальчику и снова взобрался на коня. Всем, кто был поблизости, Мамай строго-настрого наказал беречь Красного Верблюда, никого из любопытных к нему не допускать, и самим тоже не подходить, и чтобы никто тем более не думал на него садиться, особенно келин — снохи, невестки — и девушки, чтобы они вообще поменьше засматривались на него, не то чтобы садились (он это сказал шепотом на ухо одному из джигитов, самому, как считал Мамай, понятливому). Всегда остерегавшийся чужого языка и глаза, старый атбеги в особенности опасался не чужих людей, а проказливых девушек-наездниц из своего аула. Он издавна твердо уверовал, что «если на скакуна сядет женщина — не видать ему в байге удачи...».

Мамай отправился — не взглянуть на прибывших на байгу скакунов, не прикинуть их силы. Ему хотелось посмотреть на незнакомую беговую дорожку. Как и в Булгыртау, она представляла собой подобие эллипса, по обеим сторонам земля была широко распахана плугом, сама же дорожка лежала лентой между валками

плотно утрамбованной сухой желтой глины. Мамай и Есен вдвоем, не спеша, обошли ее всю, приглядываясь, нет ли на ней торчащих поверх корневищ или пней, не встречаются ли на пути овраги и ручьи, не видно ли каких неровностей вроде мышиных норок или прорытых водой колдобин. Почва была без примеси песка, без камней — сухая, твердая. Хоть и не гладкая, как доска, но все же довольно ровная, без крутых подъемов, на которых занимается дыхание, и без уклонов, на которых следует убавлять скорость. Вряд ли для круговой байги можно было найти местность более удобную. Перед ними лежало настоящее поле битвы, на котором будут испытаны не просто выносливость и дикая, ожесточенная азартом сила, но рассчитанная, выверенная тренировками мощь, помноженная на скорость. Однако длина дорожки показалась Мамаю несколько большей, чем следует. Может, байгу решено провести в четыре круга вместо пяти, подумал он.

Нет, намеченной дистанции соответствовали, как обычно, пять кругов. Мамай услышал об этом вечером, когда собрались все участники, приехали руководители районов. Пять кругов по семь километров — итого привычные тридцать пять. Мамай был уверен, что в действительности это не так, но спорить не стал. Местность ровная, какая разница — тридцать пять или сорок. Старый атбеги и сам предлагал провести скачки на такое расстояние и готовил к этому своего коня. Он верил в Наркызыла. Здесь нет городской тесноты, где скакунов тренируют на двадцать пять — тридцать километров, и только. Кони хорошо подготовлены, и условия у всех одинаковы. Если что, всем придется жарко... Так думал Мамай, но перед Басшы, подробно расспрашивающим о состоянии Красного Верблюда и вообще относившимся к атбеги с большой почтительностью (хотя в остальное время не слишком склонным его замечать, ожидавшим при встрече, когда аксакал поздоровается первым),— перед Басшы и другим начальством, в том числе и перед председателем Кадыржаном, он, Мамай, не стал выкладывать своих соображений. Пригласили его в просторную, специально установленную юрту пообедать с начальством за дружеским столом,— он поблагодарил, сказав, что не должен далеко отлучаться от своего коня. И поручить его никому не может. Даже своим аульчанам.

И верно, те из приехавших на праздник, что уже ус-

пели поставить юрты и закончить прочие неотложные дела, с багровыми от выпитого кумыса лицами тянулись вереницей туда, где стоял Наркызыл. Шли по двое, по трое. Шли группами. Постоят, посмотрят, отойдут и снова вернутся. Одни молчат, ошеломленные, не отрывают глаз. Другие цокают языком, качают головой. Третьи, пожимая плечами, толкуют: мол, конь и конь, что в нем такого особенного... Иные разглядывали Наркызыла так внимательно, словно собирались взять его в уплату за невозвращенный долг. Иным хотелось снять с него попону, чтобы разглядеть скакуна получше. Нашлось немало и таких, которые хихикали и уходили, с издевкой перемигиваясь. В большинстве они были местные, из Шаганского района, где проводился праздник. «Посмотрим, на что способен наш Красный Верблюд на этот раз,— говорили они.— Повадился всех обгонять на дистанции в пятнадцать — двадцать километров — пускай обгонит завтра, когда придется бежать целых тридцать пять!.. Еще хорошо, если поспеет за Горным Козлом!..» «Ойбай-ау,— возражали другие,— что такое Красный Верблюд в сравнении с Горным Козлом?.. Где ему!.. Да разве помимо Горного Козла у нас нет скакунов?.. К примеру, такой-то... И такой-то... Да если он дотянется своей мордой им до хвоста — и то пускай будет доволен!..» Понятно, когда дошло до прямых словопрений, булгыртаусцы тоже не остались в долгу. «Скакали в районе — за Наркызылом угнаться не смогли, скакали в области — тоже не смогли, теперь здесь победить нашего Наркызыла надумали?..— язвили они.— Выставляли против него какую-то клячонку по имени Буланый Сайгак — ничего не получилось, кроме позора; выставляли и другую, по имени Горный Козел,— так тот даже хвоста Наркызыла не увидел, этого вам мало?... Ойбайау, как вам рот не перекосит, когда вы поминаете Красного Верблюда! Кто там у вас — Буланый Сайгак или Горный Козел,— пускай он сначала догонит Шантимеса, пускай он с таким-то или хотя бы с таким-то конем поскачет стремя в стремя!..» Перепалка разгоралась, грозила перейти в скандал, а скандал в драку. Но в конце концов заводилы убоялись оказавшихся поблизости представителей закона, при форме и на конях, кто-то их вовремя кликнул, а может быть, они сами, наблюдая за порядком, подъехали на шум. Короче, спорщики разошлись, наступили мир и спокойствие.

Мамай не придавал значения ни злобным выпадам

недоброжелателей, ни ответным колкостям своих аульчан. Не затрагивали его даже яростные проклятия иных аксакалов, судя по виду, испытавших в жизни и хорошее, и плохое: «Да накажет его аллах, снова он появился, снова хочет увезти первую награду! Чтоб ему оступиться и перекувырнуться через голову! Чтоб ему ступить в нору и сломать ногу!..» Э, кому не известно: между людьми не обходится без горлопана, между пирующими — без драчуна... Однако старый атбеги из предосторожности предпринял кое-какие меры. К вечеру, со всей аккуратностью сняв с копыт Наркызыла блестевшие тонкие подковы, он распорядился, чтобы по обе стороны скакуна поставили на ночь по коню. Сзади оградой Наркызылу служила машина. Не худого глаза и нечистого языка опасался сейчас Мамай: мало ли на что способна слепая злоба... Сам атбеги прилег в юрте — и не потому, что доверился клятвенным обещаниям джигитов сторожить Красного Верблюда до утра не смыкая глаз, а разморившись после трех дней сухомятки от сочного бараньего мяса и смешанной с куртом[1] жирной сорпы. Прилег Мамай и незаметно для себя уснул. И снились ему какие-то путаные, не связанные друг с другом сны без начала и конца. Снился Мамаю его несчастливый, горемычный сын, дважды и, казалось навсегда — исчезавший из дома и возвращавшийся вновь. Наполнив граненый стакан водой до самого края, он сыпал в нее ложкой соль, помешивал и пил, как пьют водку, морщась всем лицом. Потом подносил к носу камушек размером с альчик и нюхал... Снился Мамаю внук, у которого не было времени дождаться чабанского праздника, он спешил в Алма-Ату, от деда — к другим учителям, обучающим его важным и сложным наукам... Внук во сне пытался взобраться не то на тигра, не то на льва. Но зверь скалил зубы, рычал, бил хвостом по земле, кружился волчком, не подпуская близко... Снилась Мамаю его старуха, сомкнувшая навечно глаза восемь лет назад; в последние годы, когда в жизнь Мамая вошел Наркызыл и новой силой наполнились его жилы, он редко вспоминал о ней. Но теперь он увидел ее в точности такой, какой была она в пору молодости... Тогда, накануне приезда нареченного жениха — на урын собирался приехать он. Мамай похитил ее, и они скрывались в труднодо-

[1] К у р т — сухой, твердый, в кусочках, творог.

ступном ущелье среди гор Акшатау. Бывало, каждое утро она уходила к роднику поить коня. Вот эта картина ему и приснилась. Точь-в-точь. Только конь... Конь, которого вела она в поводу, был — Красный Верблюд! И у родника она не остановилась. Все шла, шла... Удалялась... Пока не пропала в тумане. Но тут Наркызыл обернулся назад и в страхе заржал... Старик мигом проснулся, вскочил. Прямо у стенки юрты, нетерпеливо перебирая ногами, легонько ржал Красный Верблюд.

— Эй, кто там?.. А ну проваливай!..— крикнул Мамай. И обругал всех предков того, кто напугал коня.

Не помедлив и минуты, чтобы прихватить джакы[1], которым был укрыт во сне, он выбежал наружу, спотыкаясь и чуть не падая в темноте. Глаза его ничего не заметили среди мрака, окружавшего юрту. Двигаясь на ощупь, добрался до своего любимца. Слава богу, Наркызыл оказался на месте. Только топтался он как-то слишком беспокойно, тревожно. Мамай обхватил его за шею, погладил по крупу. Постоял, касаясь головой конской головы. Наркызыл словно был чем-то напуган, широкие ноздри его так и трепетали. Колени вздрагивали. Постепенно атбеги свыкся с темнотой, но, пристально присматриваясь к тому, что было вокруг, ничего подозрительного не заметил. Добровольных караульщиков, джигитов и девушек, просивших давеча доверить им Наркызыла, тоже не было видно. Где там!.. Да и кто усидит подле юрты в такую темную, благоухающую степными ароматами ночь, когда аул только-только расположился на новом месте?.. Разошлись кто куда, за холмы, по лощинам, укрылись в зарослях ивняка. Что им завтрашний праздник, если есть сегодняшний вечер?.. Мамай сам обошел вокруг, осмотрел окрестные юрты. Нет ничего настораживающего. Большинство пылавших вечером очагов, вырытых в земле, погасли. Лишь кое-где виднелись женщины у казанов, те, у которых запоздало праздничное угощение, и рядом с ними — джигиты-табакши, помогавшие готовить и ухаживать за гостями. Они двигались молча, без шума и говора, будто скользили серые тени. Казалось, все кругом замерло в полусне-полудреме, и юрты, дружно заселившие просторную долину и прикор-

[1] Джакы — верхняя одежда, сшитая из шкуры жеребенка.

нувшие за темным пологом ночи, светились, как сквозь неплотно сомкнутые веки, узкими бледно-желтыми полосками света в щелках между кошм. Но так лишь казалось. На самом деле на новом месте, да еще накануне большого праздника, никто не мог в эту ночь забыться безмятежным и крепким сном. Вот в одной из юрт, где собрались, видимо, аксакалы, кто-то перебирал струны, извлекая звонкие звуки из горла домбры. Слышался кюй. Старинная мелодия, известная с давнишних времен... И откуда-то доносился веселый гомон вперемежку с молодым раскатистым смехом. А издали летел берущий за душу, полный печали голос: «Царственный Шаган, прощаюсь я с твоими вершинами высокими, с твоими долинами широкими, с легконогими косулями, которые резвятся на твоей груди...» С этой песней когда-то уходила из Шагана молодежь на фронт, эту песню оставила родной земле. Не записали ее на бумаге, не исполняли по радио, а вот поди ж ты, не забылась, поют... Мамай, растроганный, направился было в ту сторону, откуда слышалась песня, но дальше не пошел, остановился. Ветер доносил задушевную мелодию обрывками, словно волны набегали и откатывались назад, или старый, порядком подпорченный репродуктор то замирал, то снова подавал голос. Мамай послушал пение до конца и повернул к своей юрте. Есен сладко спал, сжавшись в комочек, лицом к кереге, ниточка слюны свисала у него из уголка рта. Мамай повернул его, уложил поудобней, накрыл коротким тулупом. Потом не мешкая взял свой джакы, лисий треух — тымак и вышел на улицу. Только теперь он заметил, что продрог, но остаток ночи ему хотелось провести около коня. Лучше всего было забраться в кузов машины. Оттуда видно все вокруг, к тому же там теплей — разостлана кошма, есть, наверное, чем укрыться... Но влезть в кузов Мамаю было не по силам. Он поглубже нахлобучил тымак, опустил наушники, поплотнее укутался в джакы и присел прямо на землю возле Наркызыла. Спиной он опирался о стенку юрты, ноги скрестил по-турецки — устроился поудобней, как мог. Ночи в предгорьях прохладные, от земли тянет сыростью, хотя сейчас лето, шильде, самая жаркая пора... Он сидел: размышляя о том и о сем, не имеющем отношения к байге, и встретил рассвет с открытыми глазами. Когда же начало светать, ему подумалось, что у его Наркызыла, дремавшего, положив голову на холку соседа, заметна

какая-то странная вялость — и в этой вот позе, и во всем теле. Конь стоял на трех ногах, согнув заднюю. Что-то заныло и напряглось в душе у старого атбеги. Тем не менее боясь нарушить чуткий сон скакуна, он сидел неподвижно, опасаясь шевельнуться. И лишь когда Наркызыл проснулся и легонько заржал, старый атбеги поднялся с места. Не без труда расправил он затекшую поясницу, распрямил занемевшие ноги. В ушах стоял шум, голова трещала. Холодная испарина покрывала лоб. Конечно, всему причиной — бессонная ночь... Мамай вывел Наркызыла из его укрытия, снял попону. Через силу шагая непослушными, тяжелыми ногами, направился, держа повод в руке, туда, где неподалеку виднелись корымы — круглые, сложенные из камня курганы. Лучи только что взошедшего солнца окрасили их в темно-багровый цвет, у подножий вытянулись длинные тени. Сотворенные некогда человеческими руками, холмы эти сейчас выглядели естественной частью природного пейзажа — с такой величавой безмятежностью возвышались на плоской низине глыбы поросших красным мохом камней. Что происходит с ними рядом, какие тайны сокрыты под ними, в земной глубине — им было все равно... Но то, что мы называем корымами, на самом деле — о аллах, страшно подумать!— надгробья наших предков, которые жили то ли две, то ли три тысячи лет назад. Мамаю об этом рассказал внук. В те далекие времена, рассказал он, рыли в земле глубокую яму и в нее опускали покойника. И вместе с ним все необходимое, чем пользовался он при жизни — оружие, разную утварь, инструменты. Под конец убивали ударом в лоб любимого коня и зарывали подле умершего... Мамай обернулся, посмотрел на своего скакуна. Красный Верблюд, у которого рот был освобожден от удил, не торопясь, блюдя достоинство, краешком зубов щипал сухой ковыль у подножия корыма. Старик залюбовался необычайным благородством, наполнявшим каждое движение Наркызыла... Подождав, пока скакун пощипает травы, Мамай поставил его задом к корыму, взгромоздил несколько плоских камней один на другой и, как по лесенке, поднялся и ухватился руками за неоседланную спину коня. Словно малый мальчик, не достающий до спины теленка, он вскарабкался на Красного Верблюда и дал коню немного пройтись, поразмять спину. Теперь конь был готов к скачкам.

Однако до байги оставалось еще немало времени.

Ее, как выяснилось, решили провести под конец задуманных в этот день состязаний. Считалось, что она лучшим образом украсит и завершит праздник. Так-то оно так, но ведь тогда наступит самая жара... И надо бы сообщать о таких вещах заранее, а не путать добрых людей... Привезенные из трех районов, все как один с расчесанными, развевающимися по ветру пышными гривами и хвостами восемьдесят отлично выезженных скакунов, похожих на готовых к схватке гепардов, прождали скачек еще полдня.

Незадолго до начала байги произошел разговор, воспринятый одними из присутствовавших как спор, другими — как шутка. Чтобы понять сокровенную сущность этого разговора, надобно знать, что Басшы, руководитель Булгыртауского района, родился и вырос в Шагане. Руководитель же Шаганского района — мы назовем его Улькен[1] — родом был из Булгыртау. И потому аульные аксакалы толковали, что аргынами Шагана руководит керей, а кереями[2] Булгыртау верховодит аргын. Это обстоятельство немало смущало некоторых аксакалов и в иные дни прямо не давало им покоя. Что же до обоих районных руководителей, то и Басшы, и Улькен поступали по долгу и совести, радея о благе и чести каждый своего района. Между прочим, они и учились в одном вузе, и в одно и то же время, и родились в одном и том же году, а у казахов последнее обстоятельство дает право друзьям без обиды пошутить и посмеяться друг над другом, иной раз даже и жестоко. Поэтому наверное, разговор, случившийся между ними, походил одновременно и на спор, и на шутку. «Пускай Красный Верблюд не участвует в байге, он уже обогнал Горного Козла до этого — не раз, и не два, а три раза, к чему его мучить в четвертый раз, нашего жануара?..» — сказал Басшы из Булгыртау. «Как это — три, если не три, а только два раза состязались они на ипподроме? Да и то на коротких, скорее для жеребцов-двухлеток, чем для взрослых коней, дистанциях? — сказал Улькен из Шагана.— Если вы теперь испугались и не хотите выставлять Наркызыла, так прямо и объявите, только сначала посоветуйтесь со своими людьми».— «Нет, сначала давайте сами все обсудим. Наверное, почтенный Аксакал,

---

[1] Улькен — старший.

[2] Кереи, аргыны — названия родов.

приехавший из Нарына, не будет против того, чтобы наградить первым призом без скачек?» — сказал Басшы. Что верно, то верно, во время подведения итогов соревнования между районами сверстники остро критиковали друг друга, и, бывало, встречаясь во время поездок в область и выше, едко подшучивали один над другим, но такое... Чтобы так топтали честь его района... Этого снести Улькен из Шагана не мог. Он побагровел. Потом побледнел. Потом растерянно, как если бы у него перехватило от возмущения дыхание, оглядывался по сторонам, не находя достойных слов для ответа. Шаганцы, начинавшие в свою очередь распаляться, ждали, чем кончится разговор, ждали, что он скажет, как ответит на неслыханное унижение. Но Улькен вовремя овладел собой, сдержался, не дал дороги обиде. Напротив, даже рассмеялся. И, задержав улыбку на лице, сказал: «Народ наш не беден джигитами, табуны — скакунами. А что если у нас имеется другой претендент на первый приз, еще не скакавший на такой байге, как эта? Что если он оставит позади и Горного Козла, и Наркызыла? Или не у нас, а среди прибывших из Нарына коней отыщется такой скакун? Как полагаете, Аксакал?..» Тогда Аксакал из Нарына, который был всего на несколько лет старше обоих сверстников, постарался смягчить вроде бы поначалу шутливый, но принимающий скандальный оборот разговор. Всем известно, сколько ни хвали Красного Верблюда, никакая похвала не покажется лишней. Но и Горный Козел, кто станет возражать, также достоин самой высокой оценки. Любая шутка в устах сверстника уместна, но разве не следует испытывать коня — в байге, а джигита — в борьбе? Возможно, не у одного из двух знаменитых скакунов, а у какого-то третьего, никому пока не известно, загорится яркая звезда. В Нарыне, к примеру, появился гнедой по кличке Балуан — Силач. Кто про него слышал? А ведь скакун хоть куда. Может быть, ему тоже улыбнется удача?.. «Тогда пускай бегут не пять, а шесть кругов,— сказал один из сторонников Горного Козла.— Сорок два километра. Кто придет первый, тот и победит. И спорить не о чем, и обижаться не на что. Все по справедливости». Путей для отступления не оставалось. Булгыртаусцы приняли условия соперников.

Трудно сказать почему, но среди постоянных болельщиков за Наркызыла многие вдруг утратили прежнюю

уверенность. Скорее всего причиной тому была новая дистанция, слишком, как полагали, длинная для Наркызыла... Как бы там ни было, заговорили о том, что теперь-то уж Горный Козел не допустит, чтобы его перегнали. И о том, что не следовало соглашаться на перемену условий. А так и прежнюю славу можно потерять, и у коня боевой дух будет сломлен... Э, пускай и боевой дух будет сломлен и сам он подохнет,— отвечали им (правда, отвечали не вслух, а про себя). Кто слишком высоко занесется и бога забудет, тому рано или поздно судьба отомстит. Наркызыл среди слабых силен, у себя в районе. На коротких дистанциях привык побеждать. Пускай и он почувствует, что такое — поражение... Ай, Горный Козел, ай, молодец! Лучший из коней! Настоящий скакун! Сделай так, чтобы заносчивый выскочка подбирал за тобой кизяк!.. Припоминали скакунов прежних времен, выносливых, не сдававшихся ни на каких состязаниях. Сюда бы сейчас Тонкую Шею! Вот был конь — словно нарочно для больших скачек родился, для аламан-байги!.. Ойбай, а богатырь на длинных дистанциях — Голый Череп?.. А Волчье Ухо?.. Так и не дождался жануар своего счастья. Вот бы кого включить в байгу, вот бы кто всех позади оставил...

Тем не менее, перебрав скакунов, которым предстояло участвовать в байге, булгыртаусцы предпочли горечь сомнений сладости надежды. Пылинка-Сесть-Не-Успеет в отличной форме. А также этот... А также тот... Называли даже Белую Подошву, скакуна хотя и постаревшего, но не сдавшегося, вновь участвующего в аламан-байге... Называть-то его называли, но тут же и конфузились. Поскольку Белая Подошва был из лодырей, на беговой дорожке скорей походил на черепаху, чем на истинного скакуна. «Актабан — Белая Подошва!..» Столько лет это имя твердили знатоки, а конь, на которого возлагали столько надежд, никогда не занимал первого места. Самое большее — третье, четвертое. А весной оказался и вовсе девятым. Вообще привезли его сюда по какой-то непонятной случайности — беднягу, плетущегося в хвосте даже на обычных межаульных скачках... Короче, перед началом байги кого только не вспоминали, о ком не толковали, но меньше всего — о Наркызыле, который на протяжении пяти лет брал первые призы повсюду, начиная с Булгыртау и кончая Семеем, а сейчас был в самой поре, в самом расцвете сил. Он как

бы выпал из списка. Забыты были все его прежние победы, забыты давние и недавние состязания, в которых он приходил первым, скакуна по кличке Наркызыл — Красный Верблюд словно не существовало.

Да что винить других, если старого Мамая и то грызли сомнения. Такие тусклые у его любимца зрачки... Не следовало оставлять его одного, когда он, Мамай, отправился осмотреть беговую дорожку. Может, кто-то по незнанию дал ему напиться воды. Да мало ли что... Слишком уж много народа крутилось вокруг, глядели-глазели, вот и сглазили. Казалось Мамаю, чувствует конь какую-то тяжесть в теле, казалось, спину его что-то сковывает. А ведь раньше перед аламан-байгой глаза у Наркызыла так и блестели, так и светились. Когда ездили первый раз в Семей, ночью, когда Мамай не мог уснуть, когда на душе у него было ох как тревожно, кожа у атбеги на лбу, с правой стороны, помнил он, стала ни с того ни с сего дергаться... Добрая примета! Она сбылась...

— О аруах!— бормотал Мамай, когда скаковые кони выстраивались на старте — стремя в стремя, в два ряда. Глаза его застлали слезы, он не смог различить, где стоит Красный Верблюд.— О мой тенгри! Дай спине его несокрушимую крепость, дай копытам неутомимую мощь! Об одном тебя молю — поддержи его! Подари ему снова радость победы! О мой жануар! Скачи, широко развернув грудь, вложи всего себя! Душу и жизнь свою отдал бы — лишь бы ты победил!..

Когда все восемьдесят коней, как одно огромное тело, стронулись разом с места, ударив копытами в землю, и помчались, припустили вскачь, Мамай, напрягая глаза, всматривался им вслед. Еще и расстояние было позади невелико, а Белая Подошва уже оказался среди последних. С длинным, но как его ни расчесывай и ни заплетай, все равно не желавшим легко и красиво ниспадать, а стоявшим колом густым хвостом, он скакал, до того нелепо разбрасывая в стороны ноги, что вместо четырех под ним чудились восемь, и если четыре из них отрывались и взлетали, другие четыре оставались на земле. Чем дальше, тем больше Актабан отставал от других скакунов. «Неплохо, жануар, неплохо,— думал Мамай.— Хоть бы тебе достался приз!..» Старик всегда сочувствовал Белой Подошве, и сейчас, глядя коню вслед, на минуту отвлекся от своего Наркызыла. Хотя в беге постаревшего скакуна не было резвости, зато

в его движениях, его теле опытный атбеги заметил признаки какой-то особенной мощи. Когда же кони, миновав суженную часть круга, вышли на прямую дорожку и он увидел впереди всех, на расстоянии полета стрелы, распластавшегося в стремительном беге, как в самые лучшие времена, Красного Верблюда, Мамай и не слишком-то взволновался, не слишком обрадовался. Прежнее спокойствие вернулось к нему. Лишь когда его взгляд уловил на втором суженном конце круга, что группа коней, бежавших до того позади, ринулась напрямик, наперерез Красному Верблюду, который, по обыкновению, скакал метров на двести — триста впереди остальных, он заволновался. И, ковыляя на потяжелевших вдруг ногах, отправился разыскивать своего покровителя и заступника — Басшы. Тот был не меньше Мамая рассержен случившимся и выговаривал за это своему сверстнику. Что же до Улькена, то на сей раз и ему было не до шуток. Он виновато оправдывался — в том смысле, что хотя Горный Козел и кинулся, увлеченный другими семью-восемью конями, наперерез Наркызылу, однако на его месте мог оказаться любой конь, в том числе и какой-нибудь булгыртауский скакун. Тут не было злого умысла, произошла случайность, ошибка... Тем не менее чтобы впредь строго следить за порядком, в дополнение к прежним наблюдателям послали еще двадцать — по десять из обоих районов — конных милиционеров, они заняли места на узких концах эллипса — на крутых поворотах беговой дорожки.

Таким вот бесчестным, наглым маневром догнали Наркызыла, но долго держаться с ним рядом, а тем более опередить не под силу было никому. Распластавшись над землей, гордо вскинув голову, промчался Красный Верблюд перед вопящей, улюлюкающей, исходящей криками толпой. Не быстрота, свойственная скаковым лошадям, отличала вынос его ног, а равномерный, мощный, энергичный взмах. «Жануар мой,— думал Мамай,— измерить бы, сколько метров приходится на каждый твой скачок...» Побывав на областной байге, он и сам уже начинал измерять расстояние в метрах, время — в секундах... На длину одного аркана отстал от Наркызыла Балуан — Силач из Нарынского района. Это был конь с высокой грудью, крупными ребрами, длинным туловищем. Видно, седлу было не так-то просто держаться на нем, оно то и дело съезжало бы назад — спина скакуна была перетянута лишь одним го-

лым потником. Мальчик, сидевший на Балуане, был почти что юноша. Третьим шел Шантимес — Пылинка-Сесть-Не-Успеет. Дальше кони бежали гурьбой, в которой невозможно было различить, кто, где, за кем. Остальные тянулись позади вереницей или сбивались группками. Казалось, мимо пронеслись все участники байги, когда и особенно нетерпеливые взрослые, и непоседливые ребятишки, отделясь от толпы, врассыпную бросились на беговую дорожку, чтобы отсюда без помех наблюдать за удаляющимися скакунами. Но тут послышались крики конных блюстителей порядка: «Назад! Назад!» Милиционеры, нахлестывая своих откормленных, с лоснящейся шерстью лошадей, поднимая их на дыбы, стали расчищать беговую дорожку, чрезмерно любопытные и азартные зрители отступили, попятились назад. Вначале решили, что милиция просто наводит порядок. Но тут же выяснилось, что не все кони проскакали мимо. Кое-кто приотстал. И не кое-кто, а один-единственный конь-бедолага. Увидев его, все дружно расхохотались. Конь?.. Да это и не конь вовсе, а осел! Как это угораздило пускать такого лентяя в байгу? Мало того, что еле-еле плетется, он еще и на вид — до того нескладный, нелепый... От передних, да что там от передних, он и от последних отстал на добрые полкилометра. Не остановиться ли ему, не выйти ли из байги — какой толк такому тихоходу продолжать состязание?.. Так нет же, не остановился! Шабандоз-бала распрямился, оглядел горланящую, насмешливо шумевшую толпу, белозубо улыбнулся — и, снова припав к гриве незадачливого скакуна, ударил его пятками по бокам, стегнул камчой...

Но конь под ним и не думал прибавить ходу, он все так же, как-то чересчур широко раскидывая ноги и вразнобой стуча копытами, пробежал мимо собравшихся. Это был Актабан — Белая Подошва.

Наркызыл держался впереди и на втором, и на третьем круге. Возможно, то была тактика многоопытного Есена, а возможно, ему и не под силу было опередить намного Балуана и Шантимеса, идущих на высокой скорости, во всяком случае, Красный Верблюд удалился от них на такое расстояние, в два аркана, чтобы не слышать топота их подков. Мало того. На повороте Есен, давая передохнуть коню, натянул поводья — и отпустил только тогда, когда к ним стала приближаться мелькавшая вдалеке группа скакунов.

На четвертом круге все, кроме Наркызыла, поменяли места. Балуан спустился на третье. Шантимес вначале вышел на второе, но затем занял четвертое. Актабан, скакавший в одном неизменном ритме, понемногу-понемногу, словно его тянули-потягивали за веревочку, добрался до середины — это он-то, которого прежде и в расчет никто всерьез не брал! Что же до второго места, то на нем закрепился Горный Козел. Теперь ясно, кто победит,— говорили шаганцы. Лица у них зарумянились от возбуждения, кровь забурлила. Глаза торжествующе заблестели. Да, нелегкое дело — высоко держать добрую славу своего аула... У булгыртаусцев заныло в груди. Там, где собралось такое количество быстроногих скакунов, маленькому, с сле-ненка, Шантимесу — Пылинка-Сесть-Не-Успеет трудно вырваться вперед. А Наркызылу — судя по всему — придется уступить место во главе кочевья... Этот Горный Козел, сильный, как дьявол, раньше позволял обогнать себя из-за слишком короткой для него дистанции; наверное, утверждавшие это правы. Но сейчас он, верно, перехватил бы приз у легендарного Дульдуля — чудо-скакуна самого Али, зятя пророка... Пятый круг... Он все решит, все расставит по своим местам!..

Пятый круг оказался неимоверно тяжелым — для всех участников байги, но в особенности для Красного Верблюда. Хотя предстоял еще один — шестой — круг, а пятый был ему не в новинку — привычный, столько раз победно завершенный... Но старый атбеги заметил, что Наркызыл, держась по-прежнему впереди, словно отяжелел в беге, словно что-то мешает ему, затрудняет каждый шаг... Может, кожу над копытом посекли острые камни, а может, кто-то вбил ему в копыто гвоздь?.. Нет, ведь он давеча сам осмотрел его, никакой беды не приметил. Или просто удлинилась беговая дорожка и Есен, приберегая силы, выбрал новую тактику?.. Бог его знает, что думает Есен, а вот что дистанция выросла — это уж точно. Выросла — и нет ей конца. Уже никакого сомнения: Басшы, загоревшись перед байгой азартом, сильно обманулся (или позволил себя обмануть?..), один круг здесь — не семь километров, а по меньшей мере семь с половиной, а то и восемь. Однако... «Однако,— успокаивал себя Мамай,— расстояние-то ведь одинаковое для всех. Решили, что Красный Верблюд не одолеет такую дистанцию, вот и пошли на эту уловку...» Но дело не в семи или восьми километрах, а

в том, видел он, что с Наркызылом творится что-то странное.

Но вот позади остался и пятый круг, который был таким тревожным,— и для старика атбеги, и для трех руководителей, возглавлявших три района, хотя каждого из трех далеко не просто было лишить привычной выдержки, и для всех зрителей-болельщиков, дороживших честью своих аулов. Впереди бежал Красный Верблюд. За ним — Горный Козел. Однако промежуток между ними, пожалуй, сократился и теперь не превышал длины аркана. «Скоро... Скоро он его догонит!..» — гомонили вокруг. Всем было ясно, что для Наркызыла гораздо труднее бежать впереди, как бежал он до сих пор, чем Горному Козлу приналечь и обогнать его напоследок.

И верно, заключительный круг, словно тяжелый груз, налег на Красного Верблюда. Он уже не скакал, как раньше, когда, казалось, ноги несли его сами, когда он словно летел, не трогая земли копытами. Сейчас он бежал, как бежит заурядный скакун, когда байга подошла к третьему или четвертому кругу. Когда Наркызыл пробегал мимо и на миг очутился вблизи Мамая, тот заметил, что конь весь, с головы до ног, покрыт обильным потом. Это ужаснуло Мамая. О тенгри! Кто и когда видел, чтобы Наркызыл так потел! Ведь в уходе за ним не было ни изъяна, ни ошибки. Что случилось?.. Мамая охватило смятение, хотя внешне он хранил непроницаемый вид. В конце концов другие кони тоже не ахти как выглядели,— он это видел. Да и дополнительный шестой круг — мог ли он даться им легко? Скакуны, которые участвовали в стольких байгах, хорошо тренированные, привыкшие не только к ровной, удобной дороге, но и к горным тропам на крутых склонах,— эти скакуны усвоили, что у байги — пять кругов. Пятый круг — завершающий, они это знали... И потому теперь, на шестом, пробегая мимо шумной толпы зрителей, иные из них готовы были остановиться, но поводья и камча указали им путь вперед. Байга продолжалась — вероятно, к их полному недоумению... Начался шестой круг — и кони заметно сдали. Не только им, не только сидящим на них маленьким всадникам,— всем, кто наблюдал за аламан-байгой, казалось, что беговая дорожка неимоверно, до бесконечности удлинилась. Солнце лишь недавно миновало зенит, небо дышало зноем, способным довес-

ти до кипения распаленные мозги. Но хотя скорость на беговой дорожке поубавилась, в душах людей еще яростней бушевали разбуженные соперничеством страсти, а боевой дух прибавлял силы уставшим коням. Когда передние, оставив позади крутой поворот, вышли на прямую длинную дорожку, от ядра средней группы отделился скакун темной масти. Он бежал, обгоняя одного коня за другим. Какая-нибудь минута — он достиг пятого места. И вскоре — четвертого. А после короткой борьбы сделался третьим. Наконец посреди шестого круга, когда до финиша оставалось около четырех километров, на глазах у множества людей, собравшихся из трех районов, он догнал ставшего средоточием сегодняшнего праздника, а также героя немалого числа прежних скачек Горного Козла. Они не долго тягались, «кусая хвост» один другому или держась вровень стремя в стремя. Сначала соперник опередил Горного Козла на шею... Затем на грудь... Потом Горный Козел увидел кончик его хвоста... Соперник продолжал понемногу продвигаться вперед... Вот он уже опередил Горного Козла на длину курука... На длину вожжей... И уходит все дальше, дальше... Это был Актабан, тот самый Актабан — Белая Подошва, который с первого же круга занял прочное место в самом конце байги и потешал зрителей нелепым видом!.. Но теперь... Теперь, понятно, все перешли на сторону Белой Подошвы. «Актабан — это скакун!— говорили о нем.— Актабан — вот кто истинный тулпар!.. Вот кто догонит и обгонит Красного Верблюда!..» Этого желали Актабану не только жители аула Бособа, откуда его привезли,— этого желал Белой Подошве и весь Булгыртауский район. И не только Булгыртауский, но и весь Нарынский. И не только Булгыртауский и Нарынский, но и весь Шаганский. Уж если собственные их кони не пришли первыми, что поделаешь! Только бы не торжествовать Красному Верблюду. Это не по правилам. Это не по справедливости. Так не скачут. Так никто не скакал. Так не положено скакать. Так пускай же его перегонят! Пускай его перегонит Актабан! Пускай... Ведь чем больше становится промежуток между Белой Подошвой и Горным Козлом, тем короче расстояние между Белой Подошвой и Наркызылом... «Теперь уже он, Красный Верблюд, слышит, должно быть, топот копыт позади»,— подумал Мамай. Есен, обернувшись, кинул быстрый

взгляд назад, но не стал подстегивать коня. Припал грудью к его гриве, потянулся всем телом вперед, марлей на головке камчи не спеша, тщательно вытер ему надбровья. А топот все ближе, ближе... У Мамая шумела голова, молоточки неутомимо стучали в висках, в ушах стоял звон. Актабан приблизился к Наркызылу на длину курука. Никогда никакой конь не подступал к нему так близко. Копыта Белой Подошвы били в землю все громче. Мамай теменем чувствовал каждый удар. Еще и еще. Они грозили продолбить череп... Аруах, Аруах!..— колотилось в голове, но слова не складывались, пересохший рот был чужим, язык распух и не слушался. В тот миг, когда Белая Подошва, подавшись вперед, начал настигать Наркызыла, ему показалось, что Красный Верблюд внезапно резко остановился, уперся в землю всеми четырьмя ногами... Показалось, что он удивленно, будто со сна, осмотрелся по сторонам... И затем... Нет, он не то чтобы рванулся стремительно вперед, но два тела, словно начавшие было сливаться в единое, длинное, неразделимое целое — так представлялось издали — вдруг раскололись, будто между ними вбили кол. И когда старые дальнозоркие глаза Мамая увидели, как скачет, высоко вскинув хвост, грудью вперед Красный Верблюд, на морщинистые щеки атбеги брызнули слезы. Выходит, благородное животное не исчерпало до конца свои силы, не пожелало уступить в борьбе — хотя спина разламывается от усталости, колени ослабли, легкие запалились, в груди теснит!.. «Но пускай он даст себя перегнать, пускай проиграет байгу — только бы сам уцелел! Что байга?.. Спор хвастунов... Состязание любителей скоротечной славы... Стоит ли она, эта слава, одного светлого дня жизни на белом свете?.. Если жизнь мила человеку, разве не мила она и животному? Терзать человеческую душу — жестокость, но разве мучить животное — достойно человека?.. Он так устал, мой жануар! Он так измучился, мой благородный!.. О покровитель коней Камбар-ата! О святой Камбар!..» Мамай воссылал небу свои отчаянные мольбы, охваченные неистовым азартом зрители надрывали глотки, а расстояние между двумя идущими впереди скакунами по вершку, по аршину росло и росло. И к моменту, когда кони достигли последнего поворота на беговой дорожке, Красный Верблюд успел удалиться от своего соперника на привычную дистанцию.

Он финишировал первым — весь в поту, из серо-голубого с красным отливом превратившийся в коричневого с темно-багровым оттенком. Рот его был широко раскрыт, хвост победно поднят. Лишь после того, как Наркызыл проскакал мимо растерянно ахнувшей толпы и финишная отметка — каракшы — осталась довольно далеко позади, Есен натянул поводья. Но и тут не дал покоя остановившемуся коню, который дышал жадно, дергая расширенными ноздрями, поводя боками. Обхватив скакуна за шею, мальчик наклонился, снова обтер ему взмокшие от пота надглазья, затем тряхнул поводьями, повернул мордой к веющему из степи ветерку и неторопливым шагом проехал дальше. Есен тоже устал — до того, что не в силах был порадоваться победе — своей и Наркызыла — в самой великой байге в их жизни. Не видел он и старого Мамая, который, не дожидаясь появления других коней, ковыляя, как раненый волк, бежал за ними следом...

Актабан пришел вторым — и тоже в незавидном состоянии. Шабандоз-бала на последнем круге не выдержал напряжения и принялся нахлестывать никогда не входившего в раж, ровно бегущего скакуна. Особенно тяжело достались Белой Подошве те несколько сот метров, когда он оказался с Красным Верблюдом один на один, и гнался за ним, и почти «кусал за хвост», и в конце концов отстал. Но его конская доблесть была перед всеми явлена. Если бы вдруг собрались вместе все состязавшиеся с Наркызылом за столько лет скакуны, уже усопшие и еще во цвете своей мощи, и если бы они, обретя дар речи, посовещались между собой, первенство безусловно осталось бы за Актабаном. Но сейчас... Он стоял неподвижно, в глазах у него мутилось, дыхание спирало в груди. Только с помощью мальчика-наездника, старика атбеги и еще нескольких человек, тянувших его вперед, подпиравших сбоку и толкавших сзади, удалось его столкнуть с места. Была надежда, что Актабан останется живым... Так завершил эту байгу конь, неутомимо скакавший на любых состязаниях, всякий раз приходивший к финишу в первой группе и никогда не получавший первого приза.

Горный Козел... Он оказался третьим. И, миновав каракшы, со скачки перешел на рысцу, странную, как бы подпрыгивающую. Потом резко остановился. С трудом, будто кто-то насильно ее поворачивал, оття-

нул он голову набок, закружился волчком и грохнулся наземь. Тут же, у всех на виду, Горный Козел околел. Никогда не уступавший победы, но сделавший целью жизни стать первым, самым первым, первым среди первых и вложивший в это всю силу, все от рожденья данные способности, верный себе Горный Козел так окончил свой жизненный путь, исполненный радостей, горестей, неутоленных желаний и обманутых надежд...

Четвертым был Шантимес — Пылинка-Сесть-Не-Успеет. Запаленного, не способного больше сделать ни шагу, его увезли, погрузив на машину. Хоть он за восемь лет, прошедших со времени первой байги, не сумел добиться первенства на беговой дорожке — то ли по причине плохого ухода, то ли из-за недостаточной выездки,— но лучшие скакуны постоянно боялись его, чуя сильного соперника. Быстроногий конь не погиб, но это была его последняя байга...

Балуан — Силач пришел пятым. Оказаться пятым среди восьмидесяти скакунов на такой аламан-байге — немалая честь. К тому же на финише он выглядел ничуть не выбившимся из сил, не запалившимся, как другие. Хозяевам было чему радоваться, чем гордиться. Однако Балуан прожил до этой байги долгую трудовую жизнь, двенадцать лет провел он в далекой отаре, верой и правдой служа чабанам, и лишь случайно, на чьем-то семейном тое, на межаульном кокпаре его заметили, разглядели его породу, его как бы нарочно для скачек предназначенную мощь... Поздно. И для него эта байга оказалась последней.

Остальные кони приходили к финишу — кто галопом, кто вскачь, с перерывами, друг за другом. Но многие скакуны остановились где-то на полдороге, многие околели, запалясь, многие уже никогда не вступят в новую байгу, потеряв быстроту...

Мамай не смотрел на других коней, не видел, кто каким пришел, какое место занял, не слышал бурных пересудов... Не в состоянии был он также вникать в то ли верные, то ли ложные слухи, будто Басшы, едва кончилась байга, сел в свою машину и тщательно дважды измерил беговую дорожку, причем выяснилось, что длина одного круга — не семь, а восемь километров и еще столько-то метров, то есть, значит, приученные тренировкой к определенной дистанции кони пробежали вместо нее в такую жарищу не сорок, а все пятьдесят километров. Установив это, Басшы якобы очень

рассердился на своего сверстника, заподозрив, что тот, будучи во всем осведомлен, умышленно выдвинул столь жесткие условия для байги, в то время как Улькен, переживавший гибель Горного Козла, на самом деле ничего не знал про восемь километров, был тут совершенно ни при чем и в свою очередь рассердился на кого-то, кто его так подвел... Мамай не вникал во все эти разговоры и обстоятельства.

Единственное, что он понимал, это что Красный Верблюд вышел из байги охромевшим. Наступая на переднюю правую ногу, он чуть подгибал ее, словно оберегая. Это видел, это понимал старый Мамай. У него все сильнее кружилась голова, тело пронизывал озноб. И в тот момент, когда ему вручали приз, и после, за дастарханом, в большой юрте, где был и Басшы, и другие уважаемые люди, он чувствовал себя как бы погруженным в густой туман. И не выходил из головы прихрамывающий, весь в липком поту, печально смотрящий на него Наркызыл...

В аул Мамая привезли почти в бессознательном состоянии на машине, от ее гула, казалось ему, закладывает уши, от резкого запаха бензина перехватывает дыхание. Красный Верблюд остался на попечении надежных джигитов.

## 5

Старый атбеги, вернувшись домой, уже не поднялся больше — голова его опустилась на подушку смерти.

Наркызыл не выздоровел со временем, как это случается само собой с любым охромевшим на байге конем. Вначале он совсем не мог ступать на больную ногу. Затем болезнь, видимо, сделалась хронической — острая стадия миновала, но передняя правая превратилась в покалеченный на всю жизнь орган, плохо справляющийся со своими обязанностями. Конь шагал, припадая на одну ногу, мелко семеня. А то выгнет шею и пустится, прихрамывая, рысцой. В остальном — здоров по всем статьям, а тут...

Не было обследования, которого не провел бы ветеринарный врач, не было средства, которого не испытали бы старики оташи — знахари, имеющие дело с домашними животными и скотом. Но ничто не помогло Наркызылу. Не было похоже, что у него мокрец. Или воспаление. Или усыхание копыт. Не было у него пере-

лома. Что-то непонятное происходило с ним. Впрочем, непонятное ли? Долгая скачка травмировала ногу. Возник подвывих сустава. Может быть, растянуто сухожилие, стерся хрящ. Или случилось что-нибудь еще.

Будь жив старый Мамай, он легко нашел бы это «что-нибудь». Он связал бы коню три ноги, уложил его на бок и скрупулезно осмотрел — ощупал больную ногу. Сначала, надавливая на лопатку, приподнял бы ее, подвигал, подсунул руку под плоскую ее часть и выяснил, нет ли внутри скрытой опухоли, заполненной гноем полости. И потом не менее тщательно осмотрел бы он копыта, подошвы. И увидел, что гвоздем их не занозило, камнями не сточило. Увидел бы, что и мозоли не наросли. Тогда он перешел бы к колену, сгибал бы и разгибал его, надавливая пальцем. И удостоверился — кость не стерта, гноя нет. Конь абсолютно здоров. Что тогда?.. Тогда...

Тогда вспомнилось бы ему слышанное в давние годы, в молодости. Вся беда — в рогообразном отростке у головки плечевой кости, с внутренней ее стороны... В тот день, накануне байги, а вернее в ту ночь, когда джигиты, которые вызвались постеречь скакуна, ушли со своими девушками, а сам он, утомясь, задремал, кто-то подобрался к Наркызылу и под этот отросток там, где соприкасаются мышцы и рог, воткнул стальную иглу — глубоко, так, чтобы не выпала, не вылезла наружу сама по себе, чтоб не передвинулась в другое место... Игла! От нее — крошечной, обосновавшейся под рогообразным отростком, зависела судьба скакуна. Если бы знать о ней и найти способ избавиться от нее по возможности безболезненно, Красный Верблюд уже через три дня резвился бы и приплясывал на всех четырех ногах...

Но никто так и не распознал, что происходит с Наркызылом. Игла осталась там, куда воткнул ее среди ночи злобный, исполненный черных мыслей человек. И скакун, признанный не пригодным больше для байги, был отпущен в табун.

Это случилось как раз в тот день, когда близкие и дальние родственники и люди, знавшие и уважавшие старого Мамая, собрались на поминальные сороковины.

К этому времени, да будет известно читателю, Кадыржан, защитив кандидатскую диссертацию о породе казахских лошадей, называемой казанатом, перевелся в Алма-Ату, в научный институт. В «Новую эпоху», чей

председатель достиг высокой ученой степени, а хозяйство отстало и задолжало государству по сдаче и мяса, и хлеба,— в «Новую эпоху» пришел из Саркамыса Бекен-Всезнайка.

Он пришел в «Новую эпоху» и не мешкая взялся за дело. Первым долгом увеличил площадь, отведенную под посевы. Плодородные земли, лежавшие без всякой пользы, по обе стороны от реки Баканас, на которых, правда, раньше пасся скот, были вспаханы под зябь. В первый же год здесь уродилась пышная пшеница. Кроме того, прикинул Бекен, колхоз имел верблюдов, которые летом и зимой находились на дальних пастбищах. Заботы от них никакой — сена не заготавливать, налога не платить. Однако и пользы тоже маловато. Между тем один верблюд при сдаче на мясо заменяет сразу десять овец. Погнали и сдали. Два косяка верблюдов вместо двух отар овец.

План по мясу перевыполнили, а предназначенные для сдачи овцы остались в загонах. Дошла очередь и до лошадей. Конечно, не Бекену-Всезнайке надо было объяснять, какая от них польза. И в газетах о том писали, и на собраниях говорили — нужно поднимать пришедшее за последние годы в упадок коневодство. Нужны лошади, нужны! Только вопрос: какие? Ценной породы.

А что делать с теми, которые в хозяйстве? Ясное дело: тоже на мясо. Сто лошадей — вместо ста коров. Когда начали отбирать лошадей для отправки на мясокомбинат, возникли кое-какие сомнения насчет Наркызыла. Бекен уже не злился на него, как некогда во время байги, на которой Красный Верблюд заставил Всезнайку топать ногами от досады и ярости. Злиться не злился, но и любви к нему или почтения особого не испытывал.

Конечно, продолжай конь участвовать в байге, прославляя свое, а с ним вместе и его, Бекена, имя — разговор был бы иной. Но этому больше не бывать...

Как же с ним поступить? Он ведь не самец-производитель, не кобыла. Что ж, оставить его и дальше даром есть сено, пить воду? А кто поручится, что загадочная его болезнь не приведет к тому, что он околеет? Кто поручится, что не задерет его волк?.. Да мало ли...

Вот и оказалось, что существует одно-единственное разумное решение, один-единственный путь.

И его вывели на этот путь. Взвесили на весах и

присоединили к лошадям, которых должны гнать в Семей, куда он ездил дважды и оба раза привозил главный приз. Однако теперь его ждал не ипподром, а мясоконсервный комбинат.

* * *

Лошади, принявшиеся было пастись, опять припустили вперед. Они бежали, растянувшись вереницей, одна за другой. В голове, прихрамывая на одну ногу, бежал серо-голубой конь с красным отливом.

Рожденный на свет с такими достоинствами, которые волей судьбы предписывали ему постоянно быть впереди всех, Наркызыл и в убойный цех обречен был войти первым.

Но в тот момент, когда в его глазах погаснет жизнь, которую он прожил, познав многое из того, что дано познать любому живому существу, а помимо того и то, что дано далеко не каждому,— когда из его прекрасного и могучего тела излетит последнее тепло этого мира, в тот самый момент, а может быть, несколько раньше или несколько позже где-нибудь на широкой равнине за Сартереком, или в Шагане, в Нарыне, или каком-то другом уголке необъятной казахской степи выйдет на старт новая группа скакунов, еще ничем не обративших на себя внимание на беговой дорожке, еще ничем не прославленных, но готовых в будущем пойти по стопам Красного Верблюда, Горного Козла, Волчьего Уха и Белой Подошвы... С прикрепленными к челке перьями филина, с разукрашенными гривами и хвостами, с подтянутыми боками, поджарые, статью напоминающие гепардов,— знают ли они, какой конец уготован им судьбой? Не знают. А если бы знали?.. Мне думается, все равно они стремились бы вперед, только вперед. Поскольку выложиться без остатка, выдать все, что дано тебе природой,— разве это не свойство всех без исключения скакунов, которого они лишаются только вместе с жизнью?..

*1979 г.*



*Оралхан БОКЕЕВ*

## КЕРБУГУ

А-ауууа!

Мощный серый олень Кербугу — так в этих местах зовут вожаков оленьих стад — не пил и не ел сегодня. Ему очень хотелось пить, но стоило только коснуться губами студеной воды родника, льдистых краев его, тонких и узорчатых, словно кружево, как его бросало в дрожь, а ноги слабели так, что, казалось, вот-вот он рухнет прямо на рога.

Тогда он отступал.

Но жажда была сильнее его — она гнала, требовала, жгла его внутренности, и он трижды тихо подходил к роднику и трижды отступал. Он и сам не мог понять, как же так: он хочет пить, вот возле его ног бурлит, кипит и смеется веселый родничок, а он все не может набраться решимости и погрузить в него морду.

Нет, это правда, что он, видно, постарел и ослабел, а это уж такое горе, горше которого ничего и не придумаешь.

Однако через несколько минут он уже думал иначе: нет, нет, это еще не аул его старости, будут, будут еще у серого оленя-вожака дни веселого базара. И совсем не от старости он ослабел. Просто во время брачного гона три дня ему не пришлось сомкнуть глаз, он не давал

отдыха ни ногам, ни рогам — вот и выбился из сил.

Он вспомнил, что и в прошлом году тоже был гон, но тогда он так не выбился из сил, а в позапрошлом году даже с целым стадом самок справился, ни одну из них не обошел. Так что же с ним случилось? Или ранняя осень в этом году была особенно холодна и ветрена, и он просто промерз до костей? Да, но за осенью идет шестимесячная зима, лютый дракон этих мест — не переносил ли он ее всегда, как комариный укус? Правда, нынешняя осень была очень ранней, и солнце сейчас постоянно в тучах, тяжелых и плотных, как льдины во время паводка. Небо стало низкое, серое, с утра до ночи идут дожди. Мелкие, косые, холодные, такие, что, кажется, самую землю они заставят завыть от тоски.

А ветер воет и воет, тоже холодный, пронизывающий, и вместе с ним летят куда-то полосы дождя. Но всего печальнее слышать, как воет лес. Его голос сливается с голосом дождя, ветра, и кажется, это не вой, а песня-плач об утраченных надеждах, и Кербугу — серый олень — испустил протяжный долгий зов:

— Аааа-ууу-аааа!

Голос его уже не был таким, как прежде, но все равно в нем еще чувствовался отзвук былой мощи. Но только отзвук! А раньше эхо разносило его могучие призывы на много километров окрест, и все, что было вокруг,— снежные горы, ущелья, затаившие в себе смерть и ужас,— подхватывало его трубный глас и повторяло стократным эхом. А сейчас его никто не услышал. Просто стоял старый олень над ручьем, взбухшим от дождей, и ревел, не то жалуясь, не то призывая кого-то на помощь. Но никто не откликнулся на его запоздалый призыв. Где же ты, былая быстрота? Где сила и отвага? Ведь ради них он всегда был готов пожертвовать всем. Нет ни одного момента в его жизни, при воспоминании о котором он не вздрагивал бы от восторга. И вот они улетели, и он стар, одинок, и слезы струятся из глаз.

И все-таки олень не сдается. Нет, он еще далеко не стар. Это просто молодые маралы своей егозливостью да суровая осень подточили его силы. А так он еще ничего. Так он вполне держится. Отступив от ручья, он крикнул еще раз, призывая свое стадо, но это был не победный крик самца, могучего Кербугу, а зов отставшего оленя. Ответа не было, и, подождав еще

немного, он стал подниматься в горы. Но и горы, как назло, стали не те — выросли, что ли,— он лезет, лезет, а все нет конца уступам и перевалам. Он еле карабкается по камням. У него перехватывает дыхание, першит в горле. Его что-то давит и не пускает. Он остановился, чтобы передохнуть... голова его была опущена. Да, пожалуй, это если не самый конец, то уже сдача, покорность судьбе. Его гордая голова поникла, грудь, некогда высоко вздымавшаяся, обессилела, и все в нем пусто, немо, как в могиле. Дикое упрямое животное, которое каждый год отдавало рога, но никогда не позволяло хотя бы погладить себя, стало тихим и кротким, а это означало высшую ступень унижения. Удар в бок, полученный им в последней схватке (это был сильный удар), снова дал себя знать, да так, что он чуть не упал.

И подумалось ему тогда, что теперь он только во сне увидит танец юной самки и что никогда не сможет ласково коснуться бока или спины маралихи-матери, гордо проходящей перед ним, что заблудился он в каком-то густом тумане, потонул в омуте быстрой реки, и из этого омута уже более не выплыть. Все это ему подумалось, припомнилось и пронеслось перед ним, и он поднял голову и, содрогаясь от боли и напряжения, каждым мускулом затрубил.

— Аааааа-ууууууу-аааа!

Вчера рано утром, когда Кербугу, как обычно, сбил маралих в стадо и повел их в горы, олени-самцы окружили его, и вид у них был такой, что они умрут, а не отпустят с ним самок. Но недаром Кербугу столько лет был вожаком и каждый год одерживал верх в поединках. Он разогнал маралих и, раздувая ноздри, прокричал «аауууаа». И сразу стадо разделилось. Самки разбежались, а самцы, вздымая рога и взрывая копытами землю, сомкнулись и приготовились к бою. Стали друг против друга и, всхрапывая, косились на Кербугу, каждый надеялся на победу.

Молодой крепкий олень, стоявший против Кербугу, отвел глаза: он дрожал всем телом. Еще бы! Нелегкое это дело — выступать против самого вожака. Но и Кербугу чувствовал себя не лучше. Он и без того знал, что нынешний год для него будет особенно тяжелым, потому и хотел угнать стадо спозаранку. Но молодые олени заступили ему путь. Кербугу взглянул на своего противника: молоденький, с пятнадцатью мягкими

отростками на рогах, а Кербугу перед ним робеет! Что же будет, когда в конце схватки он останется один на один с самым сильнейшим? Противники постояли, поколебались, преодолевая минутную робость, и вдруг изо всех сил рванулись друг на друга.

Трах!

Начался бой!

Один мощный удар следовал за другим. Крепкие, уже начавшие ветвиться рога со свистом разрезали воздух. Казалось, искры сыплются на землю из рогов и голов. Битва шла не на жизнь, а на смерть, за право быть первым. Прекрасные, словно выточенные руками искусного мастера, головы оленей взмывают вверх и остервенело рушатся друг на друга. Видны лишь силуэты, потому что все обволакивает такой густой туман, какой бывает только на Алтае. Но вот, волоча подол, туман пополз в низину, тогда становится видно, что на желто-зеленой поляне остались только Кербугу и его соперник — молодой олень Жасбугу. Остальные, потерпев поражение, словно растворились в тумане.

Поединок! Кербугу знал — таков закон мужества и силы могучего племени оленей. Но он не знал того, что этот закон существует и у разумных сыновей Адама и что они даже более кровавы и жестоки. Ведь люди не могут, как олени, отбушевав раз в году, мирно потом жить бок о бок. До Кербугу никаких сведений об этом не доходило, хотя он иногда и задумывался, почему люди держат диких животных в загонах и питают непонятную страсть к полым оленьим рогам.

Где поединок, там и справедливость! Минутное забытье прошло. Перед старым вожаком, взрывая землю, стоял Жасбугу. Взор у Кербугу затуманился, он с трудом поднял гудящую от тяжелых ударов голову и только тогда понял, что устал по-настоящему. Но Жасбугу все косился на него и все всхрапывал, огромное тело его было напряжено до предела, и он каждую секунду мог ринуться в бой. И в эти считанные секунды он вдруг увидел в Жасбугу не врага, не соперника, а себя самого в дни молодости. И от этого ясного понимания своего конца он закрыл глаза, и в висках у него заломило. Может быть, он в этой позе упал бы, да так и остался на земле, если бы не раздался мощный, призывающий к схватке зов. Моло-

дой олень видел, что вожак ослаб, он мог бы одним сильным ударом в бок расправиться с ним, но был по-оленьи честен. Кербугу почувствовал себя пристыженным. Собрав всю свою гордую волю — наследие диких предков, никогда не подводившее их,— поднял голову и откинул рога. Широко раскрытые влажные глаза его одновременно и уничтожали противника, и молили о пощаде: «Уступи один раз свой черед, у тебя в жизни все впереди. Уступи... Ведь следующей осени у меня, может, и не будет».

Жасбугу попятился назад и с налитыми кровью глазами приготовился к схватке. На мгновение Кербугу показалось: это не олень стоит перед ним, а жестокий бородатый старик с ножовкой, и вот сейчас он начнет пилить его драгоценные рога с восемнадцатью ветвями. И, словно морозным железом, прожгла его обида. Он задрожал от ярости. Вот он, его смертельный враг! Они стоят друг против друга, а в стороне мирно щиплют траву другие маралы, и им безразлично, кто падет, а кто станет вожаком. Кербугу всхрапнул, выбил волосатыми копытами ком земли, отступил. И вдруг молнией метнулся на врага.

Трах!

На секунду он потерял сознание, а когда очнулся, увидел, как, пошатываясь и ковыляя, уходил Жасбугу. Из глаз его брызнули слезы, и он мощно, как в молодости, затрубил:

— Аааааа-ууууу-аааaа-ууууууууууу!

...Кербугу поднял голову, сорвал пожелтевший лист березы и впервые за утро стал жевать. Туман еще не рассеялся. Пробивая его то там, то сям, падали дождинки-сиротинки. В воздухе было очень сыро. И на земле и на небе — всюду текла вода, стоило тронуть березу, как с нее тоже сыпались капли. Чего ни коснешься, всюду слезы. В мертвом лесу ни души, похоже, что на свете остался только один несчастный Кербугу. Не слышно даже его зова. Он один, стада нет.

Да и сил у него не хватило бы для всех этих юных, этих жадных молодых маралих. Потому сразу же, почувствовав его бессилие, они бросились бежать. Это же непорядок, когда старый дряхлеющий олень разгоняет молодых самцов. Но Кербугу поддавал их рогами, и они бежали туда, куда он их направлял. И молодой олень, проигравший сегодняшнюю битву (он еле волочил ноги и вообще походил на пса, проглотившего иголку), не отставал тоже. Кербугу несколько раз оборачивался, угрожающе наклонял рога, и побитый соперник его сразу же шарахался, убегал, чтобы через минуту снова заковылять за стадом. А стоило Кербугу отвернуться, как все молодицы подскакивали к Жасбугу и начинали его обнюхивать. А тот не зевал. Кербугу, сдержавший с таким трудом эту свою, вероятно, последнюю победу, понимал, что ни сил, ни желания на все дальнейшее у него нет. И все-таки, раздувая ноздри, обхаживал пахучую озорную молодицу с иссиня-черной шерстью, от которой так и разило крепкой оленью плотью. А кости у него ломило, и все суставы как бы налились тяжелой желтой жидкостью и нестерпимо ныли. Ведь бой продолжался целый день. Где ты, его сила и ярость? Куда девались те дни, когда он сбивал в кучу десяток маралих и не забывал ни одной из них... И сейчас он тоже наскакивал на молодицу, терся о нее боком, ласкал, прыгал, но в груди его словно лежал черный тяжелый камень, и он ничего не мог, ровно ничего. И замученная молодица, тоже уже лишившаяся покоя, только безмолвно и жалобно обращала прекрасные глаза свои на молодого Жасбугу, который, не рискуя подойти, все время держался поодаль. У молодицы кружилась голова, она вздрагивала всем телом и, вконец ослабев, жалобно и кротко мычала, покорно поглядывая на своего мучителя. Но увы!— Кербугу был бессилен. Ничего, кроме желания выстоять, не оставалось в его некогда могучем теле. И тут Жасбугу не выдержал — его мутило от этой возни, от этой горделивой стариковской немощи, от того, что старик этот не в силах даже как следует тряхнуть рогами. И он, словно молодой барс, прыгнул на старика. А тот вдруг тяжело рухнул на колени подле молодицы. И тогда Жасбугу с ревом и свистом налетел на него («Сдыхаешь, старый пес, а лезешь туда же!») и нанес такой страшный удар в бок, что от него старый вожак, десять лет не знавший поражения, упал

навзничь. И жалко торчали его бессильно шевелящиеся ноги. А молодицы, увидев это, подбежали к победителю, закружились вокруг него, стали лизать его губы. И в следующее мгновение Жасбугу уже гнал все стадо через перевал. Кербугу тоже еще мог вскочить на ноги и догнать стадо. Если не молодица, то любая другая сильная крепкая олениха-матка не отвергла бы его. Но уже все желания погасли в нем. И было непонятно, зачем он рвался в этой бой, что хотел доказать, когда отлично знал, чем все это кончится. Эх, старость, старость, почему ты не видишь себя! День, проведенный на базаре юности, обязательно принесет тебе тысячу дней муки и страдания.

Кербугу долго лежал, собираясь с силами. Поначалу, видимо в горячке, он не ощущал боли. Сейчас все нутро его ныло. Ноги не слушались его, и он едва дотащился до края леса, там, углубившись в чащу, он лег и пролежал, не шелохнувшись, до самого утра. И только когда забрезжил рассвет, медленно подошел к ручью.

Напившись, он стал подниматься на гору. Жухлый березовый лист, проглоченный недавно, очень мешал ему, похоже, он прилип к нёбу, и Кербугу никак не мог освободиться от него. В животе заурчало — перед гоном он не сорвал ни единой травинки. Бока его впали и словно слиплись изнутри. Глухо ныли ростки вновь пробивающихся рогов. Эти рога принесли ему столько боли и несчастья, что он разуверился во всем белом свете. И сейчас он решил отыскать где-нибудь густые заросли кедровника, лечь в них, свернуться и до следующего водопоя или до конца жизни — а до него и осталось не больше вороньего шага — лежать, думать и вспоминать. Но первое, что он услышал, это ликующий голос покалечившего его Жасбугу. Он донесся из-за дальних отрогов белой горы. Ему был знаком этот ликующий рев. Когда-то, раскроив лоб старому вожаку и завладев стадом, он тоже пел эту громогласную песнь победы. Но мир переменчив, и всему на свете бывает конец.

— Аааа-ууууу-аааа!

Возможно, Жасбугу его плоть и кровь, его сын. Только у него рога не из восемнадцати ветвей, а из пятнадцати. И может быть, Кербугу последний из той редкой породы оленей, что имеют рога с восемнадцатью ответвлениями. И еще может случиться, что от этого молодого

глупца, который своим «ауа» оглашает сейчас все предгорья, родится олененок с тринадцатью ветвями, а от того — с одиннадцатью, а потом с десятью и восемью... А в конце концов народится что-то совсем безрогое, комолое и оленем назвать нельзя будет. Все возможно. И Жасбугу должен был уважить раскидистые, восемнадцатиостые рога старика, потому что у самого никогда таких не будет. Но вот не уважил, а вступил в бой и отобрал стадо. А у бесстыжих маралих какой разум? Кто сильней, тот их властелин, за тем они и следуют покорно. У маралих ни ума нет, ни рогов, недаром они комолые.

В свое время важенка[1] родила малыша Кербугу в густом караганнике. В полном уединении — сюда ни люди, ни звери не заходили — она дождалась, пока он не встал на ноги, и только тогда привела его в стадо. С тех пор чего он только не перевидел: и доброго и худого, чему только ни радовался, о чем только ни печалился. Но до сих пор он не в силах забыть свое первое страдание.

Олени тогда мирно паслись на склонах холма и в ложбинах, но вдруг раздались крики и улюлюканье — из-за кустов выскочили всадники с куруками в руках. Кербугу, ошарашенный, стоял, не зная, что происходит. И вдруг он увидел, как на вороной со звездочкой на лбу лошади прямо на него мчится бородач. И не успел он даже опомниться, как на его рога набросили аркан. Он видел, как олени ринулись в низину, и рванулся вслед за ними. Но люди на быстроногих конях, покрикивая и тесня со всех сторон, загнали его сначала в большую ограду, потом в другую, поменьше. И так он переходил от загона к загону, который все уменьшался и уменьшался, пока не заскочил в маленькую калитку, и она за ним тут же захлопнулась. Кто-то, тыча его длинной палкой, погнал вдоль частокола, потом заставил вскочить на деревянный помост и отгородил поперечным заслоном. Кербугу стоял и испуганно перебирал ногами. Как и для чего он оказался в этом маленьком помещении, он не понимал. Хотел спастись, а попал в ловушку. И вдруг что-то словно клещами стиснуло его виски, и резко оборвалось, ухнуло сердце, помост провалился куда-то в подземелье. Клещи давили все сильнее, небо упало на землю, лес и горы повисли вниз вершинами, человек вверх ногами, вся вселенная пере-

[1] Важенка — самка оленя.

вернулась в повлажневших глазах оленя. А человек, хозяин этой вселенной, ходил вокруг, держа наготове пилку-ножовку, и в его ненасытных, алчных глазах олень увидел свое отражение. Кривые зубья пилы вгрызались в мохнатые основания рогов, и тут Кербугу показалось, что целый миллион муравьев набросился на его обнаженные мозги и пожирает их, и ох как заныли тогда его ровные белые, как жемчуг, зубы. Огромные, испуганные, молящие глаза его налились кровью и чуть не вылезли из орбит. Вот так впервые олень, гордый, вольный, носившийся с холма на холм, из низины в низину наперегонки с ветром, постиг горькое и сладкое начало жизни и вкусил ее.

Его высвободили из тисков, он выскочил прочь, прыгнул, хотел тряхнуть рогами, но комолая голова словно опустела и рассохлась, как пустой бочонок. И тогда ярость, будто из вулкана, забила в нем. Кербугу дним махом перепрыгнул через вороного со звездочкой коня — он стоял у коновязи — и помчался как вихрь. Куда глаза глядят. Подальше от людей. Он бежал не переводя дыхания, не останавливаясь и готов был так бежать, пока хватит сил, но перед ним вырос заплот — забор из нарезанных жердей. Кербугу побежал вдоль него в надежде скорее добежать до конца, но забор не кончался. И когда он, обежав все горы и низины, воротился на прежнее место, он понял, что они, олени, живут в загоне. В пространстве, окруженном кольями. Летом загон просторен, они в нем ходят к водопою, пасутся, а когда приходит зима, их сгоняют в загон потеснее. Зимой из незамерзающего ручья они пьют воду, а едят чуть припахивающий силос. Летом же их загоняют в узкий коридор. Настоящей воли для оленей, видно, не было и не будет...

Так и лежал Кербугу под густыми зарослями самырсына[1] и вспоминал о том, как он тосковал по воле, когда у него впервые срезали рога. Сколько с тех пор прошло зим, сколько весен пролетело, столько раз он лишался рогов... Эх, за всю жизнь ни разу не было случая, чтобы он сам, как наступил срок, сбросил свои рога в восемнадцать ветвей. Да, восемнадцать ветвей — это и счастье, дарованное природой Кербугу, и горькое горе его... Недаром люди накидывались на него, словно вороны на кровь, и ставили его в станок раньше всех.

[1] Самырсын — кедровник.

Он долго лежал, дрожа как забитый пес. Никто не пришел к нему. Куда-то исчезли даже люди, обычно в разгар сезона налетавшие, как пчелы, не подошла и ни одна из тех маралих, что во время гона осаждали его и не давали прохода. А куда девались те друзья олени, что ранней весной пускали его первым разбивать лед и послушно следовали за ним. Все ушли, все покинули старого оленя. А ведь самое страшное и горькое — это знать, что умираешь всеми забытый, одинокий и ненужный. И он опять вспомнил, что, когда он был в расцвете сил и могущества, маралы не давали даже птице задеть его крылом. Он был всегда в центре. И в дни гололеда и при любой опасности маралы не давали ему быть ни впереди, ни сзади, только в середине стада — так безопаснее! Лучшие травы, самая чистая, прозрачная вода — все предназначалось ему. И вот он, их бывший вожак, лежит униженный и обессиленный. И никто не подойдет к нему. Уныние и отчаяние снова овладели Кербугу.

Хоть бы глоток воды! Тяжелый, свинцовый туман рассеялся, и наконец сквозь деревья проглянуло солнышко. Оно словно бы ласково спрашивало Кербугу: как, мол, себя чувствуешь? В низине с грохотом неслась по камням горная речка. Только природа-мать не забыла его. Кербугу поднялся из-под зарослей самырсына, подставил отяжелевший лоб лучам солнца и натужно и хрипло, даже самому страшно стало, коротко крикнул:

— Аааа-ууу-ааа!

Вместе с ним самим угасал и его голос. Он взглянул на снежные вершины невысокой горы, белевшие сквозь дымку.

В детские годы, когда он был маленьким олененком, эта вершина казалась невозможно высокой, а когда он повзрослел, она вроде бы стала ниже, а вот теперь опять высоко упирается в небеса и вновь недосягаема. Эта белоснежная вершина казалась Кербугу волшебной мечтой. Он тосковал по ней, глядел на нее с надеждой и верил, что однажды его копыта коснутся ее чистой белизны. В трудные минуты жизни стоило ему только прикрыть глаза, как сквозь глубокую дымку выступала всей своей громадой белая гора, его мечта — Акшокы[1] — манила его и звала трубными

[1] Акшокы — буквально: Белуха.

звуками «ауууа». Он не знал, что далекие предки его раньше обитали у подножия этого хребта Акшокы. Свободные стада оленей не знали курука, выбирали самые тучные и самые зеленые луга с ароматными травами, ходили на водопой к самым чистым и вкусным родникам. Они не спеша переходили от холма к холму, от одной лощины к другой и засыпали, укутавшись в бархатные летние ночи, там, где заставала усталость. А в иные ночи, когда с небес лила яхонтовый свет полная луна, тысячные стада, пасущиеся там и сям, казались беспечными полчищами таинственного воинства. Позже олени лишились родных мест, и их уже никак не радовали чужие травы и воды, и с тех пор оленье племя год от году стало постепенно вымирать...

Полежав и отдохнув, Кербугу встал и медленно направился к ограде. Деревянная лестница, набухшая от дождя и воды, как всегда, бледно серела вдали. Так было в прошлом году, было нынче и будет всегда... всегда... Кербугу робко протянул морду и почесался о лесенку. До ноздрей его донесся кисловатый запах мертвечины. Кербугу всхрапнул и покачал головой. Потом отступил на шаг. Он еще раз взглянул на Акшокы, и опять она, словно белая чайка его мечты, белела сквозь голубую дымку. С вершины тянуло легким ветерком. Он был свежим и теплым, как парное молоко, и так же, как молоко это, вливал новые силы и бодрость. И всем тем, кто был долго тут и дышал воздухом вершин, казалось, что они слышали трубный олений глас, это мощное «ауууа», древний боевой призыв силы и дерзания. Вольная, беспечная жизнь! Только здесь, около белых гор, и была она возможна. Но белые горы заграждала мертвенно-неподвижная, скверно пахнущая, состоящая из кольев, но все равно непоколебимая ограда эта. Не было бы ее, и Кербугу тут не было бы. Он давно бы умчался к белой горе, сунул бы морду в снег, жевал бы его, хрустел, пока не охладил пылающее нутро свое, свое могучее сердце, сожженное горем и жалостью к себе. Так он стоял за проклятой оградой, глядел на белую гору столь долго и пристально, что гора начала колебаться и расплываться, как марево. Кербугу набрал воздуха, чтобы испустить такой крик, такой неистовый рев, от которого бы снега поползли с вершины, а его иссохшая, словно бочка, грудь разорвалась бы на части. Это был пре-

рывистый, надсадный и, если уж говорить честно, жалкий крик: «Аааауууууааауууууааа!»

Но серые слепые скалы даже не удостоили старого оленя своим ответом: как стояли, так и остались стоять, и никто не откликнулся.

А солнце пекло все сильнее и сильнее, и роса, блестевшая на синих листьях, как бусинки, опадала и исчезала. Но земля была ненасытна и жадно впитывала каждую каплю.

Раньше здесь пели птицы, а сейчас никого из них тут не было, и только из далекой вышины слышался их крик:

— Прощайте, прощайте, прощайте!

Откуда-то очень далеко, из ложбины, послышался брачный крик молодого оленя, вдруг прозвучал выстрел, и он умолк.

Да, вот так все и происходит — молодые сходятся, старые уходят, слабых убивают, а жизнь все равно продолжается.

Где-то близко сел вертолет: человеку все чего-то не хватает, и вот он залез уже на небо.

Ни во что уже Кербугу не верил, ничего не ждал, во всем разочаровался.

И тут к нему пришли великое бесстрашие и решимость. Ему надо покинуть эту проклятую ограду и вырваться на свободу. Его тело было разбито и расшатано, у него ломило грудь и схватывало сердце, но он напрягся и зарядил надеждой каждый свой мускул. Этот подвиг мог быть только последним. Сейчас он освободился от всего, что тяготело над ним,— от человека, от его хватких рук, от бесстыдной молодой оленихи, от унижения перед молодыми соперниками, от старости и, наконец, от изгороди.

Глаза у него горели, изо всей силы он рванулся головой вперед — вот она, свобода! Несколько секунд стоял неподвижно, не понимая, что произошло, а потом, поняв, что ограда позади, что здесь он на вольной земле, что никто ему больше не хозяин, помчался к белой горе.

Он бежал и боялся оглянуться, он не мог видеть эту проклятую ограду! И вот она, мечта его, белая гора! Перед ней стоял какой-то столб, он обнюхал его, потерся носом, потом боком, оглянулся и, содрогаясь всем телом, вдруг затрубил:

— Аааа-ууууу-аааааа-ууууууу-аааа!

И снова в этот миг он был молодым и сильным, и не было в стаде оленя сильнее его. И, наверное, понимая это, все скалы повторили трубный звук, и долго он перекатывался по горам, потому что вся жизнь его закончилась этим «аауууа».

Да, так оно, вероятно, и было. Он стоял, он смотрел: молодой, сильный, готовый на любой подвиг, и в это время две пули впились в его рога, в те две горящие пульсирующие точки боли, которые остались от рогов. И старый олень Кербугу, вожак, не знавший до этого поражений, рухнул на землю.

Он даже ногой не шевельнул, он был мертв, и все.

Непонятно, как это случилось, но выстрелили с разных сторон, и, наверное, сразу же испугались друг друга, поэтому никто не приблизился к мертвому оленю. Так он и остался лежать под белым столбиком, на ничейной поляне, могучий и не знавший поражений до этого дня вожак Кербугу.

Никто к нему не подошел, никто не взял на себя этот выстрел на вольной земле в вольного оленя. А между тем из загона, над деревянными жердями, гремел ликующий трубный глас, и все покорное стадо, все молодые самцы и самки сбегались на него.

Это торжествовал свою победу новый вожак. Жасбугу.

Вот и все. Но не все примирились со смертью Кербугу, молодые и пылкие уверены, что он гуляет по склонам белой горы, и порой даже как будто можно услышать его трубный глас «аауа». Он свободен. Но другие, постарше, знают свое — олени могут быть свободны только на том свете.

*1972 г.*

# БУРА

*Одинокому верблюжонку,*
*оставшемуся на привязи*

Бура с ревом промчался через аул Казакбай. И проклятие было в его крике.

## 1

Когда человек ждет утра как избавления, то круглыми становятся его глаза в ночи. Печаль склоняется над ним, отгоняя пугливые сны. Так же тоскует и любое живое существо, если лишить его друзей, с которыми проводили дни в веселых играх и беззлобных ссорах. Бура не жалел о прошлом, скользнувшем как солнечный луч. Но часто, причиняя себе сладкую боль, брел он по мягким барханам былого, и Сахара была для него явью. Ветер ласкал нежную шерсть на его стройной шее, когда он шел и шел за своим миражем, за надеждой, которая всегда умирает в душе последней. Даже внимательный взгляд увидел бы только спокойного, величавого гиганта, мерно жующего жвачку и равнодушно озирающего поднебесную. Бура был слишком горд, чтобы дать прорваться чувствам. Он молча шагает, ведет за собой караван дней-теней, и боль его непонятна и невысказана. Хоть и говорят люди: «плаксив как двугорбый», но сухи его большие глаза, и только закатные блики проплывают в них. Все потерял Бура, но никто не слышал от него стона. С тех пор как тростник выпустил султаны и к солнцу пробилась трава, обходит он аул стороной. Неужели забыл он жилье, где был окружен заботой и лаской? Нет. Нет для Буры места родней и прекрасней, теплей и ближе. Но он покинул его. Он бы остался, если бы мог забыть влажные глаза верблюдицы, матери своей, которую при нем зарезали на мясо. Он бы остался, но дружное созвездие его братьев распалось вдруг на осколки, и каждый ранит сердце. Его маленькое теплое племя было угнано в чужой аул за Бухтарму.

Разогнали без жалости в разные концы, разорвали нежные нити, связывающие их, отвергли как прокаженных, безвинных перед богом и людьми. В сердце впилась рогатина, направленная жесткой рукой, страшная, как раздвоенный язык змеи. В чем их вина?..

И зверь умеет тосковать. Шесть месяцев не вспоминал свой аул Бура. Но как только зелень пробилась к солнцу, неудержимо потянуло его к горам. Алтай богат и прекрасен. Сорок племен и народов считают его своей родиной. Всем здесь хватает места. Снежные пики дают приют проплывающим облакам. Долины тихи и зелены.

С гор постоянно свистит надоедливый ветер, колыша густой серебристый ковыль, и он становится тогда похожим на разгневанное море под яростными порывами бури. Безлюдная и невеселая, расстилается эта равнина до самых гор. Только весной оживает она, когда народ откочевывает в горы и все вокруг полнится смехом, криками, песнями. Изредка приподнимают тяжелые головы холмы и курганы, а так до самых гор тянется однообразная степь. Кое-где виднеются развалины брошенных домов или старых мавзолеев. Выбеленные солнцем проплешины похожи на солончаки. Невеселое место. Но что с того? Живописно ли, мрачно ли — нет родней этих мест для Буры. Шагает вперед Бура, и холм течет под его ногами.

Не впервой идти ему этой трудной, извилистой дорогой на джайляу. Но впервые он так одинок. В прежние годы был легок и весел этот путь. Едва покрывалась зеленью степь, люди собирали пожитки и трогались в путь. Шли и они все вместе. Самую тяжелую поклажу несли сильные и опытные верблюды и лошади. Жеребята и верблюжата резвились налегке, не отставая от кочевья, и никто их не подгонял. Когда же осень запахивала свой золотой халат и желтели покорно травы, люди спускались в долины, цепочкой тянулся караван по старой тропе, словно большая тень журавлиной стаи, спешащей в жаркие страны. Все были веселы и здоровы. Даже у рабочих верблюдов, не знавших покоя, туго торчали горбы. Это были счастливые времена.

У самого перевала Бура остановился. Здесь, перед трудным подъемом, обычно кормила его мать теплым молоком. Может, вспомнилось ему то далекое милое время. Может, просто устал от долгого однообразного пути. Ноздри его были порваны веревочной петлей. Бура нехотя принюхивался к травам, и есть ему не хотелось. Он вытянул длинную шею и долго смотрел на перевал. Потом медленно повернул голову и оглянулся. Справа, под горой Таспокы, была старая зимовка.

Здесь спасается от морозов отара, и, едва сойдет снег, ее гонят за перевал. К кошаре и направился Бура. Неприглядным было это место. Сломанные полозья саней, битые бутылки, голенище старого сапога, кучи овечьего помета и грязное птичье перо. Запах болотной гнили отравлял воздух. Медленно ступая, Бура подошел к деревянной кормушке, потрескавшейся от солнца, ветра и времени. В одном конце собралась ржавая вода, скопившаяся после недавних ливней, в другом спеклась крупная грязная соль. Бура уронил голову и жадно лизнул соль. Но, видать, еще раньше здесь разлили мазут, и верблюд поднял голову, зафыркал недовольно. Потом он двинулся к пустой кошаре. Крупные желтые мухи облепили густо влажный навоз и шумно взлетели под чавкающими шагами Буры. Двор уже зарос чертополохом. Кое-где были разбросаны жесткие стебли сухих трав, оставшихся от овечьего корма. Бура вытянул шею и похрустел стеблями, хотя было довольно свежей травы кругом. Потом он почесался о деревянный угол, с наслаждением раздирая свой облезлый бок, и двинулся дальше к перевалу.

Издали он походил на большого жука. Не огромным верблюдом он был, а песчинкой в этом безлюдном царстве, единственной живой душой во всей поднебесной. И нес он непривычно тяжелый груз — всю тяжесть веков безмолвия и одиночества. Время обогнало его неторопкий шаг. Отставший от эпохи, он медленно брел один, и не было в его глазах жизни. Не знал Бура, что он еще нужен людям и что нынешнее его одиночество порождено недоразумением. Вдаль его вели обида и боль. А боль слепа. Шел Бура, большой среди людей и маленький среди гор. Но что говорить о верблюде, когда и человек покидает в обиде родные места, обрекая себя на тоску, вечную и глубокую.

Солнце клонилось к закату, когда Бура вышел на перевал. Отсюда виден уже край летнего джайляу, знакомого Буре. Дальше тянутся холмы, поросшие густыми рощами.

Ближе к знакомым местам бодрее пошел Бура. По дороге напился из непокорного горного ручья Кайракты, кипящего холодным гневом, пожевал немного травы на берегу, она пахла мятой и была горькой, как далекое воспоминание. Он не стал задерживаться здесь. Бура увидел круглую выжженную полянку — на этом месте стояла юрта. Он долго вдыхал знакомые запахи

и не мог уйти, не вспомнив что-то очень важное. Его не могло отвлечь ни красное от усталости солнце, возвращающееся в свой золотой дворец, ни дружный концерт лягушек, одетых в изумрудного бархата камзолы, ни крики горных теке. Он искал мучительно и настойчиво. На высохшем от солнца и ветра столбе сидели злобно-мудрые вороны. «Поганые птицы!» — презрительно выпятилась верблюжья губа, и Бура стал чесаться об этот столб. Вороны тяжело взлетели. И тут словно вспомнил что-то черный Бура. Повернув голову, посмотрел он на место юрты. Снова закурился дымок над тем очагом. На выжженном кругу встала шестикрылая большая юрта. Пятнадцать прекрасных скакунов рыли копытами землю невдалеке. Чуть в стороне блеют пушистые ягнята и маленький пастушонок грызет кислый курт. Из юрты вышел верблюжатник Абиш с посохом в руке. Все были тут, только своих верблюдов не видел Бура. Не было их в этом колхозном ауле. Показалось ему, что жалобно плачет в тугаях только что рожденный белолобый верблюжонок. Ноздри Буры раздулись от жалости, и он громко всхлипнул. Пропала белая юрта, исчезли горячие кони, и стих плач верблюжонка. С гор тянуло прохладой. Северный ветер примчался оттуда, и тюльпаны запоздало заклaнялись ему вслед.

Но и старая стоянка не удержала Буру. Он двинулся дальше в горы. Каждое деревце, каждый камень здесь знакомы ему. Теплая дрожь прошла под шкурой. И новое желание охватило Буру. Весело и шумно бывало на прежних кочевках, но ни разу еще не приходилось ему бывать на вершине горы. Что ему было делать там прежде, на голой вершине, когда его окружали друзья и на склонах полно было сахарной травы. Но куда ни толкает отчаяние одиночества — не только Буру, но и человека! Уже заплетались ноги от усталости и клонилась к земле отяжелевшая голова, но он поднялся на гору. И людское селение теперь лежало под его ногами, а Бухтарма вилась серебряной лентой. В дымке, в тумане лежит его родной аул. Давно не видел его Бура. Он показался верблюду маленьким и грустным. Он не замечал этого, когда жил там. А может, он только серость и невзрачность замечает. Обида бельмом в глазу. Бура внимательно осмотрел все вокруг: овраги, вершины, леса. Вытянув шею, посмотрел он на все четыре стороны. Создатель! Как же он

раньше не видел? Вьется по горе Улыстау дорога, избитая кочевьями. Где берет она начало и куда приводит в конце? Чья это дорога? Кто по ней ходил? Тянется безлюдный след через лысую гору, вьется веревкой, змеей скользит. Проходят годы, а тропа не зарастает. И непохожа она на другие пути, по которым хаживал Бура. Нет, не ходил он никогда этой тропой, да и братьям его разлученным не приходилось шагать по ней. Его предки проложили этот путь. Тяжелые и косматые, еще более дикие, чем он сам, выносливые и терпеливые, вытоптали они эту тропу, оросили потом, и не растет здесь трава с тех пор. Уже в те времена шли они в разные концы земли, покорные воле человека, своего господина. Несли грузы, тюки с товарами, слезы, надежды и радости людские на безобразных горбах. Случалось им видеть кровь. И раненых хозяев уносить на себе от смерти тоже приходилось, не оставляя несчастных в руках врага. Странные существа, рабы аллаха, убивающие друг друга! А молоко верблюдиц не раз спасало от голода их самих, и безволосых их детенышей. Жизнь текла с сосков аруан.

«Дальняя, долгая дорога! Мы прошли, ты осталась нам памятью. Тебя проторили верблюды. Пусть это не будет тебе в укор...»

Тревожное чувство охватило Буру. Глаза его загорелись злобой. Захотелось ему от отчаяния удариться о землю. «Будь на мне груз всего аула, и то я не посчитал бы его за тяжесть, шел бы и шел в какую угодно даль по этой тропе и не знал бы усталости. Зачем я один!» — хотел крикнуть Бура, но не смог.

...Нежное детство его началось с ласки и радости. Когда он лежал, еще мокрый весь и беспомощный, забрали его от матери и внесли в юрту, за красный батистовый полог. Десять дней держали его там, скрывая от посторонних глаз. Рябая жена верблюжатника Абиша не отходила от верблюжонка ни на шаг. Когда он стал подниматься на непослушные, дрожащие ножки и черные большие глаза его туманил страх, жена Абиша поила его растопленным курдючным салом жирных овец, и добрым было ее рябое лицо. Когда его впервые выпустили на волю, на залитую солнцем поляну перед юртой, он зашатался на слабых ногах, голова пошла кругом от восторга, и пытался он бежать к сахарным горам, да только шатался. Он не забудет того полного детского счастья, когда ласкали его натру-

женные руки Абиша и теплые ладони его рябой старухи. О жизнь!

Маленький Бура, едва вставший на ноги, потерял мать. Ее нагрузили солью и увели куда-то. Горькой была та соль и для верблюдицы и для него, несмышленыша. В поисках своей белой матери забрел он в березовый лес. Все вокруг заливала луна, и свет ее был чем-то похож на молоко верблюдицы. Черные тени тяжело и бесшумно скользили над деревьями. Хлопали крыльями потревоженные птицы. И охваченный ужасом верблюжонок уже и плакать больше не мог. Ему просто хотелось спрятаться, ничего не видеть. Но вдруг пропал его страх, он почувствовал себя частью этой загадочной природы, и его больше не пугали ни беспокойные птицы, ни резвые зайцы. Все стало похожим на старый сон, виденный когда-то, столетия назад, и сам он был частью этого сна. Вдруг свистнуло что-то в ночи и змеей захлестнуло его длинную шею. Волосяной аркан! Страшная сила дернула его, и стало больно в горле. Что было дальше, верблюжонок не понимал. Он подчинился этой грубой силе. Да и как ему было не послушаться? Понял только, что полонили его чужие люди, у которых не было запаха Абиша. Когда же пришел в себя, то почувствовал, что нежно ласкают знакомые руки его шею там, где причинили боль железные руки чужих. Он открыл глаза и увидел Абиша. Теперь он был спокоен. Снова услышал знакомый голос хозяина: «Верблюжонок мой, глупыш... Как могли решиться тебя зарезать?.. Да разве мяса твоего могло хватить на зиму этим волкам? Съесть мясо такого мальца равносильно убийству. Жестокие люди!»

Слезы Буры скатывались горошинами в вековую пыль кочевой тропы.

Звуки доносятся издалека, наполняя жизнью эти безмолвные горы, мертвые камни. Едва слышные, прилетают они сюда, как дыхание спящего ребенка. Это не крики табунщика, не голос объездчика, не вопли ночных птиц. Кажется, тихая песня тоскует где-то вдали. Эти грустные звуки плывут по горам, навевая на них удивительные сны. Дремлет перевал Тасшокы. Ни слабого ветерка. Покой. Затихли громкокрылые утки, умолкли веселые кузнечики, только печальные звуки растут непрерывно, трогая сердце грустной мелодией.

Красивая песня полна сожаления, мольбы, ожидания. Горы, казалось, почернели от жалости. Загадоч-

ный лес тоже молчит, тоже слушает. От этой песни болит сердце. Но песня ли это? Звуки непохожи на обычный верблюжий плач, это другое, непонятное, никогда не слыханное, непохожее ни на одну песню. Крик ли тоскующего сердца, мольба и отчаяние? Не-ет, нет! Может, это обида мечется над горами, такая обида, что даже здесь ей тесно и душно? Не-е-ет. Или это поминальные заплачки? Нет! Это горечь неизлечимой, запрятанной тоски. Это ужас перед туманным, угрюмым рассветом, не сулящим добра. Да, эти стенания невозможно повторить. Непохожа мелодия плача, ворвавшегося в ночь, ни на «Елимай», ни на «Корлан» и «Жанботу», ни даже на легкие «Менды кыз» и «Аймажан». Наливаются горы чернотой. Опускается ночь. Бура, плача, не уходил с тропы, а тьма становилась все гуще.

## 2

Исчезновение черного Буры не внесло особых изменений в жизнь аула Казакпай. А Буры уже не было год. В прошлые времена, когда кочевали они вдоль Кызылкаина, этого не могло случиться. Тогда все садились на коней и искали и находили, даже если пропадал не верблюд, а пуговица. С тех пор разросся аул, выросло много новых домов, стало крупным хозяйством, и люди реже стали навещать друг друга, и только горе и праздники собирали их вместе. Пропажа черного Буры не оставила спокойным только Абиша. Всю жизнь он ходил за верблюдами, и, может, поэтому был ему особенно дорог последний, Бура. Когда пропал верблюд, то крепко ругал в сердцах руководство колхоза старый Абиш. Он даже на работу перестал ходить. Думал он, что позовет его бригадир на работу, но никто даже близко к двери не подходил. Напрасно ждал и надеялся Абиш. И было ему горько. И гордый, упрямый старик выдумал себе болезнь, ломоту в пояснице и подолгу лежал не вставая. Не привык он ходить на поклон. Иногда заглядывал внук.

— Ата,— говорил он.— Бура наш бродит у подножия Тасшокы. Видели его в Теркуысе.

Приносил внук деду слухи о Буре, пытаясь утешить старика. Думал Абиш сам отправиться на поиски, да не было под ним коня. Идти же просить завотделением он не мог себя заставить.

— Буру разорвали волки!— ворвался как-то внук.

Старик вскочил с лежанки. Лицо его исказилось от гнева.

— Не болтай ерунды!— взревел он.— Запомни, щенок, мы с Бурой никогда не станем пищей для волков и врагов!

## 3

А Бура в это время перешел в пески Нарына. Наступили холодные дни. Небольшая поземка перешла в буран, и ярость его не утихает уже несколько дней. Под порывами ветра покорно трепещут заросли чия, ломаются с хрустом под тяжелыми ступнями озябшего Буры. Долго он не хотел поддаваться холоду, но буран хлестнул его зло по впалым бокам, круша кости. Бродил Бура вдоль железной дороги — здесь гуще рос чий, больше было корма.

Несколько лет назад, когда в этих местах нашли руду, Бура был совсем еще несмышленышем. Началось строительство дороги. Не посмотрели тогда на его возраст, приказали Абишу приучать его к поклаже. Был Бура не таким строптивым, как его брат Акпас, и быстро постиг нехитрое искусство. Таскал шпалы, песок, камни и тяжелые рельсы. Это было время, когда не осталось в ауле Казакпай даже малого верблюжонка. Все животные были угнаны на строительство. Все верблюжье племя испытало тяжесть труда на этой дороге, что тянется далеко на восток. После этого верблюдам уже не приходилось выполнять такую тяжелую работу. Эта была последней.

Черный Бура был с детства спокойным и послушным, не то что бура Акпас. Самое крайнее, что он выделывал в пору свадеб,— это обильно плевался. Правда, разъярившись, иногда гонялся за окружающими. А бура Акпас однажды в феврале особенно сильно взбесился. Носился, громко гудя, роняя пену крупными хлопьями, оскалив пасть. Проезжал мимо совхозный зоотехник, ничего не подозревая, и взбешенный Акпас вдруг погнался за ним. Хорошо, что быстрый конь был под всадником. Сначала расстояние между ними не сокращалось, но ослепленный яростью Акпас все же стал нагонять коня. Испуганный конь в несколько прыжков пронесся по льду реки Карасу, бывшей на их пути. Тогда Акпас, упав на бегу на передние коле-

ни, широко раздвинул задние ноги и, скользя, пролетел через реку. Словно догадался, что не удержится на ногах; зоотехник, не ожидавший этого от верблюда, пришел в ужас. Гоня скакуна изо всех сил, он устремился к лесу. Ему бы удалось убежать. Зоотехник понял это. Он ударил коня плетью и, проезжая под высоким деревом, уцепился за сук и кошкой взлетел чуть не на вершину. Акпас долго терся о ствол этого дерева, силясь свалить его вместе с человеком. Потом, задрав голову, посмотрел вверх. Роняя пену, забил ногами по земле, взрывая ее, и улегся под деревом, готовый ждать своего врага хоть вечность. Челюсти его равномерно двигались, собирая зловонную слюну, перемалывая жвачку.

Абиш в то время был болен и лежал в районной больнице. Никто, кроме него, не мог увести буру. Надо было спасать зоотехника, и буру Акпаса застрелили.

Черный Бура не был похож на брата. Но сейчас что-то случилось с ним. Две недели ничего он не ел, покорный зову природы. Глаза у него налились кровью, ослепляющей, страшной во время свадеб. Может, сказалось его долгое одиночество? Но он бродил, беспокойный и встревоженный, разбрызгивая пену, скрежеща зубами. Не находя себе места, метался Бура с ревом, похожим на короткое гудение. Безлюдная степь слышала его отчаянное: «Бу! Бу!» Если бы кто попался, то Бура растоптал бы его, раздавил, уничтожил. Но никого нет в голой степи, кроме него самого. Ни мышка даже не пробежит, ни птица не бросит тень на равнину.

Теперь Бура был похож на злого своего брата Акпаса. Но тот бесился от безделья, а этого, видно, проняло одиночество. Глаза его ввалились от голода, не остриженная вовремя шерсть свалялась, перемешалась при линьке с новой, висела клочьями на брюхе. На теле его виднелись проплешины, горбы отощали, свалились набок, не торчали, как прежде.

Не по себе было Буре. Все чаще и чаще раздавалось его «Бу! Бу!». Казалось, только занялся рассвет куцего зимнего дня, глядь, уже и к вечеру клонится время. Неподвижная, мертвая степь, безжизненная равнина. Всю ночь вывшая волчицей метель унялась наконец. А Бура все ищет какое-нибудь живое существо. Подолгу всматривается он в даль, обманчивую и безнадежную. До боли в глазах всматривается. Хотел он зареветь от отчаяния, но рот его был полон горькой слюны.

Хотелось заплакать, ему, да не было слез. Хотел умереть, да что-то не торопилась смерть. Что делать? Куда идти? В аул? Не приведи господь! Его там пристрелят, как Акпаса. А такой смерти он не заслужил. «Бу-бу-бу-бу!»

— У-у-у-у!— пронзительно откликнулся паровоз. Встрепенулся Бура. Он не знал, что идет поезд. Голос! Он услышал голос! Древняя память подсказала ему, что он уже слышал его в прошлом. Может, так зовут друг друга самцы на бой за обладание белой верблюдицей с большими влажными глазами, мечтающими о несбыточном. Снова забилась тоска, Бура шел на властно зовущий голос.

Черный султан дыма висел над поворотом, стучали на стыках колеса. Груженные лесом, углем, железом, текли караваном вагоны. Вот состав поравнялся с Бурой. Взревел Бура, и дремучая ярость ослепила его. Не думал он о том, что мал и слаб перед этой громадой. Он бросил свое измученное тело прямо к составу. Пена летела из пасти снежными хлопьями. Дыхание струями пара рвалось из его ноздрей. Одно желание опрокинуть и растоптать поезд гнало Буру. Вот он грудью бросился на вагон. Страшная сила смяла его и отбросила далеко в сторону. Вскрикнул паровоз. И мчались мимо поверженного Буры равнодушные вагоны. Бура лежал в стороне от дороги с разбитой грудью. Из его пасти шла кровь, перемешанная с пеной. Агония ломала его тело. И шел он по золотому, знойному океану, вдыхая запахи сильных пряностей, и бронзовый колокольчик на его шее предсказывал долгий-долгий путь.

Судороги свели ноги Буры. Хрипло рванулось дыхание, последнее в этом мире. И запоздалая чистая слеза выкатилась из его мертвых глаз. Окаменела степь от горя. Сковало ее долгое молчание. Осиротела она без Буры. Так погиб последний верблюд из аула Казакпай.

* * *

Не встававший с постели старый верблюжатник Абиш, услышав о смерти Буры, в тот же день пошел к заведующему просить лошадь.

— Все же немало он пользы принес в свое время. Было бы жестоко оставить его кости в степи. Надо привезти и предать погребению. Может, еще шерсть пригодится на что-нибудь.

— Брось! И человек смертен! Чего там зря лошадь гонять из-за дурного верблюда!— отказал начальник. Обиженный Абиш вернулся домой, пряча за спиной уздечку. Но не забывал старик черного Буру.

Едва начал таять снег и потеплело, взял он с собой внука и пошел пешком в пески Нарына. Там он согнал мерзких мух с уже гниющей туши и похоронил Буру. Всю дорогу нес он на плече деревянный кол. Сейчас он вбил его на могиле Буры. Это был даже скорее столб. Внуку велел написать химическим карандашом: «Здесь покоится Бура, погибший при схватке с поездом». Но слова эти, написанные корявым почерком, были смыты дождями.

Мимо этого места дважды в день проходят поезда. Люди, едущие в теплых купе на удобных диванах, не обращают внимания на выбеленный солнцем и ливнями столб на холме. Если и заметят, то думают, что это межевой знак землемера. Неведомо им, чьим потом обильно орошена эта удобная дорога. И не знают они, что не осталось в ауле Казакпай ни одного верблюда. Но, может, и не забывают все же черного Буру люди? Ведь приветственно гудит паровоз каждый раз, проезжая здесь. Заглушает скорбный гудок торопливые рассказы колес об одиноком Буре. Э, да это вовсе не поминальный плач по Буре, погруженному в вечный сон о золотых песках...

Поезд мчится, торопится, летит...

Какая сила его удержит? Нет такой силы!

*1969 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

**Ауэзов Мухтар**

СЕРЫЙ ЛЮТЫЙ. Рассказ. Пер. *А. Пантиелева* . 5
БЕРКУТЧИ. Рассказ. Пер. *И. Шухова* . . . 26

**Муканов Сабит**

ЮНЫЙ ТАБУНЩИК. Рассказ. Пер. *А. Брагина* 45

**Мусрепов Габит**

ЗОВ ЖИЗНИ. Рассказ. Пер. *В. Мироглова* . 62
СКАЗАНИЕ ОБ ОРЛАХ. Рассказ. Пер. *С. Куспанова* 70

**Бегалин Сапаргали**

САТЖАН. Рассказ. Пер. *Н. Мухановой* . 80
ОЛЕНЕНОК. Рассказ. Пер. *М. Ивановой* . 107

**Алимкулов Такен**

ЧЕРНОГРИВАЯ ВОЛЧИЦА. Рассказ. Пер. *М. Симашко* 112
ОХОТНИК И ОРЕЛ. Рассказ. Пер. *М. Ивановой* . 127

**Кекильбаев Абиш**

ПРИЗОВОЙ БЕГУНЕЦ. Рассказ. Пер. *И. И. Шухова* 146

**Магауин Мухтар**

ГИБЕЛЬ БОРЗОГО. Повесть. Пер. *Ю. Герта* 176
СУДЬБА СКАКУНА. Повесть. Пер. *Ю. Герта* 225

**Бокеев Оралхан**

КЕРБУГУ. Рассказ. Пер. *Ю. Домбровского* 292
БУРА. Рассказ. Пер. *Б. Момыш-улы* 305

Для детей старшего школьного возраста

**СЕРЫЙ ОЛЕНЬ**

Повести и рассказы о животных

(Переводы с казахского)

Редактор
*Г. Сыздыкова*

Художник
*М. Искаков*

Художественный редактор
*Б. Табылдиев*

Технический редактор
*А. Мулкебаева*

Корректоры
*Д. Аханькова и Ш. Мукажанова*

ИБ№ 4021

Сдано в набор 24.10.86. Подписано в печать 07.05.87 Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Школьная» Печать высокая. Усл. п. л. 16,8. Усл. кр.-отт 17,2. Уч.-изд. л. 16,7 Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1—100 000 экз.) Заказ № 1389. Цена в обложке 60 коп., в переплете № 4—75 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения «КІТАП» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

С 32 **Серый олень**: Повести и рассказы о животных.— Алма-Ата: Жазушы, 1987.—320 с., ил.

В сборник включены повести и рассказы известных казахских писателей старшего и среднего поколения о животных. Среди них «Серый лютый» М. Ауэзова, «Призовой бегунец» А. Кекильбаева, произведения Г. Мусрепова, Т. Алимкулова, О. Бокеева и других.

С $\frac{4803010000—111}{(402)\ 05—87}$ 204—87 84Каз7—44

*ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!*

**В издательстве «Жазушы» в 1987 году выйдут в свет следующие поэтические сборники:**

**СТИХИ О ЛЮБВИ**

**Айбергенов Т.** «МИР СОЗВЕЗДИЙ»

**Мурзалиев К.** «КРАСНАЯ КНИГА»

75 к.

